ДОРОГОЙ ЩОРСА

МИХАИЛ СЕРГЕЕНКО

Подвиг


Подвиг



Михаил Михайлович Сергеенко

МИХАИЛ СЕРГЕЕНКО

ДОРОГОЙ ЩОРСА

Рассказы

Центрально-
Черноземное
книжное
издательство
Воронеж —
1973

Р2
С32

0732—062
М 161 (03)—73 53—73.

© Центрально-Черноземное книжное издательство, 1973 г.

КНИГА О ГЕРОИЧЕСКОМ ПОДВИГЕ

В советской литературе, при всем многообразии ее тематики, при постоянном обращении ее к современности, есть одна, вечно живая, непреходящая тема — тема героического подвига народа в революции и гражданской войне. Десятки, сотни книг написаны о днях немеркнущей славы. Лучшие из них вошли в золотой фонд нашей литературы, они снискали признание миллионов читателей.

В этой большой, обширной литературе свое определенное место заняла и книга известного воронежского писателя Михаила Сергеенко «Дорогой Щорса». Книга воспроизводит яркую картину жизни и борьбы народных масс молодой Советской республики в один из самых трудных периодов ее существования. Она рассказывает о том, как в начале 1918 года германские империалисты, нарушив соглашение о перемирии, а затем и мирный Брестский договор, вторглись на территорию нашей Родины, как хозяйничали они на Украине, войдя в сделку с буржуазной Центральной Радой и другими контрреволюционными силами, а потом были изгнаны регулярными частями Красной Армии за пределы нашей земли.

Основное же внимание автор уделяет боевым действиям и героизму бойцов и командиров знаменитого Богунского полка, который прошел славный путь под командованием легендарного героя гражданской войны Николая Щорса.

Замысел книги возник у писателя не сразу. Ему предшествовали годы работы над другими произведениями. Обращение к героике гражданской войны объясняют некоторые факты биографического порядка.

М. Сергеенко писал: «Почему я обратился к событиям гражданской войны на Украине, избрав центральными образами для своей книги народных героев — Николая Щорса, Василия Боженко и их соратни-

ков? Потому, что тема эта очень близка мне, и, как писатель, я чувствую, что мне здесь есть что сказать. Мое детство и ранняя юность прошли на Украине, и хотя в гражданской войне я по малолетству не принимал участия, увидеть, понять и пережить в те годы мне пришлось немало. Мне не забыть жестокие картины немецкой оккупации. Я всегда с гордостью и душевным волнением буду вспоминать людей, поднявшихся на борьбу с иноземными захватчиками — за власть Советов».

Родился Михаил Михайлович Сергеенко 25 июня 1905 года в селе Гуево близ г. Суджи Курской губернии, в семье учителя земской школы. В том же году отец его за участие в крестьянском движении был арестован царской полицией и выслан в отдаленные северные места. По возвращении отца из ссылки семья вынуждена была из-за продолжающихся преследований выехать на Украину в г. Умань, где некоторое время М. Сергеенко учился в гимназии. Там же двенадцатилетним подростком он встретил весть о революции.

Нашествие германских войск на Украину, разгул петлюровщины оставили во впечатлительной душе подростка глубокий след. Город был разграблен. Петлюровцы отстранили отца М. Сергеенко от учительской работы. Семья голодала, и юноше самому теперь приходилось заботиться о куске хлеба.

После окончания гражданской войны семья Сергеенко возвращается в родные места, в г. Суджу, и юноша учится в трудовой школе, а в 1926 году поступает в Воронежский университет на общественно-экономическое отделение педфака.

Университетские годы дали молодому Сергеенко многое. Он не только обстоятельно осваивает учебную программу, но и самым серьезным образом отдается литературе, творчеству: участвует в занятиях литературного кружка, работает в составе редколлегии студенческого журнала. В эту же пору он близко сходится с ведущими писателями Воронежа, с актерами драмтеатра, журналистами, художниками, общение с которыми обогащало его духовно, развивало литературный вкус.

Как и многие другие молодые литераторы, М. Сергеенко первоначально пробует свои силы в поэзии. Однако увлечение стихами было непродолжительным. В автобиографической справке начала 30-х годов он отмечал: «Стихи оставил — пишу прозу. За время писательской работы (имеются в виду годы самого раннего творчества. — **И. Т.**) напечатал с десяток рассказов».

Молодой автор очень скоро выходит на страницы столичной печати. Некоторые его рассказы публиковались в журналах «Рост», «Красноармеец и краснофлотец». А рассказ «Квитанция», написанный еще в первые студенческие годы (1927) и отразивший злодеяния германских оккупантов на Украине, был принят редколлегией газеты «Ве-

черняя Москва». Все это способствовало вступлению молодого автора в ассоциацию пролетарских писателей, где вскоре его избирают в состав губернского (впоследствии областного) правления.

Получив высшее педагогическое образование, М. Сергеенко работает учителем-общественником в с. Нижний Кисляй Бутурлиновского района (Воронежская обл.), участвует в коллективизации. Затем уходит в армию. Двухлетняя служба на границе, непосредственное знакомство с армейской жизнью и бытом явились полезной жизненной школой для автора будущих книг на военные темы. Впечатления этих лет нашли отражение в ряде рассказов о молодых воинах, о тревожных буднях пограничников, зорко стоящих на страже родных рубежей.

Еще находясь в армии, М. Сергеенко начинает работать над циклом рассказов на деревенскую тему, который впоследствии составил главный костяк сборника «Дело чести», изданного в Воронеже в 1933 году. Это была первая книга молодого прозаика, отразившая зримые черты нового в жизни советской деревни, вставшей на путь коллективизации.

Настоящий успех молодому автору принес второй сборник — «Дорогой Щорса», появившийся в свет в 1938 году. На первый план здесь уже выдвинуты рассказы о людях гражданской войны — «Квитанция», «Фуражка», «Комиссар», «Прогулка на хутор». Стержневым в сборнике стал одноименный рассказ — «Дорогой Щорса», в основу которого были положены действительные факты из жизни Богунского полка, ставшие известными автору из рукописных воспоминаний одного взводного командира. Бывалый воин рассказывал о том, как горстке красноармейцев, находившейся по заданию Щорса в разведке, удалось напасть на след и взять в плен около двухсот вооруженных до зубов петлюровцев. Смелость, находчивость, щорсовская выучка решили исход операции.

Книга по-доброму была встречена в центральной и местной печати. Журналы «Красная новь» (1938, № 12) и «Новый мир» (1939, № 2) отозвались развернутыми рецензиями. В одной из них говорилось: «Недавно вышла книжечка молодого воронежского писателя М. Сергеенко, которая, несомненно, заслуживает внимания читателя. Пишет автор просто, но именно в этой сдержанности манеры заключено нечто такое, что вызывает чувство доверия к автору. Особенно отмечается это в лучшем рассказе сборника — «Дорогой Щорса».

Следует заметить, что, когда создавался этот рассказ, М. Сергеенко вовсе не предполагал, что ему когда-либо вновь придется возвращаться к щорсовской теме. Не ставил он перед собой такой цели и сразу же по выходе сборника в свет. Но вот к автору начали поступать письма ветеранов Богунского полка, щорсовцы просили писателя продолжить начатую работу, рассказывали ему о новых боевых эпизодах.

Особенно волнующим для автора явилось письмо, полученное от

самого близкого друга Н. А. Щорса — его жены и боевого соратника Ф. Е. Ростовой. Фрума Ефимовна тепло отозвалась о рассказе М. Сергеенко. Она вдохновила писателя на создание большой книги о Щорсе, высказав при этом несколько ценных советов и пожеланий. Вместе с ней зимой 1939/40 года М. Сергеенко совершает поездку по местам боев и походов Богунского полка, встречается с его ветеранами. Вскоре же были написаны новые рассказы на тему о Щорсе — «В Дубровном», «Седнев», «Ночная встреча». Опубликованные сначала в альманахе «Литературный Воронеж» затем включенные в новый сборник писателя — «Рассказы» (1940), и эти произведения получили доброжелательные отзывы.

Год от года крепло мастерство писателя. М. Сергеенко постепенно накапливал новый материал для книги «Дорогой Щорса», немало времени проводил в архивах, изучая документы гражданской войны.

Но началась Великая Отечественная, и писатель всю свою творческую энергию подчинил задачам грозового времени. Он писал листовки для населения оккупированных районов, рассказы и очерки о несгибаемой воле народа в дни суровых испытаний.

Характерно, что война не только не приостановила работу писателя над книгой «Дорогой Щорса», но и дала ей новый мощный толчок: ведь советскому народу вновь пришлось сражаться против германских захватчиков, и боевой пример Щорса, «батька» Боженко и их соратников был во многом поучительным для нового поколения советских воинов. Так появилось еще несколько рассказов, продолживших тему щорсовского цикла, — «Смерть Василия Кочеткова» (1941), «Павло Добья» (1942), «Миссия Лариона Петровича» (1945).

В 1948 году была завершена основная часть задуманного писателем труда. Воронежское книгоиздательство выпустило большой его сборник — «Година гнева», в подзаголовке которого указывалось: «Первая книга рассказов из цикла «Дорогой Щорса». 15 рассказов было представлено в этом издании, они, словно ручейки, соединились в одной многоводной реке. Успех книги был значителен. В 1950 году она была переиздана в Москве, а в 1954 году вновь вышла в Воронеже в существенно дополненном и переработанном виде. С этих пор книга получила и свое окончательное название — «Дорогой Щорса». Начиная с этого издания более четко определилось ее внутреннее строение. Образовалась своеобразная эпопея из двух книг: первая — «Година гнева», которая включила в себя пять рассказов о вражеской оккупации Украины весной и летом 1918 года; и вторая — «По зову партии», в которую вошло 10 рассказов — о формировании и боевых действиях Богунского полка, о победном движении его на Чернигов и Киев осенью и зимой 1918—1919 гг.

В дальнейшем М. Сергеенко намеревался написать третью книгу о щорсовцах под названием «До последней капли крови», где повествование было бы доведено до последнего дня жизни и боевой деятельности Щорса, т. е. до момента гибели легендарного начдива в бою под Коростенем (30 августа 1919 г.). Но обострившаяся тяжелая болезнь, работа над другими произведениями не позволили писателю в полной мере осуществить этот замысел. И все же были написаны рассказ «Сквозь вражьи заставы» и небольшой отрывок «Во взводе Яковенко» (впервые включенный в настоящее издание), которые, несмотря на очерковость отдельных подглавок, придали ей окончательную сюжетную завершенность.

Книга «Дорогой Щорса» отличается стройностью и цельностью композиции. Все входящие в нее рассказы подчинены одной теме, одной общей идее, они связаны между собой единым сюжетным развитием, рядом сквозных персонажей. И в то же время каждый представляет собой вполне самостоятельное явление. Принцип хронологической последовательности, положенный в основу архитектоники книги, придает ей характер увлекательности, своеобразной художественной летописи наиболее ярких событий, разыгравшихся на Украине в годы интервенции и гражданской войны.

В начало эпопеи автор поставил один из крупных своих рассказов — «Гроза над Щербиничами», где, как в фокусе, отразились важнейшие перипетии жизни и борьбы украинского народа в самый острый период оккупации.

Небольшое захолустное село Малые Щербиничи пробуждается революцией к активной жизни. С надеждой и радостью трудовая масса селян узнает о событиях в далеком революционном Петрограде, с воодушевлением встречает великие ленинские декреты. Уже приближалась весна, и щербиничевцы с нетерпением ожидали того дня, когда выйдут в поле и впервые начнут свободно, без гнета кулаков и помещиков, трудиться ради своего счастья. Но тут-то и начались черные дни оккупации.

В рассказах «Гроза над Щербиничами», «Судьба сотника Шестопала», «Павло Добья» и других, составивших первую книгу эпопеи, автор показывает широкий фронт народной борьбы, развернувшейся на Украине с первых же дней прихода туда оккупантов. Здесь и стихийные выступления крестьян, и организованные забастовки рабочих, и смелые действия только что созданных партизанских отрядов.

Драматичной выглядит ситуация в первом рассказе. При поддержке германских штыков, в сопровождении отряда гайдамаков возвращается в свое родовое имение помещик Карпеко. Интервенты и местные богатеи пытаются восстановить прежние порядки в Щербиничах, снова закабалить крестьян. Глубокое впечатление оставляет насильно созванная сходка на помещичьем подворье. Карпеко жестоко мстит за землю, за скот, за каждую вещь, реквизированную в его имении. По его при-

казу одних крестьян подвергают порке, других расстрелу, дома сельских активистов сжигают.

Перед читателем постепенно разворачивается галерея непосредственных участников событий. С одной стороны — беднота, простые труженики деревни. Это бескорыстный, всегда спокойный крестьянин Никита Куприянович Дынин и его сосед, степенный Иван Калиниченко; острый на словцо правдолюб и балагур Фома Клюй и богомольная бабка Горпина; прозорливый и строгий старик Тарас Никифорович и его сын матрос-большевик Петро Кучеренко — первый организатор Советской власти в Щербиничах. Тепло и уважительно рассказывает автор об этих людях: они натерпелись от своих господ еще при царизме. С другой стороны — свора самих эксплуататоров. В стане врагов революции не только надменный пан Карпеко, но и управляющий его имением трусливый Богалей, хитрый и коварный кулак Бульбачев. Здесь же — оккупанты, гайдамаки, чиновники.

Примечательно, что рассказ «Гроза над Щербиничами» начинается описанием одного из самых юных героев книги — четырнадцатилетнего Федьки Дынина. Наделив подростка пытливой любознательностью, автор с его помощью приоткрывает читателю самые сокровенные уголки деревенской жизни. При этом он сравнивает Федьку с его приятелем, почти одногодком Мишкой Кононенко. Но это сравнение отнюдь не в пользу Дынина: Мишка вырастал в «ладного парубка», а Федька «все еще на школяра смахивал: маленький, вертлявый, — такому гусей на лугу пасти да в чехарду играть». Но впоследствии мы убеждаемся, что в период развернувшейся народной борьбы и Федя Дынин находит свое место. И хотя поначалу односельчане называли его парнем «не из храброго десятка», позже в характере его проявляются и смелость, и самообладание, и удаль.

Автор показывает, что в дни оккупации особенно тяжело страдали старики, женщины и дети. Теряет свою больную старенькую мать Федька Дынин, которая не выносит издевательств оккупантов и гайдамаков над своим мужем, над односельчанами; от пули германского офицера погибает Фома Клюй; каратели расправляются с Тарасом Никифоровичем, обвинив его в связях с партизанами; погибает маленькая Христя — внучка бабушки Горпины. Под влиянием всего этого в сердцах щербиничевцев еще более нарастает гневный протест.

В заключительной части рассказа перед партизанами Лариона Плахотнюка жалкой кучкой предстают все те, кто чинил жестокую расправу над ни в чем не повинными людьми.

По значительности содержания, количеству действующих лиц и широте охвата событий «Грозу над Щербиничами» вполне можно назвать повестью. Впрочем, и сам автор в одном из первых изданий (Воронеж, 1943) отнес ее именно к этому жанру и, только включив в книгу рассказов «Дорогой Щорса», подвел ее под общую рубрику.

Действие следующего рассказа — «Судьба сотника Шестопала» — переносится в небольшой старинный городок, каких, по замечанию автора, немало на юго-западе Украины. И вероятнее всего, что «прототипом» для этого городишки послужила так знакомая писателю Умань. И здесь, как и в других оккупированных селах и городах, поднимается пламя народного гнева. Германские власти пытаются задушить рабочие выступления, усиливают террор, бросают в тюрьмы «красных пропагандистов» — организаторов и участников стачки. Но украинские рабочие держатся стойко. И сила их не только в сплоченности, выдержке, но и в той помощи, которая приходит к ним через вражеские кордоны от русских братьев-рабочих, от правительства Ленина. В беседе с молодым телеграфистом Гришей Яковенко украинский большевик Иван Кравец говорит:

«Соображаешь, Гриша, люди насмерть бьются со всякой белогвардейской сволочью, отстаивая Советскую власть, а о нас помнят. Сами голодные, а нам свой однодневный заработок отдают. Это, хлопец, понимать надо... Это, братец, знаешь какая сила — рабочая солидарность!.. — Кравец отечески положил руку на плечо хлопца и добавил: — Ленин о нас думает, Гриша...

Образ коммуниста Кравца нарисован теплыми красками. Иван Прокофьевич хорошо знал душу рабочего человека, обладал твердым характером, к его словам прислушивались товарищи, вот почему и избрали его председателем стачечного комитета.

Глубокое чувство признательности к этому коммунисту испытывает и Гриша Яковенко, характер которого раскрывается в сопоставлении с характером и поступками его сверстника Петра Шестопала. Прием антитезы, контраста широко используется автором в книге. Персонажи предстают перед читателем и взаимораскрываются чаще в сопоставлении: Федька Дынин и Мишка Кононенко, Никита Куприянович и кулак Бульбачев, Фома Клюй и Богалей...

Так и здесь. Гриша и Петро поначалу были друзьями. Вместе учились они в земском техническом училище, четыре года сидели за одной партой, квартировали даже у одной хозяйки — старой Зуихи, случалось, и куском хлеба делились меж собой. А потом пути их разошлись.

В суровые дни оккупации, когда, говоря словами Маяковского, нужно было, не откладывая, выбирать, «в каком идти, в каком сражаться стане», Гриша Яковенко без колебаний связывает свою судьбу с большевистским подпольем, встает в ряды активных борцов за свободу и счастье родной земли. В то же время Петро Шестопал, оставаясь представителем эксплуататорского класса (отец его был сельским богатеем), нанимается на службу в полицию, надевает мундир сотника державной варты, ибо «по душе ему была новая раздольная жизнь и кружила голову власть над людьми, которая вдруг сама далась ему в руки».

Дважды пересекаются пути бывших школьных приятелей в оккупированном городе. И если в первую встречу Гриша Яковенко еще как-то пытался взывать к совести своего бывшего друга, то во вторую, когда Шестопал по приказу начальника гарнизона германских войск майора Гельвица убивает из-за угла любимца рабочих, пожилого техника Ветковского, он проклинает его навсегда.

Уже в этом рассказе упоминается имя выдающегося героя гражданской войны Николая Александровича Щорса. Народная молва о нем доходит до самых отдаленных сел и городов, как легенда о человеке, прибывшем «от самого Ленина — формировать красный советский полк...»

Так, словно бы незаметно, автор перекидывает сюжетный мостик от первой книги эпопеи ко второй, где речь уже идет о Богунском полке и его славном командире. Население повсеместно поднимается на освободительную борьбу, и молва о формировании повстанческой армии, о Щорсе, как замечательном полководце, придает патриотам новые силы.

Обаятельный облик Н. А. Щорса, имя которого еще при жизни стало легендарным, его огромная боевая и политическая деятельность нашли отражение в самых различных жанрах искусства, художественного творчества — в драматургии и живописи, в кино и песенном фольклоре. В разные годы о Щорсе написано более десятка книг, принадлежащих перу русских и украинских писателей, журналистов. Здесь крупные документально-публицистические очерки и повести, рассказы и даже романы. М. Сергеенко хорошо знал эти издания. И потому, работая над своей «Повестью в рассказах», которую критики назвали эпопеей, он хотел не повториться, написать книгу, совершенно отличную от уже созданных. В письмах товарищам он подчеркивал, что его книга — это не биография Щорса, а художественное произведение о людях, которые шли с ним одной дорогой, дорогой революции, «дорогой Щорса», что Щорс — это центральный герой книги, а главный — революционный народ, ведомый Коммунистической партией. Примечательно также, что Щорс в большинстве случаев показан глазами самих участников событий. Автор не ставил своей задачей показать весь жизненный и боевой путь Щорса, он изобразил полководца лишь в самый сжатый и наиболее яркий период его деятельности.

Но и в этом случае облик Щорса выписан довольно многогранно и убедительно, он дан в различных обстоятельствах жизни. При этом автор вовсе не отказался от сообщения читателю некоторых фактов и черточек предыдущей биографии героя: в одних местах он прибегает к форме небольших экскурсов в прошлое жизни и деятельности полководца, в других приводит яркие воспоминания самих богунцев о сво-

ем командире. Все это органически вскрапляется в общую повествовательную ткань.

Прежде всего М. Сергеенко раскрывает огромную деятельность Щорса в дни организации полка. Многие хотели бы сражаться под началом Щорса. Но еще в первой книге рассказов устами Гриши Яковенко автор акцентирует мысль на том, что Щорс принимал в свой полк «не кого зря, а с разбором». И эту мысль автор подкрепляет рядом конкретных эпизодов, которые представлены во второй книге.

Будучи сыном большевистской партии, имея четкие указания В. И. Ленина о формировании первой регулярной воинской части на Украине, Щорс отлично понимал, что защищать революцию могли только глубоко преданные ей люди, — мужественные, стойкие, обладающие высокой сознательностью и железной воинской дисциплиной.

«Революция, — писал В. И. Ленин, — подвергается самым серьезным испытаниям на деле, в борьбе, в огне. Если ты угнетен, эксплуатируем и думаешь о том, чтобы скинуть власть эксплуататоров, если ты решил довести дело свержения до конца, то должен знать, что тебе придется выдержать натиск эксплуататоров всего мира; и если ты готов этому натиску дать отпор и пойти на новые жертвы, чтобы устоять в борьбе, тогда ты революционер...» [1]

Именно на таких людей прежде всего ориентировался Щорс, выполняя задание партии. К тому времени у него уже имелся определенный опыт организаторской и политической работы в массах, проявились и его недюжинные командирские способности, воинский талант. Ранней весной 1918 года Щорс одним из первых создает партизанский отряд на Украине, который причинил немало хлопот оккупантам. Отряд сформирован был в местечке Семеновке, на Черниговщине, в связи с чем и получил название Семеновского. Сохранилось «Обращение Семеновского партизанского отряда к рабочим и крестьянам», которое дает четкое представление о тех требованиях, которые предъявлял Щорс к красным бойцам. В числе этих требований — безусловное повиновение военачальнику, безупречное несение нарядов и служб, соблюдение высоких моральных принципов в воинском быту и по отношению к гражданскому населению. В «Обращении» говорилось: ...Сознавая, что только революционная дисциплина ведет к победе, организационная группа отряда выработала известные положения, и в отряд принимаются только лица, принявшие эти положения».

Поэтому с еще более высокой ответственностью отнесся Щорс к формированию первой советской воинской части на Украине, каким стал полк, названный по имени народного героя Ивана Богуна.

Из разных городов и сел, из многих местечек и хуторов пришли к

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 38, стр. 52.

щорсовскому штабу рабочие и крестьяне, бывалые партизаны-фронтовики и совсем еще молодые хлопцы. Большинство явилось с горячим желанием встать в ряды активных борцов за освобождение родного края. Но оказались здесь и люди сомнительного поведения, любители легкой славы и попросту анархисты. Одного из таких «жоржиков» М. Сергеенко изобразил в рассказе «Унечское стояние». Наметанный глаз Щорса сразу же выхватывает его из разношерстной массы людей. Высокий, самонадеянный, увешанный со всех сторон оружием (от обреза из легкой японской винтовки до фугасной бомбы и артиллерийского тесака-бебута), этот разухабистый парень, выдававший себя за бывалого кавалериста, тоже решил определиться в полк. Однако богунцы лишь посмеялись над ним, когда увидели, что на простой вопрос Щорса тот показал полное незнание кавалерийского дела.

Зато Щорс охотно берет в полк 18-летнего телеграфиста Григория Яковенко, за плечами которого опыт подпольной работы.

Командир богунцев с участием относится к юноше, когда узнает, что хотя тот под пулями не ходил, но уже под петлюровскими шомполами побывал, и потому определяет его в лучший, «отборный батальон» Зубова.

В рассказе «Унечское стояние» Щорс впервые предстает перед читателем. И это появление легендарного полководца обусловлено самим ходом событий: борьба с оккупантами переросла в новую фазу — для изгнания их с родной земли начали формироваться новые части Красной Армии. И во главе одной из них был поставлен Щорс.

Немногими, но верными штрихами схвачен его внешний облик: невысокий, темнобородый, в кожаной куртке. Он немногословен, деловит: «Здравствуйте, товарищи, я Щорс... Ко мне пришли?»

Прежде чем начать запись, он по-человечески просто заявляет: «— Только хорошо ли вы подумали, зачем идете в Богунский полк? Знаете, жизнь у нас какая? Случается, что и мяса на обед нет, а хлеба всего полфунта на человека. За выход из боя без приказа командира расстреливаем, как за измену... Может, кому из вас будет не по душе это?.. Так не неволю. Пускай уходит сразу. Нам трусов да анархистов не надо...»

В последующих сценах, рассказах автор дополняет образ Щорса новыми чертами, находит новые яркие детали для портретной характеристики, для раскрытия внутреннего состояния героя. В результате складывается полнокровный, запоминающийся облик этого человека, который соответствует многочисленным воспоминаниям современников.

Большую школу революционной закалки проходили бойцы и командиры Богунского полка под благотворным воздействием Щорса. Щорс был по-отечески внимателен и добр к молодым, еще не обстрелянным

воинам, но он умел строго спросить и с бывалых фронтовиков, невзирая на их положение в полку и заслуги. При этом он всегда был вежлив, тактичен, ни разу не допустил по отношению к кому-либо несправедливости. Гриша Яковенко в ту первую встречу со Щорсом разгорячился по молодости и даже накричал на него, когда показалось ему, что Щорс из славного Богунского полка отсылает его, «как мальчишку», «к какому-то Зубову». Но после, не однажды встречаясь со Щорсом, он испытывал глубокое чувство неловкости. Сам же Щорс держался по-прежнему ровно, корректно, ни разу не напомнив парню о том случае. И у Яковенко, замечает автор, росло чувство восторженного восхищения этим человеком. С большой дружеской привязанностью к своему командиру относились и другие бойцы.

Щорс обстоятельно, по-суворовски готовил богунцев к предстоящим сражениям, обучал их в условиях, приближенных к боевой обстановке.

Но и здесь на первых порах были недоразумения.

Почти одновременно с Гришей Яковенко в полк прибыл Павло Добья. Павло тоже был из рабочих. Но слишком горячий, самонадеянный, он зарекомендовал себя поначалу среди богунцев с очень невыгодной стороны. И если Гриша Яковенко сразу принял порядки, заведенные Щорсом, то Павло Добья в первые же дни начал высказывать свое недовольство. Он не понимал, зачем командиры в дождь и ледяной ветер заставляют бойцов делать марши по 20—30 верст, каждый день заниматься строевой подготовкой и стрелять по деревянным мишеням. И это в то время, когда совсем рядом, в родных Павлу Клинцах, томился в полицейских застенках близкий друг его Яков Петрович Шпак, а в соседнем селении находилась любимая девушка. И невдомек было Добье, почему медлил Щорс, не отдавал приказа о наступлении. А однажды, в минуты разбора тактических занятий, он даже нагрубил своему командиру:

«— Детскими игрушками занимаемся, товарищ Щорс! — все больше горячась, выкрикнул Добья. — А под боком, в Клинцах, оккупанты людей мордуют, в могилу безвинно сводят...»

И Щорс терпеливо и убедительно разъясняет бойцам ошибки и заблуждения Добьи. Он подчеркивал при этом, что не в Клинцах решается вопрос о победе, а «на всем бескрайнем просторе родной земли», где тысячи таких Клинцов и где тоже льются кровь патриотов и слезы матерей, ожидающих своего освобождения. Поэтому Щорс призывал богунцев не терять времени на пустые разговоры, а настойчиво овладевать военным искусством, копить резервы и силы, быть готовыми к самым решающим схваткам — и не только с германскими оккупантами и петлюровскими бандами, но и с вооруженными до зубов войсками Антанты, с белогвардейщиной разных мастей.

Как и подпольщик Иван Кравец, Щорс особенно подчеркивал значение рабочей солидарности и крепкого единства народов всей нашей

страны в борьбе с оголтелыми силами империализма и внутренней контрреволюции. Не случайно же и полк его состоял не только из украинцев. В нем были русские и белорусы, представители других национальностей молодой Советской республики. Главной же решающей силой в борьбе с врагами революции он по праву считал самый передовой класс страны — русский рабочий класс, обладавший наибольшим революционным опытом. Он говорил богунцам:

«— И пусть никто из вас не забывает, товарищи, что лишь рука об руку с русским рабочим классом добьются победы трудящиеся Украины. Всякий иной путь — это путь измены и предательства революции. От укрепления Советской власти в России зависит наша победа. Каждый успех русских товарищей — и наш с вами успех».

Щорс был прекрасным оратором. Его горячее, страстное слово большевика доходило до самого сердца слушателей. Но при этом он хорошо понимал, что не так-то просто могут справиться с бурей противоречивых мыслей такие молодые, не вполне зрелые в политическом отношении воины, как тот же Добья. И потому вечером он снова встречается с бойцом, приглашает его к себе и уже как равный с равным беседует с ним с глазу на глаз.

Разными путями шли к Щорсу тысячи людей, очень различны были их судьбы, характеры, и Щорс не жалел ни сил, ни времени, чтобы выковать из них настоящих воинов, мужественных, стойких защитников революции.

Щорс был не только замечательным воспитателем-командиром, но одновременно и прекрасным пропагандистом, агитатором, этого же он требовал от своих бойцов.

«— Да я же не ученый,— скажет иной.

— А ты где ходишь, там и учись, — ответит Щорс с тою покорявшей озорной усмешкой, когда не поймешь — шутит он или говорит всерьез».

«Много хлопцев, — замечает автор, — было в полку с Черниговщины. Иной, взяв на день-другой отпуск, завернет в родное село и приведет оттуда целое отделение своих земляков, а его за это Щорс поставит перед ними командиром».

Так росли люди. Постепенно превращается в дисциплинированного, сознательного бойца Павло Добья; от рядового бойца до командира взвода и роты проходит свой путь Григорий Яковенко; самые ответственные задания Щорса выполняет Ларион Плахотнюк; настоящим бойцом-щорсовцем становится и юный Федька Дынин, отношение командира богунцев к которому было особенно трогательным.

Щорс был влюблен в свой полк, в своих бойцов и командиров, и люди отвечали ему тем же. Недаром Ф. Е. Ростова в письме от 25 июня 1949 года писала М. М. Сергеенко: «Отношение к людям было у него изумительным, если учесть, что он руководил большими массами

людей, а относиться умел к каждому из них как к живому человеку, а не как к частичке инертной массы...»

Нельзя без волнения читать те страницы, где запечатлен огромный полководческий талант Щорса, показаны примеры его мужества, героизма, высокой личной отваги и храбрости в бою.

В характерах и поступках богунцев М. Сергеенко ярко запечатлел примеры пролетарского гуманизма. И эта благородная человеческая черта была в высшей степени присуща самому Щорсу — умному и заботливому воспитателю красных бойцов. Выросший в бедной рабочей семье (отец его был машинистом железнодорожной станции Сновск Черниговской губернии, — ныне город Щорс), он с малых лет познал нужду и горе, пережил раннюю смерть матери, от которой, как и от отца своего — неутомимого скромного труженика, унаследовал любовь и уважение к простым людям.

Человек большого, гуманного сердца, Щорс в юные годы и профессию выбрал себе самую гуманную — он окончил Киевскую военно-фельдшерскую школу и стал медиком. Не случайно поэтому полководческой деятельности Щорса неизменно сопутствовала его врачебная практика. По воспоминаниям соратников Щорса, даже в дни жестоких сражений он мечтал о том времени, когда после окончательной победы над врагами революции он поступит на медицинский факультет университета, чтобы, окончив его, стать высококвалифицированным специалистом — «врачевателем человеческих недугов». Вот таким, разносторонне одаренным, и стремился М. Сергеенко показать Н. А. Щорса — «бесстрашного и сурового, когда этого требовала обстановка, солдата революции, всей душой мечтающего об утверждении на родной земле человеческого счастья».

Вместе с Богунским полком всегда рядом шел знаменитый Таращанский полк во главе с народным героем, старым рабочим киевского «Арсенала» Василием Назаровичем Боженко. В характере этого человека были воплощены неиссякаемая природная доброта и удаль, неудержимое стремление драться с врагами революции до полной победы. Автор показывает согласованность действий Щорса и Боженко в осуществлении важнейших боевых операций, изображает близкие товарищеские отношения между ними, несмотря на огромную разницу в возрасте. Старик Боженко ценил и уважал двадцатичетырехлетнего Щорса, и эта привязанность к нему еще более усилилась, когда Щорс был назначен командиром бригады, а затем и начальником 1-й Украинской Советской дивизии. В тяжелых кровопролитных боях под Коростенем эта дивизия, преобразованная вскоре в 44-ю, выполняла самую ответственную стратегическую задачу, возложенную на нее В. И. Лениным. Она защищала от натисков войск Деникина и Петлюры важнейший железнодорожный узел, который оставался единственным связую-

щим звеном между Москвой и столицей Украины Киевом. И дивизия выполнила эту задачу.

Славные боевые традиции Щорсовской дивизии были продолжены в годы Великой Отечественной войны: полки 44-й стрелковой героически отстаивали волжскую твердыню в составе прославленной 62-й армии. В день окончательного разгрома гитлеровцев под Сталинградом ее воины пели:

То не ветер с Украины,
То не шум волны днепровской
В Сталинград вошли богунцы
Грозной поступью отцовской.

Гвардейская 44-я прошла с победными боями до самого Берлина.

Книга «Дорогой Щорса» — результат многолетнего труда писателя и в то же время свидетельство его оригинального творческого дарования. Вчитываясь в строки щорсовской эпопеи, невольно поражаешься многоликости персонажей, ощущаешь сложность обстановки, в которой действовали герои, своеобразие жизни и быта украинского народа, его национальных традиций, языка. При всей серьезности и значительности темы книга щедро пересыпана живым народным юмором, присловьями, поговорками, в речи щорсовских бойцов и командиров автор широко вводит остроты, шутки, здесь же приводятся песни, частушки времен гражданской войны. Все это оживляет повествовательную ткань, сообщает ей своеобразный колорит эпохи. Разнообразными изобразительными средствами автор еще более подчеркивает неистощимый оптимизм богунцев, их непоколебимую веру в великие идеи и дело революции, правоту и всепобеждающую силу Советской власти, за которую, не щадя своей жизни, они шли в бой.

Создавая свое произведение, писатель следовал основополагающим принципам советской литературы — ее большевистской партийности и народности, правдивому, реалистическому показу героики революции и гражданской войны, масштабному изображению человека новой эпохи. Автор постигал и по-своему осмысливал богатый опыт выдающихся советских писателей — А. Фадеева и Дм. Фурманова, А. Серафимовича и Н. Островского, М. Шолохова и А. Толстого, следовал благотворным традициям социалистического реализма. Критик Е. Трощенко в связи с этим еще в 1941 году писала в «Литературной газете»: «Рассказы М. Сергеенко... несомненно, традиционны и по содержанию своему, и по форме. Но все дело в том, что традиция эта новая, советская, сложившаяся в литературе в революционную эпоху в процессе создания тем, сюжетов, образов, рожденных революцией, выросшая в процессе отбора десятка высококачественных произведений из сотни посредственных... Литературная традиция, которой следует в своих рассказах

М. Сергеенко, создана в нашей литературе «Чапаевым» и «Разгромом», продолжена в «Поднятой целине» и «Тихом Доне».

И это заслуженная оценка большой творческой работы писателя.

В самые последние годы своей жизни (умер 4 июня 1964 г.) М. Сергеенко на тех же щорсовских материалах создает повесть «Федька Дынин» — о самом молодом воине Богунского полка, адресуя это произведение юному читателю. Повесть впервые была выпущена в 1959 году Воронежским издательством, а в 1963 году в дополненном виде появилась в Детгизе. На первом учредительном съезде писателей РСФСР об этой книге М. Сергеенко говорилось как об образце умелого писательского труда для подрастающего поколения в области художественного отображения эпохи великой битвы народа за укрепление Советской власти.

Тема великого народного подвига в войне — главная тема, над которой самозабвенно трудился М. Сергеенко. И не только герои гражданской, но и герои Великой Отечественной заняли почетное место на страницах его произведений. Сразу же после освобождения Воронежа писатель обходит и тщательно изучает места боев за родной город, беседует с участниками событий и пишет волнующую книгу «О тех, кто сражался за Воронеж» (1948).

От наблюдательного глаза писателя никогда не ускользали примечательные явления мирной жизни. В среде молодежи, студенчества, в творческих коллективах и среди ученых М. Сергеенко умел находить самобытные характеры, и они становились героями его новых произведений. Так появились книги «Прощальный вечер» (1956), «Ветер в лицо» (1957), «Поэма о хирурге» (1959), многие рассказы и очерки о замечательных людях.

Как публицист и критик М. Сергеенко выступал в печати по актуальным проблемам литературы и искусства, писал обстоятельные статьи и рецензии, являвшиеся живым откликом на выходившие книги местных литераторов, большую помощь оказывал молодым авторам. М. Сергеенко был мастером литературного портрета, жанра, в котором удачно сочетал живое слово художника с вдумчивой мыслью исследователя. Им были написаны очерки о писателях А. И. Эртеле и А. И. Шубине, о погибших на фронтах Великой Отечественной войны Б. Г. Пескове и Н. В. Романовском, о народном артисте СССР С. И. Папове, прекрасно обработаны для юного читателя сказки известной сказительницы А. К. Барышниковой (Куприянихи). Очерки М. Сергеенко о людях боевого подвига и большого творческого горения вошли в последнюю прижизненную книгу писателя «Память сердца» (1963).

И все же наиболее значительным из всего, что создал писатель, является его самое крупное произведение «Дорогой Щорса». Эпопея «Дорогой Щорса» выдержала испытание временем, она неоднократно вы-

ходила в Москве и Воронеже, была переведена на польский язык и издавалась в Варшаве. Книга заняла свое достойное место в ряду лучших книг о гражданской войне. Герои ее стали примером доблести и отваги, беззаветной преданности социалистической Родине. Они покоряют сердца читателей благородством и красотой души, активным отношением к жизни, способствуют воспитанию молодого поколения в духе высоких революционных традиций.

И. ТОЛСТОЙ.

Книга первая

ГОДИНА ГНЕВА

ГРОЗА НАД ЩЕРБИНИЧАМИ

1

Роста Федька Дынин был по своим годам невысокого. Мишка Кононенко на много ль лет старше, а уже не раз случалось, что, искоса глянув на него, тихонько вздохнет иная дивчина и, вдруг смутясь своих мыслей, зальется румянцем. Что и говорить, в ладного парубка вырастал Мишка Кононенко: мужая, наливался силой, раздавался в плечах, но по-прежнему сохранял девичью смуглоту кожи и шелковистую мягкость густого казацкого чуба, черной волной нависшего над крутым лбом. А Федька все еще на школяра смахивал: маленький, вертлявый, — такому гусей на лугу пасти да в чехарду играть.

Может, оттого казался Федька младше своих лет, что не сходило с его лица выражение ничем не утолимого любопытства. Всякий, кто бы ни взглянул на его задранный кверху веснушчатый, будто воробьиное яичко, нос, которому, казалось, только и дела было, что разнюхивать по ветру — нет ли каких новостей, на русый вихор, задорно торчавший повыше левого уха, на серые, с желтоватым отливом глаза, без смущения засматривавшие в лицо встречному человеку, невольно подумал бы: «Ну, хлопче, видно, не раз доставалось твоему чубу, чтобы не был ты таким любопытным!»

А кроме всего прочего, считали люди, что хлопец этот не из храброго десятка. Случай был такой. Как-то раз увязался Федька идти вместе с Мишкой Кононенко на кордон, где служил лесником Мишкин дядя, Родион Степанович Кононенко. Собиралась там со всего уезда зимняя облава на волков. Мишка в ту пору был уже завзятым охотником, имел свою шомполку, из которой подстрелил не одного зай-

ца-русака, а уток и перепелов — так тех, можно сказать, без счета. Федьке с ним не равняться — еще и ружья в руках не держал.

Родион Степанович хотел было турнуть Федьку домой, но над хлопцем смилостивился уездный землемер Василий Захарович Рак и поручил ему носить за собой по лесу кожаную сумку со снедью и всяким охотничьим припасом.

Вот тут-то и приключился с Федькой грех.

Шагах в тридцати от того места, где стояли они с землемером в засаде, вдруг вывернулся из кустов здоровенный волчина. Рак, охотник бывалый, не растерялся и всадил зверю заряд картечи прямо в оскаленную пасть. Когда же обернулся, чтобы остудить взыгравшее стариковское сердце добрым глотком водки, Федьки возле него не было. Брошенная сумка лежала на снегу, а хлопец сидел неподалеку на дубке, крепко оседлав толстый сук и обеими руками, словно родную мать, обняв корявый заиндевелый ствол.

— Что, брат, струхнул? Душа в пятки ушла? — спросил Рак, раздувая в смехе пушистые седоватые усы.

Федька молча слез с дерева, покосился на зарывшегося окровавленной мордой в сугроб лобастого зверюгу и сказал:

— Так то же я — чтобы лучше видеть было, Василий Захарович. Может, вы думаете, я сроду волков не встречал?.. А то! Десятерых не испугаюсь.

Случившийся при этом Родион Степанович промолвил, подмигнув Раку:

— Хвалилась овца, что у нее хвост, как у жеребца. Да кто ей поверил?..

Кажись, какой после того из Федьки вояка? Разве что телят с огорода гонять... А вот смотри ты, как судьба у хлопца повернулась: не только довелось ему настоящего пороху понюхать, но и воинскую славу приобрести...

2

Хотя шел уже Федьке Дынину в ту пору пятнадцатый год, но света видел он, что в окне. Где же его, тот свет, в Малых Щербиничах увидишь? Все кругом как на ладони, каждая собака тебя знает.

Только и примечательного было в Щербиничах, что Фома Клюй, по-уличному — Президент. Однако не мешает поподробней рассказать об этом человеке, а также о том,

откуда взялось у него такое удивительное прозвище. А здесь, можно сказать, целая история.

Был Фома Клюй из тех людей, которые без чарки дня прожить не могут. Пропуская же первую, имел обыкновение заказывать:

— Прощай, разум, завтра увидимся.

А ведь золотые руки были у человека: умел он не только вставить новое дно в прохудившуюся цибарку, но и самовар запаять и казанок полудить, обучившись в молодых годах у цыган ремеслу.

Впрочем, может, и не так уж был повинен Фома Клюй в своем грехе: не было в жизни удачи этому человеку.

— Пляши, жинка. Высохнет скоро и на нашем подворье грязюка!..— не раз случалось говорить ему прежде, когда выпадала на его долю хорошая работа.

Но сколько ни тянулся Фома Клюй не хуже того черного вола, что пахал за двоих, не прибывало достатка в его хозяйстве. Каким боком ни поверни, все выходило кверху дырявым. Да и откуда взяться достатку, когда у тебя полная хата голодных ртов — мал мала меньше.

— Известное дело, богатому — деньги, а бедному — дети,— говорили люди, с сокрушением глядя на Клюево потомство, голодное и крикливое, чисто галки по осени.

Так вот, в зиму четырнадцатого года, незадолго до того, как вышел запрет на казенную водку, сидел Фома Клюй в базарный день в Спиридоновой Буде на возу у своего душевного приятеля Ивана Калиниченко, человека, не в пример ему, степенного, и выпивал с ним по маленькой. Каждую же чарку по стародавнему обычаю он напутствовал такими словами:

— Ты кто?

— Оковита...

— А из чего ты?

— Из жита...

— А пачпорт у тебя есть?

— Нема...

— Так тут тебе и тюрьма!..

На что Калиниченко отзывался с глубокомыслием:

— Дай, боже, как давал,— сие и монаси приемлют...

А то еще и так:

— Не бьемся, не лаемся — будем здоровы, Фома Петрович...

Клюя на тощее брюхо быстро разобрало. А тут, как на грех, проходил базаром управляющий имением помещика Карпеки Афанасий Михайлович Богалей со своей бес-

ценной супругой Фроськой, которую за ее «повсеместную» округлость и на редкость вредный нрав прозвали на селе Цибулей.

Был Клюй в обиде на Богалеиху: как-то при расчете за полуду котлов в панской экономии она недодала ему трех рублей, а когда попробовал он усовестить ее, сделала вид, что усомнилась всенародно в его мастерстве, и не велела давать ему больше никакой работы.

Поэтому, завидев ее, Фома Клюй загнул такое, что Иван Максимович Калиниченко как сидел, так и обмер.

— На здоровье нам, на злость врагам, на безголовье великим панам и всем бесовым дочкам, что завидуют нам. Выпьем, кум, по полной — век наш недолгий...

— Фоня, позови полицейского,— сказала, останавливаясь, Богалеиха.

Не хотелось Богалею связываться с пьяным, но делать было нечего, и он, расправив для храбрости жиденькие усы свои, прикрикнул на Клюя:

— В каталажку захотел, пьяный пентюх?

— Кум, чего это оно до меня цепляется?.. — сказал Клюй, толкнув локтем своего приятеля, и налил себе новый стаканчик.

— Опамятуйся, Фома,— еле вымолвил, не помня себя от перепуга, Иван Калиниченко и отодвинулся от Клюя.— Уж вы не серчайте на него, пане управляющий. Разве с пьяного спросишь?

— Сама свинья из грязи не поднимется,— не унималась Богалеиха.— Зови полицию, Фоня...

— Это какая же такая свинья?..— спросил Клюй, слезая с воза.

Разговор этот слышало немало людей, и уступить он никак не мог. Да и язык у хмельного Клюя был подвешен наподобие цепа, что молотит на обе стороны.

Расставив пошире ноги, Фома ударил себя кулаком в грудь.

— Знаете ли вы, люди добрые, кто я такой?.. Скажите, знаете ли вы Фому Клюя?

— Босяк — вот кто ты, — ужалила его Богалеиха, предусмотрительно увлекая мужа за соседний воз с горшками.

— Смотри...— горестно промолвил Клюй.— Это я — босяк? Я, Фома Клюй?..

Ища сочувствия, он оглядел собравшийся вокруг народ.

— А может, и правда твоя, Богалеиха? — раздумчиво продолжал он.— Только ведомо ли вам, люди добрые, через кого я босой хожу?.. Через таких, как ты, Богалей, и

твоя ненасытная прорва Фроська. Ишь, гладкая какая... Куда ни глянь — что спереди, что сзади... А того никто не знает, что на тебе, Богалеиха, на три рубля и моего сала...

Скажет же такое человек!..

Слушая Клюя, народ переглядывался и пересмеивался, а Богалеиха совсем вышла из себя и, обозвав Фому Клюя еще, ко всему прочему, эфиопом и злыднем, сказала, что он глуп, как сивый мерин, и что от его собачьей брехни корысть лишь таким дуракам, как он сам.

Афанасий же Михайлович Богалей, не теряя больше времени, рысцой побежал звать стражников.

— Это кто же мерин? — удивился меж тем Фома Клюй. — Да ведомо ли тебе, Цибуля ты разнесчастная, что я восьмерых детей на свет божий породил?.. А ты меня перед всем народом позоришь. Думаешь, все тебе дозволено, раз благоверный твой у пана управителем?..

Кто знает, долго ли разорялся бы так Фома Клюй,— не часто выпадает обездоленному человеку повеличаться над сильнейшим, — но тут подхватили его под руки стражники и поволокли до волостного присутствия.

— А ты кто, Богалей? — кричал Клюй, вывертываясь из их цепких рук.— Ты мне скажи, Богалей, где твои дети? По какой такой причине барыня твоя весь свой век порожняя ходит?

Смехом отозвался базар на эти слова. Богалеиха же позеленела и ногтями впилась мужу в руку. Знали все, что Богалеи бездетны.

— Иди, иди, не вякай...— говорили стражники. Однако они только для виду поддавали Клюю коленями пониже поясницы,— им и самим было интересно посмотреть на такую комедию.

— Не то пособить тебе, Богалей? — потешался Клюй.— Ты попроси,— может, кто уважит...

— Го-го-го! — исходила хохотом площадь. — Вот это раздоказал Фома!..

— Погоди, попляшешь у меня, собака!..— пробормотал управляющий.

И кто был поумнее, понял, что не простит он этого Клюю никогда...

3

Две недели отсидел Фома Клюй в холодной за свое бесчинство и вышел оттуда таким непривычно трезвым, что даже воробьиное чириканье трезвоном отдавалось в его ушах.

Лишь в сумерки прибрел он в Щербиничи, и первым, кто встретил его на безлюдной в ту пору улице, был Гришка Холодковский, псаломщиков сын, изгнанный из Полтавской духовной семинарии за леность, непристойное поведение и богохульство.

— А-а, Фома Петрович...— сказал Холодковский, остановясь перед Клюем.— Наконец-то вернулся к родным пенатам...

— Добрый вечер, Григорий Анисимович,— вежливо ответил Клюй, тоже останавливаясь, хотя и не чувствовал охоты беседовать с Холодковским.

Было у него так погано на душе, что предпочел бы он как-нибудь миновать семинариста. Но тот стоял столбом, загораживая протоптанную под плетнями узкую тропинку,— лезть же в сугроб Клюю не хотелось.

— Напрасно причинили вам обиду, Фома Петрович,— говорил Гришка Холодковский.— По совести скажу, не умеют ценить в нашем Пошехонье достойных людей.

— Оно так,— пробормотал Клюй, еще не разобравшись, всерьез говорит семинарист или потешается над ним.

Он исподлобья заглянул Холодковскому в лицо, но был у того вид, как всегда, бесстрастный, длинный нос сиротливо свисал книзу, и на кончике его дрожала, отсвечивая, мутная капля.

«На оттепель повернуло, Григорий Анисимович»,— хотелось сказать Клюю, но язык не слушался его, потому что покидал Фому Петровича в трезвом состоянии обычный задор. Стоял молча, ожидая, что будет дальше.

— Во Франции вы, Фома Петрович, за ваши заслуги были бы давно сенатором, а то и самим министром,— скучным голосом долдонил Холодковский.

«Смеется, сукин сын»,— решил Клюй, и у него зачесались кулаки.

Но тут Холодковский выкатил свои водянистые глаза и, наклонясь к нему, громко зашептал:

— Посоветую вам написать прошение на имя французского президента господина Пуанкаре.

Неведомое слово «президент» прозвучало веско. Оно зачаровало Клюя, напомнив ему мудреные названия вин, что стояли в запыленных бутылках с золочеными наклейками на полках бакалейно-колониальной лавочки в Городне.

А Холодковский, словно угадывая его мысли, вытащил из кармана своей черной с оборванными пуговицами семинарской шинели полбутылки водки.

— Пойдем к Добежихе,— сказал он, и бледное веко его два раза сморгнуло...

Немного спустя сидели они у вдовы-солдатки Марии Бужинской, по прозвищу Добежиха, бабы молодой, красивой и распутной.

В хате было жарко натоплено. Смачный пар струился от горшка, в котором томилась тушеная в сале картошка. В расписной глиняной миске лежали маленькие, твердые, будто сейчас с грядки, огурцы, распространяя над столом запах настоянного на дубовых листьях и укропе рассола.

А по жилам Клюя переливалась и играла погибельная водка...

Напротив него сидел Гришка Холодковский и плел всякие небылицы о французских порядках. Длинный нос его порозовел, бесцветные глаза оживились, заблестели, словно он и сам верил своим россказням.

Слушал его Клюй и недоверчиво покрякивал после каждой рюмки. Выходило по-Гришкиному, будто диковинные дела творятся на французской земле. Окружен там почетом всякий отец такого большого семейства, как у Фомы Клюя. Получает он за свои труды от самого президента брильянтовую звезду на грудь и по своему выбору либо казенную квартиру в Пантеоне, либо усадьбу на Елисейских полях.

— Лучше́ бы они бабам, у кого детей полный запечек, способие платили,— вмешалась в разговор Добежиха, которая не раз уже хихикала в рукав, слушая Холодковского.— А мужик — он все равно и гроши и пантейон пропьет...

— Тьфу, прости господи! Сказано — коня куют, а жаба ногу подставляет,— осерчал Клюй.— Ты бы помолчала, Марья,— не твоего ума это дело...

— На женский пол французские законы не распространяются,— строго сказал Холодковский, и левый глаз его дважды моргнул.

Не то хотел он предостеречь этим Добежиху, чтобы не сказала чего лишнего и не испортила бы всю обедню, не то уж само собой получилось у него так при разговоре.

— По мне, хоть об пол, хоть об землю,— сказала Добежиха и спросила: — Ночевать у меня будешь, Гришка?..

Когда была допита водка и Гришка Холодковский, замолчав, уставился осоловелыми глазами на пустую бутылку, спросил негромко Фома Петрович:

— То вы правду говорили, Григорий Анисимович? Про хранцузська життя?

— А как же,— сказал Холодковский.— Чтоб мне с места не сойти, когда хоть слово сбрехал.

— Должно быть, такая ваша правда, как та, что у меня за печкой таракан гавкает,— сказал Клюй и тяжело поднялся на ноги.— Прощевайте, Григорий Анисимович...

Свернув собачью ножку, Фома Клюй долго стоял на крыльце и смотрел на родные Щербиничи.

Было тихо и морозно в ту ночь. Радужный круг опоясал в мглистом небе бледную луну. И казалось, падают сверху тоненькие серебряные иголочки, чуть слышно звенят, задевая пушистые сугробы, плотно укрывшие все вокруг.

Неизъяснимая грусть наполнила сердце Клюя, и сказал он самому себе проникновенно, как на исповеди:

— На черта б кому тот Пуанкаре сдался, когда б давали, ироды, жить человеку на родной батьковщине...

На другой день растрезвонил Гришка Холодковский по селу, будто задумал Клюй переметнуться в иноземную веру и словно бы даже послал об этом прошение самому французскому президенту господину Пуанкаре.

С тех пор и пошло.

— Фоме Петровичу доброго здоровьичка, — окликали соседи Клюя, стоило ему показаться из своего подворья. И с насмешливой почтительностью осведомлялись: — Скоро отбывать изволите?

— Да вроде бы в тот понедельник,— говорил, не сморгнув, Фома Клюй.

— Поклониться от нас не забудьте хранцузькому президенту, Фома Петрович.

Вот какая потеха была с тем Клюем, хотя, по совести сказать, кто же его знает,— вправду ли он был так прост, как казалось со стороны. До смерти нравилось человеку быть у людей на виду, смешить своими причудами народ, но, коль разобраться, частенько бывало похоже на то, что, думая, будто потешается над Клюем, смеялся иной умник над своею же глупостью.

Шло время. Уже не первый год полыхала на западе война с германцем. Не стало видно на улицах Щербиничей не то что безусых парубков, но и людей постарше — запасных и ратников ополчения, чьи натруженные руки давно отвыкли держать рушницу. Всех подчистую гнало на погибельный фронт царское начальство, чтобы было кому

заживо гнить в сырых окопах и засыпать своими костями ненасытные ямы братских могил.

Забрали в солдаты и Гришку Холодковского. Затерялся его след где-то в Мазурских болотах. Но по-прежнему, стоило Фоме Клюю показаться на улице, как тотчас же слышался пронзительный крик какого-нибудь сопливого озорника:

— Президент пошел! Тю-у-у-у! Президент!..

Многие на селе считали Фому Клюя человеком с придурью, и лишь один Иван Калиниченко неизменно заступался за своего приятеля.

— Не знаете вы еще Фому,— говорил он односельчанам.

Федька слышал эти слова и по-мальчишечьи недоумевал: «Непонятное что-то говорит дядько Иван. А может, он знает про Клюя что-нибудь тайное? Да нет, вряд ли. Президент — он и есть Президент».

4

В феврале семнадцатого года все вдруг перевернулось. Не под силу стало терпеть народу — скинули в Петрограде рабочие и солдаты царя и объявили революцию.

Дружно откликнулось на эту весть Черниговское Полесье. Словно от сна пробудились люди. В Городне в базарный день разбили мужики и горожане полицейскую часть и разоружили стражников. В Спиридоновой Буде взашей прогнали волостного старшину.

Все чаще слышались на селе разговоры о том, что пора кончать войну, от которой одно горе и разорение народу. И еще говорили: как только вернутся домой фронтовики, повсеместно пойдет раздел панской земли, чтобы все было по правде и справедливости. Об этом будто бы уже и закон написан, только скрыл его от народа прохвост Сашка Керенский, что обманом засел в царском дворце вместо Николая II.

К осени сделалось неспокойно по всему уезду. То там, то здесь селяне громили панские усадьбы, делили инвентарь и скотину, огнем выжигали гадючьи гнезда.

В морозную ноябрьскую ночь загорелось под Спиридоновой Будой имение помещика Розенбаха. Всю ночь пылал край неба, и зарево было ясное, без дыма, словно это солнце гнало впереди себя первые лучи, обещая небывало

ранний рассвет. Дочиста выгорел тогда крупнейший на всю округу розенбаховский винокуренный завод.

А утром взвился набат и над Щербиничами. Всем селом разбирали в тот день имущество помещика Карпеки. Григорий Федорович Бульбачев с невесткой и младшим сыном Никифором первый на трех подводах двинулся к экономии. Дважды успел обернуться он, всю клуню загородил разным инвентарем, а в хате на чистой половине, под образами, поставил панское фортепьяно. Дочки Бульбачева вместо зеркала смотрелись в его полированную крышку,— даром что черная.

Съездили в экономию до Карпеки и Федька со своим батьком Никитой Куприяновичем, — да разве за людьми поспеешь? Достались им на хозяйство, стыдно сказать, однолемешный плужок и пара граблей. И, уже отъезжая, заглянул батько в опустевшие панские покои и сунул на ходу в карман позабытую кем-то на окне, наполовину порожнюю склянку с ароматными, как липовый цвет на восходе солнца, заморскими духами.

Поодиночке, а то и сразу по двое и по трое возвращались на село солдаты-фронтовики — те, кому посчастливилось остаться в живых после трех лет кровавой бойни. Приносили они в щербиничевские хаты и радость долгожданной встречи и слезы невозвратимых потерь, удивительные рассказы о виденном и пережитом, волнующие вести о том, что делается на белом свете. Иные из них называли себя большевиками. Значило это, как понял Федька Дынин, что крепко стоят они за людскую правду. Не дают в обиду тех, кто подобно его батьку Никите Куприяновичу весь век гнул спину в тяжком труде, но не нажил себе под старость даже малого достатка.

В эти дни Федька с ног сбился: везде ему надо было поспеть, все слышать, на все поглядеть самому.

На сходе, где собралось, считай, все село, от велика до мала, объявил матрос Петро Кучеренко в Щербиничах новую, советскую рабочую и крестьянскую власть и зачитал ее законы о земле и мире. Впервые услышал тогда Федька имя самого главного большевика Ленина. На всю жизнь запало оно ему в сердце. Даже своим незрелым ребячьим умом понял он, что был тот человек разумнейшим и справедливейшим среди людей.

Тут же на сходе избрали щербиничевцы земельный комитет, который, не теряя попусту времени, приступил к нарезке панской земли маломощным и середняцким хозяйствам.

Словно бы все шло хорошо. Уже начинали верить люди, что и вправду дождались лучшей доли, когда вдруг поползли по селу слухи, один другого тревожнее и чернее. Говорили, что собралась в Киеве из недобитых панов и всяких палупанков какая-то Центральная Рада и самочинно объявила себя верховной властью на Украине. Хочет будто бы та Рада насовсем оторвать украинские земли от России и завести на них свои порядки. Разгоняет Советы рабочих и селян, не велит трогать помещичьи земли и усадьбы, грозя за ослушание суровыми карами. Для этого и войско набирает. А чтобы затемнить людям глаза, бреет хлопцам головы, оставляя на макушке по старому казацкому обычаю чубы-оселедцы, наряжает в синие жупаны и велит называться гайдамаками да сечевыми стрельцами.

Только никто тому обману не верит. Ведомо всем, что в старину шел в гайдамаки обездоленный люд, чтобы мстить своим исконным недругам — панам и шляхте за вековые обиды, шел на подвиг и смерть, в бою добывая себе волю. О том и в стародавних песнях поется. А нынешние гайдамаки — так это же просто разбишаки, гультяи, панские наймиты. Им лишь бы харчи смачные да одежа справная. Прикажи такому лоботрясу шкуру с людей драть, так он ни отца, ни родную мать не пожалеет. И атаман у них под стать — Петлюра: видно, петля по нем давно плачет...

Упаси бог, как бы не наскочили те гайдамаки в Щербиничи,— беды от них не оберешься...

Не день и не два жило в тревоге все село, пока снова не собрал сход Петро Кучеренко и не разъяснил щербиничевцам, что бояться им нечего. Не пошел трудовой народ за той Радой, не захотел поворачивать к старому, опять себе на шею сажать панов. Прогнал из Киева и Центральную Раду и Петлюру с его гайдамаками и утвердил по всей Украине Советскую власть.

Поспокойней стало в Щербиничах, да только ненадолго. Издавна известно — недобитый волк еще злей становится. Так и та Рада. Призвала она на помощь германцев и австрияков и запродала им за тридцать сребреников вольный народ. А немцам того и надо. Идут теперь на Украину несметные вражьи полчища, злые и голодные, как саранча. Выскребают подчистую и хлеб и сало, платят хозяевам вместо денег шомполами и нагайками, не скупясь и на пулю.

— И что теперь с людьми будет?..— горестно вздыхал Иван Калиниченко, забредя под вечер по-соседски к Ды-

ниным.— Недаром говорится: когда бог попущает, и свинья гуся съедает...

Хмурился и молчал, попыхивая цигаркой, Никита Куприянович. Тихонько утирала подолом слезы хворая Федькина мать.

Спросить совета было не у кого: село было глухое, далекое от города. Матрос же Петро Кучеренко при первых недобрых вестях собрал в отряд бывших фронтовиков, запер на замок сельский ревком и ушел на Гомель и Речицу давать отпор германскому наступлению.

В конце апреля вернулся в экономию не то из Гомеля, не то из Чернигова управляющий Богалей. Поселился он в сторожке у садовника, был тихий и ласковый, будто позабыл и думать о том, что произошло в имении. Посмотреть, так совсем запаршивел человек. На щеках поросла редкая свинячья щетина, куцый пиджачок был в соломе, пуху и еще какой-то гадости, словно Богалей по ночам кур воровал. Ходил он по полям, мерил тросточкой глубину пахоты да насвистывал себе под нос что-то веселое,— похоже, радовался, чудак, что на совесть обработали мужики поделенную между собой панскую землю. Щербиничевские хлопцы порой над ним шутковали, однако злого ему не делали, так как и малому было видно, что тронулся умом Богалей.

Повстречав его однажды, Фома Клюй спросил:

— Что это вы, Афанасий Петрович, ищете, чего не клали?

— Последнего твоего часа ищу, злыдень! — вдруг ощерился Богалей.

— Вот-то напугали,— беззаботно посмеиваясь, проговорил Фома Петрович.— Бог даст, раньше своего часа не помрешь...

Но по-иному думал его односельчанин старый зажиточный Бульбачев. Как-то раненько утром, вместо того чтобы ехать в поле сеять просо, погрузил он на подводы фортепьяно и прочее панское добро, что лежало у него в клуне, и отвез к Богалею.

— Неисповедимы пути твои, господи! Пробудилась совесть у человека,— сказала, крестясь, бабка Горпина, соседка Дыниных, старуха богомольная, старорежимных правил, уже полгода не забывавшая поминать за каждым словом антихриста и светопреставление.

— У него той совести, как у кобылы, что воз перевернула,— рассердился Никита Куприянович.

Не любил он Бульбачева. И было за что.

5

Хотя и выглядел Григорий Федорович Бульбачев ледащим и немощным, как трухлявая опенка, но недаром в народе говорится: «Мала куча, да вонюча»,— зловредней того человека еще не родилось в Щербиничах. Заварилась у Никиты Куприяновича с ним распря лет пять назад, и вот по какой причине.

С давних пор вели межу, которая отделяла полторы дынинские десятины от бульбачевского отруба, по двум приметам. Начиналась она от старого дуба при дороге, расщепленного молнией, и шла напрямик до большого серого камня, обтесанного и положенного чьей-то неведомой рукой среди чистого поля. Звали его Охримовым камнем. Говорила молва, что похоронен под ним в стародавние времена казак Охрим Щербатый, замученный панскими гайдуками.

Так это межевание по волостному плану значилось.

Но однажды по весне припоздился Никита Куприянович с пахотой. Приехал он на поле, когда солнце поднялось уже высоко, и сразу приметил неладное.

Стороннему человеку, может, и показалось бы, будто все обстоит по-прежнему. Как и раньше, до половины уходил в грунт Охримов камень и еще крепко стоял дуб при дороге, змеями раскинув вокруг себя корявые корни. Но без труда разглядел старый Дынин, что земли у него поменьшело — да не как-нибудь, а в ширину сажени две...

— Не пойму, добрые люди, что за чудасия творится,— сказал Никита Куприянович, подходя к Бульбачеву, который успел уже с сыновьями вспахать в два плуга немалый загон.— Вроде усыхать стала моя земелька...

Бульбачев остановил лошадей и, собрав в кулак ржавую, как прошлогодняя трава, бороду, искоса посмотрел на пахавшего вместе с ним, не по-отцовски широкого в плечах старшего сына Дмитра.

— Ай-ай-ай, — сказал он, душевно сокрушаясь.— В летах человек, а с утра уж под мухой. Не доведут вас до добра Адамовы слезы, куме...

Дмитро заржал, как стоялый жеребец, а у Никиты Куприяновича помутилось в глазах от обиды. Однако сдержал

себя, только сильней налег на упертое в землю кнутовище.

— Тогда, может, скажете мне, пьяному дурню, за каким чертом вот тот камень, что спокон веку лежал замшелой стороной на полночь, взял да обернулся ею на полдень?

— Здорово были! — прикидывался, что ничего не понимает, Бульбачев.— Кто же такую каменюку ворочать станет? Идите проспитесь, куме...

— Правду люди говорят: нет леса без волка, а села — без сукиного сына,— не стерпел Никита Куприянович.

Ему хотелось прибавить еще что-нибудь покрепче, но увидел он: подходит к ним, оставив вторую запряжку, младший Бульбачев — Никифор, а Дмитро уже начинает завертывать рукава.

— Погибели на вас нет, анафемское отродье,— крикнул Никита Куприянович и поспешно отступил восвояси, пригрозив Бульбачеву судом.

Однако из суда, известное дело, ничего не вышло. Пришлось только Дыниным продать годовалого кабана да трех овец, потому что немало денег просудил батько на писарях и адвокате.

Хитер был Григорий Федорович Бульбачев, и уж, конечно, знал и на этот раз старый пес, что делал, возвращая Богалею панское добро.

6

Недели за три до весеннего праздника троицы вернулся никем не жданный в свое родовое имение помещик Карпеко. Проследовал он через Щербиничи, храня вид оскорбленный и неприступный, по сторонам не глядел и не отвечал на поклоны тех, у кого по старой привычке сама рука тянулась к шапке.

Рядом с ним, завалившись на кожаные подушки фаэтона, сидел невзрачный на вид офицер в узком мундире мышиного цвета и мягкой, словно примятой спереди, походной фуражке.

Позади экипажа, чуть пыля по прибитой майским дождиком дороге, шел взвод пехоты и везли на подводе два пулемета.

Глядели щербиничевцы на незваных гостей, и смутно становилось у них на душе. Шли солдаты тяжелым размеренным шагом, и на их угрюмых лицах, перетянутых черными ремешками от касок, не было никакого интереса к тому, что делается вокруг. Так смотрят люди, которые давно уже отвыкли спрашивать, куда и зачем они идут.

Следом за немцами ехало верхом человек двадцать гайдамаков. Были все хлопцы как на подбор — рослые, кормленые, в синих чемерках и сбитых на затылок серых смушковых шапках, из-под которых свисали на бритые лбы еще не отросшие как следует оселедцы.

Бабка Горпина стояла за плетнем и, прикрыв глаза от солнца рукой, смотрела им вслед.

— Понаедали хари, чисто Николашкины городовые, — сказал, завертывая цигарку, Никита Куприянович, разглядев во главе гайдамацкого отряда старшего сына Бульбачева Дмитра.— Берегите курей, соседка!

Старуха только плюнула в ответ на такие глупые слова и ушла в хату, бормоча что-то из священного писания про жениха, который грядет о полуночи...

Вечер и ночь прошли в Щербиничах спокойно, хотя на другой день и не досчитались в иных дворах кой-кого из молодых хлопцев, которые, видно, подались на Брянск, где, по слухам, собирались отступавшие с Украины красногвардейские части.

Когда же рассвело, перехватили гайдамаки на краю села крестьянское стадо и погнали в экономию.

Бабка Горпина прибежала домой, как полоумная, без платка и вся в репьях.

— Где это вы убрались так, соседка? — спросил ее Никита Куприянович.— Не то жениха о полуночи повстречали?

— Анчихристы... Филистимляне... Чтобы вас язва египетская побила... — кричала бабка, рассказывая о происшествии...

Хворая Федькина мать заголосила, узнав, что и их скотина попала в беду. А Никита Куприянович лишь головой покрутил, но корову выручать не пошел. До полудня просидел он в холодку на завалинке, покуривая самосад, будто и не слышал причитаний жены. Когда же забегали по хатам десятские, собирая народ на панское подворье, вдруг стал жаловаться на лихорадку. Надел рваный женин кожух, поверх натянул еще свитки и, опираясь на батожок, заковылял к экономии.

7

Следом за батькой пошел и Федька, хотя его что-то забыли позвать в гости до пана Карпеки. Но уж такой он был хлопец,— до всего ему было дело.

Вышел Федька за ворота и увидел на соседнем пере-

лазе свою нареченную невесту, двенадцатилетнюю Христю, единственную радость и утешение старой Горпины.

— Федька... Постой... И я с тобой... — крикнула она ему, торопливо повязывая голову беленьким платочком.

— Тебя там только не хватало...— пробурчал Федька, даже не подумав сбавить шаг.

Хотя и росли они с детства неразлучно и накрепко пристало к ним прозвище жениха и невесты, однако с недавней поры стыдился Федька показываться на улице вместе с Христей. Что ни говори, а для такого, как он, парубка двенадцатилетняя Христя — не очень подходящая компания.

Однако Христя уже догнала его, позванивая на бегу стеклянными монистами, и ему ничего не оставалось, как смириться.

— А до нас сегодня герман приходил... — тараторила она, то и дело засматривая Федьке в лицо.— Сам толстый да мордатый, коло пояса нож с пол-аршина, на пузе желтая бляха, а на той бляхе что-то по-ихнему, по-немецкому, написано. Вперся в хату — и очами луп, луп. «Давай,— говорит,— млека...» А бабуси дома нет. Я перепугалась, страх. Ой, думаю, что оно будет?.. А он увидел на лавке глечик с молоком, что бабуся утром надоила, и весь его зараз прямо и вылакал...

— А ты чего, раззява, смотрела? — сказал Федька строго, как и подобало взрослому.— Взяла б его да по морде.

— А то... Какой храбрый нашелся.

Христя показала Федьке язык, и ему пришлось стерпеть это, так как навстречу шел дед Кучеренко, батько матроса Петра Кучеренко,— старик суровый и справедливый, которого на селе уважали, а кое-кто и побаивался.

— Доброго здоровьичка, Тарас Никифорович,— сказал Федька, с достоинством снимая картуз.— Не то не пойдете сегодня до Карпеки?..

Старый Кучеренко пасмурно кивнул в ответ на Федькино приветствие.

— Хоть и широкие, хлопче, у пана ворота, да входить через них для меня узко,— сказал он.

Федьке понравились дедовы слова, но что ответить на них — не придумал и лишь для вежливости промолвил:

— То как водится...

Зато Христя и тут не могла помолчать.

— Бабуся говорила — на панском подворье новые ворота навесили, — затрещала она, торопясь выложить свои новости. — Коло тех ворот герман стоит с ружьем, и во

дворе солдат полным-полно... Я их тоже видела. По хатам ходят и молоко пьют... А где же того молока люди наберутся, когда сами, ироды, коров позабирали?..

— Вот сорока,— сказал старый Кучеренко, хмуря седые, сросшиеся на переносье брови.

Однако казацкие усы его при этом смешливо вздрагивали, словно лукавил дед, напуская на себя строгость.

— Ты зачем, Федька, ее с собой тянешь?

— Да кто же ее тянет? — взволновался Федька, даже покраснев от такого вопроса.— Сама прицепилась, как репей до кожуха,— пойдем да пойдем...

— Не верьте ему, дедуся... Очень он нужен... Чертяка конопатый... — не осталась в долгу Христя.

Старый Кучеренко ласково положил им на плечи свои тяжелые, не по возрасту еще крепкие руки.

— Сдается мне, что обоим вам там делать нечего,— сказал он.— Лучше проводите меня до хаты, а я вам за то бывальщину расскажу...

Хотя и разбирала Федьку досада, что попал он как бы в ровни с двенадцатилетнею Христею, однако перечить деду не стал. Очень любопытно было ему, что за побасенку расскажет старый Тарас — превеликий мастер по этой части.

— Лет тридцать, а то, может, и сорок назад жил тут неподалеку от Щербиничей один хлопец, вроде тебя, Федька,— на том краю села кобыла сдохнет, ему и то знать надо,— начал старый Кучеренко так, будто доводилось ему видеть этого хлопца своими глазами.— Как-то ехали люди на богомолье в Киев, и упросил тот хлопец батька отпустить его с ними. Ну, известно дело, ходит по улицам города, и все ему в диковинку... Глядь, а над Софиевской колокольней — тьма тьмущая галок, и все на одном месте крутятся. «Ишь ты! — думает хлопец.— Дай-ка я тех галок сочту...» Задрал голову, рот раззявил, стоит и считает. Откуда ни возьмись — служивый, хвать его за чуприну. «Ты чего тут, щучий сын, делаешь?..» Перепугался хлопец насмерть. «Я, дяденька, ничего... Я так... Галок считаю...» — «А известно тебе, олух царя небесного, что эти галки казенные?.. Плати за каждую считанную галку в казну штраф». Хлопец в слезы. «Так я ж, дядько, только двоих и насчитал...» — «Вот и гони за них два карбованца»[1]. Выгреб хлопец из кармана все гроши, что дал ему на дорогу батько, и скорее ходу. А сам рад-радешенек: «Здо-

[1] Карбованец — рубль.

рово я того служивого обдурил: восемь галок насчитал, а ему только про двух сказал...»

— Не то и я такой дурной? — спросил с обидою Федька.

— Еще дурнее, — вставила свое слово Христя, страх довольная, что обратился дедов рассказ против Федьки.

Старый Кучеренко, усмехаясь, смотрел на них.

— Куда там... Ты у нас разумный хлопец, Федько. Хоть еще не молоченный, но по току уже волоченный... А вот что она за штука, казенная галка, — не знаешь...

Тут дед снова посуровел.

— Ступайте домой, дети, — приказал он и завернул к себе во двор.

Федька и Христя подождали, пока захлопнется в хате дверь, и потом что было духу пустились к панской экономии: не терпелось им все же посмотреть, что делается там.

На обширном подворье у пана Карпеки собралось уже немало щербиничевцев, но сколько ни смотрел Федька по сторонам, видел все больше женщин да мужиков в летах. Похоже было, что те, кто помоложе, не очень спешили показаться на глаза непрошеным гостям.

За покрытым узорчатой скатертью столом красовался в новой чесучовой тройке управляющий Богалей, подбритый и помолодевший лет на десять. По левую руку от него восседал старый Бульбачев, а по правую — какой-то добродий — приезжий из города в казенной фуражке. Сбоку стояли гайдамаки с нагайками.

— Известно, без нашего Гриця вода не освятится, — сказал при виде Бульбачева Никита Куприянович.

— Либо правда, будто еще в священном писании сказано: бойся живого пса больше, чем льва мертвого? — спросил Иван Калиниченко, любивший умственные разговоры.

— То вы у соседки Горпины спросите,— она вам лучше псаломщика разъяснит, — ответил Никита Куприянович.

В дверях панского дома показался помещик Карпеко с немецким офицером. Им поставили кресла на крыльце, под навесом, потому что солнце уже припекало по-летнему.

Ворота, починенные за ночь, закрыли на засов, и возле них с ружьями к ноге стали два солдата.

Добродий снял фуражку, подергал книзу и без того обвислые, как у сома, усы и, натуженно выкрикивая каждое слово, начал читать приказ черниговского губернского старосты.

Федька, а следом за ним и Христя пробрались вперед. Стоя здесь, Федька разобрал, что грамотой гетмана всея Украины Павла Скоропадского частная собственность на землю и прочее движимое и недвижимое имущество полностью восстанавливается. А посему, во исполнение милостивой гетманской грамоты, губернский староста приказывал:

«Весь живой и мертвый инвентарь, срубленный лес и все прочее имущество частных владельцев, в чем бы оно ни заключалось, расхищенное у них либо розданное постановлениями земельных комитетов и прочих самочинных организаций, немедля вернуть собственникам...»

Далее в бумаге было сказано, что эти самые собственники имеют право взыскать с виновных все причиненные убытки, а ежели имущество истреблено или истрачено, получить сполна его стоимость... Всякое противодействие данному приказу будет пресекаться в корне и повлечет для виновных самые тяжелые последствия.

Приезжий кончил читать, надел фуражку и отер взмокшие усы вышитым платочком.

Пользуясь затишьем, бабка Горпина крикнула:

— Поперед скотину отдайте... С утра скотина не кормлена.

От слов ее по толпе пошел ропот, но тут поднялся с места управляющий Богалей и разъяснил, что о скотине разговор будет позже.

Снова заговорил приезжий из города. Он сказал, что для проведения в жизнь всего означенного в приказе пана губернского старосты в Щербиничах создана полномочная комиссия в составе его самого, управляющего Богалея, а также выборного от местного населения, старосты села Григория Федоровича Бульбачева.

— Да кто же его выбирал, вражину? — закричали из толпы.

— Геть...

— Не станет кишка за начинку...

— Геть...

— Геть...

Поднялся такой гвалт, что хоть святых выноси. Гайдамакам пришлось здорово подрать глотки, прежде чем удалось навести порядок.

Приезжий же не на шутку рассердился и в гневе стал заикаться. Насилу можно было понять, что считает он Григория Федоровича наидостойнейшим человеком изо всего села, потому что не только не покусился Бульбачев на пан-

ское имущество, но даже сберег добрую часть его для законного владельца.

Высказав это, приезжий наконец сел. Тогда Богалей стал выкликать по фамилиям собравшихся на панском подворье хозяев.

— Калиниченко Иван Максимович, — зачитывал он по списку, лежавшему перед ним. Высокий нескладный Калиниченко боком протискался к столу.

— Семирядную сеялку брал? — строго спрашивал Богалей, глядя на Калиниченко сквозь очки, сдвинутые на кончик остренького, как шильце, носа.

— Так что брал, Афанасий Михайлович,— отвечал Калиниченко, уныло разглядывая землю у себя под ногами.

— И плужок брал, — говорил Богалей, справляясь по списку.— Значит, причитается с тебя, Калиниченко Иван Максимович, за прокат и в возмещение убытков, понесенных экономией, сто сорок пять карбованцев. Распишись пока вот здесь...

Калиниченко переступал с ноги на ногу и говорил:

— Сеялка, вроде, поломанная досталась. Как бы сказать, попользоваться не пришлось вовсе...

— Порчу придется отдельно оплатить, голуба,— становился ласковым от такого известия Богалей.— Припишем тебе, Иван Максимович, дополнительно сто карбованцев по графе — ремонт инвентаря. Итого двести сорок пять. Распишись...

— Как же так — двести сорок карбованцев? — удивлялся Калиниченко. — Так та же сеялка, как я ее привез, и посейчас под навесом стоит. Никак не соберусь до коваля отвезти...

— Недостает человеку третьей клепки в голове,— снисходительно улыбнулся добродий из города.

— Хитрости у человека много, — сказал старый пес Бульбачев, ехидно щурясь на Калиниченко.— Ты б, Иван Максимович, покорился... Коль поломал — платить надо.

— Разберись поперед, а тогда совайся,— закричал Калиниченко, у которого порвалось последнее терпение.— Нема такого закона, чтобы с человека за здорово живешь штаны снимать...

— Ну, довольно, Калиниченко, — сказал Богалей.— Не прикидывайся дурнем. Не можем мы с тобой по целому часу разговаривать...

Тут откуда-то взялся Дмитро Бульбачев при револьвере и шашке, обряженный во все новое, офицерское. Козыр-

нул пану Карпеко и его гостю, пошептался с Богалеем и моргнул гайдамакам.

— Пишись... Пишись, дядько... — подступили те к Калиниченко.

— Помилосердствуйте... — закричал Калиниченко. — Люди добрые, за что напасть такая?

Гайдамаки раза два перетянули его нагайками поперек спины. И когда Калиниченко наконец расписался, Богалей сказал ему в назидание:

— Сам виноват, Иван Максимович. Кто панское берет, того бог бьет...

— Кусается комар до поры... — ответил Калиниченко, поводя костлявыми плечами, и хотел замешаться в толпу, но гайдамаки догнали его и за такие слова дали еще плетей.

Так одного за другим вызывали жителей Щербиничей к покрытому узорной скатертью столу и заставляли расписываться в том, что было и чего не было. А на прощание всыпал им бульбачевский выродок горячих, чтобы, значит, надольше запомнилась гетманская ласка.

Пан Карпеко, сидя в холодке, вел любезную беседу с немецким офицером и только порой рассеянно поглядывал вокруг, словно и не интересуясь тем, что творилось на широком, залитом солнцем подворье.

8

Дошла очередь и до Федькиного батька Никиты Куприяновича.

— Доброго здоровья, Афанасий Михайлович, — деликатно начал он разговор, подходя к столу.

— Здравствуй, старый, — признал его Богалей. — Пришел за плужок поквитаться?

— Как же, как же,— сказал покорно Никита Куприянович.— Плужок в полной исправности. Вроде, как бы сказать, на сохранении...

— Кума не без ума,— подмигнул Богалею добродий из города.

— Итак,— сказал управляющий,— причитается с тебя, Никита Куприянович, шестьдесят карбованцев. Правильно я говорю?

— Ваша хата, ваша и правда,— вздохнул Никита Куприянович.

— Может, сразу и заплатишь?..

— Где ж его сразу взять? Гроши, они не полова...

— Бог с ними, пускай распишется да идет,— сказал размякший на солнцепеке приезжий, осоловело поглядывая на забитое народом подворье.— Кто там следующий?..

Может, так бы и обошлось оно, кабы не собака Бульбачев.

— А что это бабы брешут, будто заходили вы, сосед, в панские покои? — спросил он, уколов Никиту Куприяновича взглядом злых, как у старого хоря, глазок.

— Не пойму, про что вы говорите,— промолвил Никита Куприянович с обидой в голосе, хотя втайне ждал и побаивался этого вопроса.— За погляд гроши не платят.

Но Бульбачев, не слушая его, перегнулся через стол и зашептал что-то на ухо добродию.

Сразу пересохло во рту у Никиты Куприяновича. Увидел он, как бегают блудливые глаза у Богалея, как скалит жеребячьи зубы толстомордый Дмитро, и понял, что ждать хорошего ему не приходится.

— Так то вы, может, про эту скляночку говорите? — заторопился он и, отвернув полу свитки, достал из кармана что-то завернутое в тряпицу.

— Гм... Так!.. — промычал добродий, выслушав Бульбачева, и, насупившись, загремел на Никиту Куприяновича: — Это что такое? Тоже на сохранение брал?

Федькин батько поежился от грозного окрика, но не сдался.

— Так точно, на сохранение...— сказал он.— Гляжу, стоит на оконце. Дай, думаю, приберу,— как бы случаем не покусился кто...

Развернув тряпицу, он поставил на стол граненую бутылочку со стеклянной пробкой...

Никто так не удивился, как Федька, видя, что полна по горлышко склянка прозрачной, чуть желтоватой влагой. При нем же израсходовал накануне пасхи батько все ее содержимое, сдабривая две бутылочки первача-самогона, приготовленные на разговенье...

— Не пойму, — сказал, по-крысиному дергая носом, Богалей, — не духи, а сивуха какая-то...

— Может, выдохлось на солнце? — сказал, смелея, Никита Куприянович.

Тут впервые за сегодняшнее судилище подал голос пан Карпеко, потребовал к себе злополучный флакон. Понюхал, скривился и отвернулся к немецкому офицеру, сказав по-русски лишь одно слово:

— Всыпать...

— А ну, берись, хлопцы,— поспешно крикнул Дмитро Бульбачев, словно только и ждал этого.

И всыпали Никите Куприяновичу... Не помогли ни свитка, ни бабий кожух, предусмотрительно надетый им под низ. Все до сподников содрали чубатые изверги и, разложив его на лавке, били нещадно, пока сами не упарились.

Как щенка, отшвырнул Дмитро Бульбачев Федьку, кинувшегося было на помощь батьку...

Причитая, валялась у панских ног хворая Федькина мать, молила не губить человека за такую, прости господи, дурницу, как та склянка. Обещала сегодня же пригнать в возмещение порося, а если мало будет, то принести еще и курочку.

Но даже не повернул к ней головы Карпеко, будто никого тут перед ним и не было. Сидел, закинув ногу на ногу, немецкий офицер. Чувствовал он себя полновластным хозяином над жизнью и смертью собранных здесь по его приказу людей, и поганой радостью было отравлено его сердце, в котором не оставалось места ни жалости, ни снисхождению.

— Мамо, родненькая, встаньте, — говорил Федька, пытаясь поднять с земли ослабевшую мать.— Кого вы просите, мамо?

Молчали люди. Хотелось им плакать кровавыми слезами. Вскипала в сердце злоба, но не было ей выхода: смотрел на толпу из окна панского дома своим пустым и черным, как сама смерть, оком немецкий пулемет, заправленный боевой лентой...

9

— Пропал, голый, и тебя обдерут зараз! — во всеуслышание провозгласил Фома Клюй, когда Богалей выкликнул его фамилию.

И, видно, уж так устроен человек наш, что даже в тяжелую минуту безысходности не может остаться равнодушным к острому слову. Приглушенный смех пробежал по панскому подворью и разом стих. Ближе придвинулась толпа к покрытому узорной скатертью столу. Поднялись на ноги и те, кто, истомясь на солнцепеке, присел на молодую траву, которой заросла долго пустовавшая усадьба.

Каждый ждал, что учудит Фома Клюй.

— Опять треплешь языком, как поганый пес хвостом,— проговорил Богалей и снял с носа очки, чтобы лучше видеть своего недруга.

— Затем человеку и язык дан, чтоб не сох во рту,— не остался в долгу Фома Петрович.— То у вола язык долгий, а говорить не умеет...

— Молчать! — рявкнул добродий из города.

— Та разве я что? — сказал Клюй.— Это еще старые люди по темноте своей нас учили: дерет коза лозу, а волк козу, мужик волка, а пан мужика...

От такого Клюева вольнодумства добродий стал краснее печеного рака и хотел уже подать знак гайдамакам, чтобы взяли Клюя в работу, но Богалей удержал его, сказав многозначительно:

— Присчитаем все до общего итога...

— Слышал ли ты, Клюй Фома Петрович, про универсал пана гетмана? — спросил он с недоброй улыбочкой.

— А как же,— сказал, не сморгнув, Клюй.— Спасибо их ясновельможности, дай им боже, чтоб земля для них легче пуха была.

— Пьяный, что ли? — снова взволновался добродий, в раздражении дергая себя за ус.

— Что пьяный, что трезвый — все едино,— объяснил ему Бульбачев.— Первейший горлопан на все село. Одно слово — Президент...

А Богалей, повысив голос, чтоб лучше было слышно его там, где сидел Карпеко с немецким офицером, спросил Клюя еще:

— Значит, не одобряешь ты зачитанное тут?..

— Та разве моя душа из лопуха? Как люди, так и я...

— Я не людей спрашиваю, а тебя, Фома...

— Уж я не знаю, что сказать вам на это. То, может, только по-немецки — нецьки, а по-нашему выйдет — корыто?..

Позади Клюя засмеялись.

Кто-то, осмелев, сказал:

— Так их... А ну, поддай жару, Фома Петрович...

— Против власти агитируешь?.. — закричал Богалей, радуясь услышанному.— Народ бунтуешь?

— И вредный же ты человек, Богалей,— сказал рассудительно Фома Клюй.— Недаром тебя люди любят, как собака цибулю...

— А кто пана гетмана и наших союзников немцев поносил? — кричал Богалей, стуча по столу кулаком.

— Кто же их носил? — удивился Клюй. — Лихая година их до нас принесла да вместе с вами на нашу шею посадила.

Так еще раз посрамил Богалея Фома Клюй. Довольный собою, обернулся он, посмотрел на людей — как понравились им его слова. И увидел совсем близко от себя немецкого офицера, доставшего из кобуры револьвер.

— За что?.. За что убиваешь, сукин сын?..— только и успел промолвить дрогнувшим голосом Фома Клюй перед своей нежданной смертью.

Стоном отозвался в толпе выстрел. Будто предгрозовым ветром всколыхнуло людей, сорвало с места, двинуло вперед тех, кто стоял позади, обрушило передних на сидевших за столом панских прихвостней. Замелькали в воздухе клочья изорванных штрафных списков. Побежали прочь, спасая свою шкуру, гайдамаки. Зайцем метнулся в панские хоромы вслед за Карпекой управляющий Богалей.

А когда, сатанея, застучал из окна немецкий пулемет, отхлынула толпа к воротам, навалилась на часовых, сорвала с петель тяжелые створы и рассыпалась по перелеску, что начинался тут же за панским подворьем.

10

Через три дня померла Федькина мать. Еле живая добралась она тогда до хаты и, как легла в углу на рядину, так с нее и не поднялась.

— Мамо,— спрашивал Федька, — болит у вас что-нибудь, мамо?

Мать вздрагивала, не понимая, смотрела на него чужими потухшими глазами, потом вдруг легонько, словно он был еще совсем маленький, проводила рукой по его жестким, выбеленным солнцем волосам и опять замирала. Лежала, устремив перед собой пустой взгляд, и, казалось, к чему-то прислушивалась.

Два дня ничего не брала она в рот, а на третий с жадностью выпила кружку холодного молока, принесенного бабкой Горпиной, и вскоре заснула ровным, тихим сном. И больше не проснулась.

Батька болел долго.

Вместе с толпой вынесло его тогда за панские ворота, и до вечера пролежал он, полуживой от гайдамацких побоев, в придорожной канаве, густо заросшей бузиной и глухой крапивой. Только совсем ночью отыскал его Федька и привел домой...

И раньше был батько не слишком разговорчивый, а теперь, после смерти жены, стал таким, что и вовсе от него слова не добьешься. Наскоро сделает что-нибудь по хозяйству, а потом часами сидит на завалинке, в тени старой груши, и сосет давно потухшую черешневую трубочку...

Страшные дела творились меж тем в Щербиничах. На другой день в церкви после заутрени были зачитаны с амвона отцом Серафимом два немецких приказа. В одном было сказано, что арестованный учитель земской одноклассной школы Леонид Трофимович Величко отправлен в Городню, где будет предан военно-полевому суду за свое секретарство в земельном комитете и что ввиду отсутствия Петра Кучеренко и других членов сельского ревкома, скрывавшихся от суда и следствия, движимое имущество их подлежит конфискации, а надворные постройки — сожжению.

Вторым приказом жители Щербиничей оповещались, что за учиненное вчера в панской усадьбе злочинство на них налагается контрибуция в пятьдесят тысяч рублей, на внесение которой дается три дня.

К вечеру запылали подожженные немцами хаты ревкомовцев, и долго разносил ветер по селу клочья обуглившейся соломы и тревожный — сухой и горький — запах недавней гари.

Сожгли супостаты и хату Клюя, выгнав на улицу его осиротелое семейство. А в колодец посреди двора бросили пристреленного ими старого одноглазого Серка — единственную Клюеву худобу.

Но не удалось им обречь Клюеву детвору на голодную смерть. Приютил ее у себя Иван Калиниченко, перед всем светом показав, что истинная дружба в огне не горит и в воде не тонет. Сам из нужды всю жизнь не выходил человек, а вот не задумался, принял на свои натруженные плечи еще и отцовскую заботу о многочисленном Клюевом семействе, где мал мала был меньше и только старшая дочка, пятнадцатилетняя Парася, сама зарабатывала себе на хлеб, второй год живя в наймичках у землемера Рака в Городне.

По горло хлебнули горя и слез Щербиничи. Лишь после двукратного ходатайства отца Серафима разрешил немецкий офицер похоронить по христианскому обычаю побитых из пулемета на подворье у Карпеко безвинных людей, среди которых была и двенадцатилетняя Христя — внучка бабки Горпины...

11

Узнали в Щербиничах и голод. Подчистую выскребли оккупанты хлеб в тех дворах, где нечем было платить наложенную на село контрибуцию. Осталась в панской экономии корова Дыниных, вместе со всем стадом перехваченная гайдамаками. Вернули скотину только тем, кто смог полностью расплатиться с паном Карпекой за долги, которые бессовестно поприписывал людям управляющий Богалей.

Каждый день шли поборы. Что ни утро, из ворот в ворота ходил на горе щербиничевским бабам дежурный немецкий солдат в сопровождении двух гайдамаков с мешками, собирая провиант для гарнизона, поставленного в панской усадьбе. Особенно допекал баб один унтер, сытый, мордатый, будто салом налитый, который, должно быть, по своей охоте, чаще других оказывался в наряде. Не человек был, а смола. Шел по улице не спеша, как поп по приходу. Ступив во двор, не забывал поздороваться с хозяйкой, за каждым словом кивал головой и, хитро улыбаясь, называл всех баб полюбившимся ему именем — «Мотра»...

— Тьюп-тьюп-тьюп. Ко-ко-ко... — ласково булькотал он, присаживаясь на корточки и рассыпая перед сбегавшимися курами хлебные крошки, которых у него всегда бывало полно в карманах.

— И зачем это вы?.. Они у меня уже кормлены,— волновалась хозяйка, с тоской и злобой глядя, как наплывает у немца на воротник мундира жирный, весь в розовых складках, затылок.

— Кши, ненасытные! — напускалась она на кур.

Унтер надувал и без того круглые щеки, прикладывал к губам толстый и короткий, будто обрубленный, палец.

— Тс-тс, Мотра... — строго говорил он.

Облюбовав лучшую курицу, он хватал ее за хвост и, взвесив на руке, передавал гайдамаку.

— Хорош кур, Мотра,— говорил он одобрительно.

— Чтоб ты подавился ею, треклятый,— сквозь слезы шептала баба и плелась за немцем в погреб смотреть, как будет он, сопя и чмокая, пробовать молоко и сметану, а то еще хуже — в свиную закутку, где с громким писком толкались вокруг матки неразумные поросята...

Случалось, заглядывал унтер и в хату, отставлял у печи заслонку и начинал ковыряться в горошках. Не каждая хозяйка могла выдержать такое. Иная, обессилев, опуска-

лась на лавку, давая волю слезам и причитаниям, другая же входила в раж, с грохотом швыряла на пол попавшую под руку миску и начинала поносить на всю улицу последними словами и гетмана и его немецких хозяев. Тут гайдамаки брались за плети, висевшие у них на поясах, а унтер поспешно выходил из хаты во двор, бережно прижимая к себе макитру варенников или горшок со шкварками.

— Русски некультурни, — говорил он людям, сбегавшимся на истошный бабий крик, и качал головой.

Хуже смертного греха был для осиротелой Горпины толстый немец. Звала она его не иначе, как Навуходоносором. Завидев на своем подворье его мешковатую фигуру, со всех ног бежала в хату, валилась на колени перед образами и принималась громко читать молитвы за упокой невинно убиенной отроковицы, рабы божьей Христины.

Унтер вскоре привык к этому и даже был доволен, что старуха не мешала ему. Сам ходил на сеновал, выбирал из-под кур свежие яйца, сам дергал на огороде за хатой зеленый лук и молодую редьку, а порой подбрасывал и дров в печку, терпеливо ожидая, пока дойдет какое-нибудь приглянувшееся ему бабкино варево.

— Эй, молода! Жених пришел, — трунили над старой Горпиной гайдамаки, рассаживаясь на лавке и подкуривая бабку едким дымом цигарок.

У Горпины начинали мелко дрожать руки. Она торопливо крестилась, отбивая частые земные поклоны, и по ее сморщенным щекам текли слезы...

Но все же не стерпела один раз старая Горпина.

В последнее воскресенье перед троицей пришла она из церкви, тихая, умиротворенная. Положила на стол завернутую в чистый платочек поминальную просвирку и только хотела затеплить в святом углу погасшую лампадку, как услышала, что трещит со стороны улицы сухой плетень, а глянув в окно, увидела на перелазе розовую харю Навуходоносора...

Истово клала бабка поклоны, пока унтер со своими подручными хозяйничал во дворе, хотя, что скрывать, кровью облилось сердце, когда отчаянно закрякал и сразу стих хромоногий селезень, которого она подкармливала к троицыну дню. Но лишь только взвизгнула щеколда и ввалился Навуходоносор в хату, будто затмение нашло на бабку. Говорит слова молитвы и сама их не слышит,— одно в голове: что делает позади нее герман?

А он, заглянув в холодную печь, погремел на припечке пустой посудой и, недовольно посапывая, уже повернул к

двери, когда попалась ему на глаза злополучная просвирка... Непривычен был унтер к жесткому постному тесту, поэтому, пожевав его, скривился и выплюнул в стоявшую у порога помойницу.

Как одержимая, сорвалась с места бабка, схватила грязное ведро и с криком: «Сгинь, нечистая сила» — выплеснула помои ему на голову. А потом всхлипывала и дергалась вся, пока гайдамаки крутили ей назад руки, а Навуходоносор сердито пыхтел на лавке, отирая измазанное лицо сорванным с божницы вышитым рушником и придумывая наказание для непокорной старухи.

И додумался же, поганец! Как завязывают полный мешок с картошкой, так под гогот и тюканье гайдамаков завязал веревочкой над головой бабки широкую юбку и погнал по селу старую Горпину, выставив на поругание ее немощное, иссохшее, будто печерские мощи, тело...

Затаили в своих сердцах люди святую ненависть к чужеземцам, принесшим на нашу родную землю новое иго. Еще не смели говорить открыто, приглядывались друг к другу, остерегаясь предателей из гетманского «Союза хлеборобов», куда позаписал Дмитро Бульбачев кое-кого из кулацких сынков. Но все упорней шел по селу слух о красных партизанах, которые будто бы нашли себе пристанище в глухих болотистых лесах за речкой Вагой.

12

Вскоре арестовали вороги и старого Тараса.

С того дня, как спалили они Кучеренкову хату, скитался старик по соседям. Поили и кормили деда люди, так как пользовался он всеобщим почетом и уважением. Строгий был человек. Никто и разу не видел, чтоб прослезился он над своим горем. Не склонил головы перед вражьей силой и по-прежнему любил, собрав вокруг себя молодых хлопцев, рассказывать им в поучение какую-нибудь побасенку, которая всегда находилась у него к случаю. А ребят медом не корми, дай только послушать смешное. Вместе с ними всегда был и Федька.

Особенно понравилась ему байка про пана Антона. Вспомнил ее Тарас Кучеренко, когда Карпеко справлял всенародно в церкви благодарственный молебен о своем благополучном возвращении в родовую усадьбу.

— В старину тоже такое было,— сказал тогда дед Тарас обступившим его на церковном дворе хлопцам.— До-

велось ехать через мост одному пану, а звали его панскую милость Антоном. И случись грех — провалился тот пан Антон в воду, как был, вместе с бричкой. Сбежались люди и вытащили пана на берег. Тут бы и сказке конец, но был этот Антон уж очень важный пан, а потому велел поставить на гребле высоченный крест и самолично придумал для него такую надпись: «Бог пана от смерти избавил, за то пан богу крест поставил». А на другой день кто-то из добрых людей пониже дописал: «Радуйся, дурной Антоне,— кто должен висеть, тот не утонет».

— А дальше? — спросил Федька.

— Дальше? — задумчиво повторил дед. — У кого есть на плечах голова, хлопче, тот сам разберется, что дальше...

И, сурово поведя запавшими глазами на вертевшегося на паперти старого Бульбачева, пошел из церковной ограды, опираясь на костыль...

За свои правдивые слова пострадал Тарас Никифорович Кучеренко. Не боялся старый говорить людям, что несут немецкие оккупанты новую панщину, хотят обернуть в «крепаков» вольный народ, обобрать его, надеть ему на руки и ноги кайданы [1]. За то и забрали его изверги.

13

Как-то само собой повелось у Федьки, что, управясь с немудрым хозяйством, которое теперь целиком навалилось на его плечи, уходил он под вечер далеко в поле. Сядет на пригорке возле Охримова камня, обнимет колени и смотрит, как играют на высоких колосящихся хлебах багряные лучи солнца, уходящего за дальние перелески.

О чем только не передумал Федька, сидя здесь.

Снова живыми вставали перед ним навсегда ушедшие из жизни дорогие его сердцу люди.

Казалось ему, будто сухая горячая рука хворой матери легонько касается его лба...

— Мамо... мамо... — шептал, вздрагивая, Федька, и от тихой ласки, что была в этом слове, мукою переполнялось его сердце и на глазах навертывались слезы...

Только теперь по-настоящему почувствовал Федька, какое неповторимое для человека счастье таит в себе материнская любовь. Раньше словно не замечал он этого и заботу матери о себе принимал как должное, а порой и до-

[1] Кайданы — цепи.

садовал даже: чего она с ним так нянчится — маленький он, что ли?..

А теперь... Теперь, кажись, все на свете бы отдал, лишь бы снова услышать ее, в ноги бы ей поклонился за ту горбушку хлеба, намазанную медом, что оставляла она ему на столе вместе с кружкою молока, если случалось ему задержаться на улице с хлопцами и прийти домой, когда все уже спали.

— Мамо, мамо... Родненькая мамо моя... На кого же ты покинула нас с батьком? Лишили тебя жизни проклятые душегубы...

Слезы текли из глаз Федьки. Не стыдился он тех слез и не пытался их унять.

Когда же, наплакавшись вволю, поднимал голову, снова воспоминания о недавнем, но уже безвозвратно минувшем, овладевали им.

...Расхристанный, без шапки, с утра уже навеселе, проходил зеленой улицей Фома Клюй и, подмигивая Федьке, говорил:

— На что нам гроши, когда мы сами хороши...

Было время, когда побаивался Федька Фомы Клюя и при встречах подальше обходил его: как угадаешь, что у пьяного на уме?.. К тому же и сам Федька был не без греха: случалось ему не раз, по примеру других сорванцов, выглянуть из-за плетня, прокричать вслед Клюю: «Тю-у-у! Президент идет!» И со всех ног пуститься наутек. Клюй же останавливался, хлопал себя ладонями по коленям и, приседая, во весь голос кричал: «Держи! Держи его, кошкина сына!..» У Федьки душа уходила в пятки, и ноги сами собой припускали еще быстрее.

А потом довелось ему поближе узнать Фому Петровича...

Раз на току за клуней ловил Федька решетом воробьев. Наука нехитрая: подпереть решето колышком, посыпав на землю немного проса, привязать к колышку суровую нитку подлиннее и, держа в руке другой конец ее, затаиться в бурьянах и ждать, пока какой-нибудь не в меру прыткий воробей, попрыгивая и поклевывая просяные зернышки, ненароком заскочит под самое решето. Дергай тогда проворней за нитку, чтоб выскочил колышек, и решето прикроет неосторожную птицу.

И вот, когда в ловушке уже бился серый пленник, а Федька, запустив под решето руку, старался схватить его, услышал он над собой хриповатый голос Клюя:

— Эге! Не то вправду поймал куцего за хвост?..

От неожиданности Федькина рука дрогнула, и воробей, выпорхнув из-под решета, взлетел на крышу клуни.

— Эх, дядька Фома, какого горобца из-за вас упустил! — сердито сказал Федька, подымаясь на ноги и потихоньку отступая назад на случай, если бы вздумал Клюй ухватить его за ухо и расквитаться за все обиды.

Но Клюй был настроен миролюбиво.

— Да ну? — сказал он. — А я иду, смотрю — сидит Семен над кручею, ловит раков онучею. Дай, думаю, пособлю...

— Разве так пособляют?

— А ты не сердись,— сказал Клюй.— Пойдем лучше перепелов ловить.

— Перепела решетом не поймаешь...

— Зачем решетом?.. Силками ловить будем.

— А где же те силки взять?

— Сами сделаем. Только конский волос нужен... Тебя как — Федькой звать?

— Федькой.

— Так ты ступай, Федька, надергай волосьев из хвоста у вашего Гнедка.

— Батька лаяться будет...

— А ты так, чтоб батько не видал...

Когда Федька вернулся с пучком длинных конских волос, сел Клюй у стены клуни, по-турецки подвернув под себя ноги, и взялся за дело. Зачарованно смотрел хлопец на его умелые руки, под которыми быстро — и разглядеть не сумеешь, как делает это Фома Петрович,— превращался непослушный конский волос в замысловатые силки...

С того и началась их дружба. Налегке шел Фома Петрович через жизнь, не обременяя свои плечи поклажей забот, оттого хорошо и просто было с ним Федьке.

И выдумщик же был Клюй на всякую забаву. Каких только премудростей не перенял от него Федька: и как жерлицы на щук ставить, и как изготовить на хоря капкан, и как обучить скворца ругаться дураком.

А то однажды на Спасовку вырезали они из молодого гарбуза подобие мертвой головы, с дырками наместо глаз, ноздрей и рта и, приладив в середину горящую восковую свечу, выставили ночью на церковной ограде. Чуть животы не понадрывали от смеха, глядя из-за забора, как шарахнулись в сторону две припозднившиеся старухи.

На другой день всему селу стало известно, что этой ночью бабка Горпина и безродная монашка — мать Секлитея, возвращаясь с поминок, будто бы видели возле церк-

ви старого Карпеко, покойного отца нынешнего пана. Сидит будто бы он верхом на ограде и жалобно стонет, каясь в своих погрешениях. Изо рта у него адский пламень пышет, а глаза, как два угля, горят. Должно быть, невмоготу стало сердечному жариться в пекле и отпросился он у сатаны в полуночный час подышать свежим воздухом на своей могилке.

С такой верой в свои слова рассказывала это старая Горпина, что даже самого Федьку наконец взяло сомнение: а может, оно и на самом деле так было?..

Клюй — тот раз десять заходил послушать бабку, уж очень по душе пришлась ему эта история.

Любил почудачить Фома Петрович...

И вот нет его уже в живых. Навек успокоила его злая немецкая пуля.

Эх, дядько Фома, дядько Фома...

...И маленькую Христю видел Федька.

За Горпининой хатой, на солнцепеке — там, где пышно, вровень с соломенной крышей, разросся пахучий куст любистика,— играют они в камушки. Скользкие, обточенные водой гальки плохо слушаются огрубелой Федькиной ладони. Христя далеко обогнала его, и ее лукавые, как у лисенка, глаза лучатся от радости.

— Детская забавка,— говорит Федька и подбивает кверху ее руку.

Камушки летят в разные стороны.

— У, бис конопатый... — взвизгивает Христя, норовя поймать хлопца за растрепавшийся чуб.

Но Федька не дается, ловко увертывается от ее цепких рук. И оттого весело и радостно им обоим...

А то еще и такое было. Стояли они с Христей под окном соседской хаты и, прижав носы к стеклу, с завистью и восхищением смотрели, как справлял по старинному обычаю свадьбу старшей дочери Иван Калиниченко.

— Знаешь что, Федько? — сказала вдруг Христя, толкнув его локтем. — Давай я за тебя замуж пойду. Пускай и для нас такую свадьбу справят. Возьмешь меня замуж?

— Отчего же не взять, — ответил Федька, подумав. — Взять можно, если бабуся тебя отдаст.

— Отдаст, — уверенно сказала Христя и, радуясь новой забаве, запрыгала на одной ноге вокруг Федьки.— Я ее раз двадцать поцелую, она и отдаст. Только ты за малиной до нас в садок больше не лазь. Бабуся этого не любит. Лучше я сама, если схочешь, малины тебе нарву...

Дома, когда сели вечерять, Федька, набравшись сме-

лости, сказал своему батьку Никите Куприяновичу.

— Тато, засылай сватов до бабушки Горпины — Христю за меня сватать.

— Тю, блаженна дытына, — всплеснула руками Федькина мать. — Городит такое, что уши вянут.

А батько положил на стол ложку и с любопытством посмотрел на Федьку.

— Что ж, дело доброе, сынку, — заговорил он как бы всерьез. — И то сказать, чем ты не жених? Да и Христя дивчина завидная — как такую упустить? Ты как, жинка, думаешь?

— Одурели вы оба,— сердито сказала мать и отвернулась к печке, не желая и в шутку слушать такие разговоры.

Батько же как ни в чем не бывало продолжал:

Значит, Федько, так и порешим. Завтра засылаем сватов до Христи, а в воскресенье и свадьбу справим... Только вот гадаю я — чем ты жинку свою кормить будешь? Теперь придется тебе самому на пропитание зарабатывать. Что заработаешь, то и ваше. Уж ты на нас не прогневайся. Раз человек ты женатый, своим хозяйством обзаводиться должен... Да ты ешь, ешь, сынку, сегодня еще напоследок с нами повечеряй.

Вот так рассудительно говорил Никита Куприянович, будто ледяной водой из проруби поливал Федьку. Когда же заголосил хлопец на всю хату, пригорнула его к своей груди родная матуся и сказала:

— Разве можно так дытыну пужать? Оно ж еще дурное совсем...

Минуло в ту пору Федьке едва восемь лет, а нареченной его невесте еще и шести не было...

...Много и по-разному вспоминалась Федьке Христя. Были эти воспоминания то легкими, изменчивыми и радостными, как вода на песчаной быстрине в солнечный день, а то вдруг обрывалось все, мерк свет перед глазами, и непомерная тяжесть ложилась на Федькино сердце, будто Охримов камень навалили ему на грудь и нет силы ни сбросить его, ни терпеть дальше.

Сам того не зная, прощался Федька со своим детством. А оно кончилось в тот страшный час на панском подворье, когда увидел он, как истязали его родного батька чубатые изверги, и не смог помочь ему, когда увидел унижение матери своей перед чужеземным офицером, когда воочию смерть рядом с собой увидел. Впереди Федьки бежала тогда маленькая Христя, но вдруг оступилась, раскинула руки и с разбегу припала лицом к земле.

И вот уже лежит Христя в Горпининой хате на столе, по самый подбородок укрытая большим белым платком. От желтого света восковой свечи нездешний покой растекается по ее детскому лицу, сделавшемуся теперь чужим и строгим. Слезы застилают глаза Федьки, и кажется ему, что с упреком глядит на людей маленькая Христя, навечно затаив в своем сердце непрощенную, невысказанную обиду.

Вот так, сквозь муку расставания с тем солнечным и ясным, чем совсем недавно была полна жизнь и что уже никогда не вернется назад, вела Федьку его память. Казалось ему, что на полынной горечи настоян застывший в предвечерней дремоте воздух, когда вспоминал он, как в погожий апрельский день пахали они с батьком свой новый участок, нарезанный им при разделе панской земли. Не работа была, а чистый праздник. Сама собой входила в тучную землю сверкающая на солнце серебром сталь лемеха. Дружно шли запряженные в новый плуг «Эльворти» норовистый Гнедко и старая Лыска, взятая в супрягу у Ивана Калиниченко. Чуть поводя острыми ушами, косили глаза на Федьку, когда он для порядка пощелкивал в воздухе кнутом. Шалый весенний ветер, играя, налетал сбоку, гудел что-то бестолковое в уши хлопцу и, вдруг охватывая его со всех сторон, словно поднимая над землей, будил в его груди стокрылую радость. Не в силах сдержать ее, оглядывался Федька на батька и видел, что и того будто подменили. По-молодому легким стал шаг у батька, и, хотя не сотрешь с лица положенные временем и нуждой морщины, весело смотрят на Федьку посветлевшие глаза.

— Но, голуби!.. — звонко, раз за разом кричал Федька, чтобы слышали его все те, кто хозяином вышел сегодня на просоленную людским потом панскую землю.

Представлялось ему тогда, что не простую борозду ведут они с батьком по своему новому полю, а прокладывают никем еще не езженную дорогу. Пусть неведомо Федьке, куда поведет она, но, раз светит навстречу солнце, раз веселит душу бескрайний простор, значит, так и нужно...

Но недалеко ушел Федька по той дороге. Нежданно тупиком обернулась она: встали поперек пути чужие в серых мундирах солдаты. Некуда от них податься, нет конца и края людскому горю.

А на вспаханной Дыниными земле колосится богатая, невиданной силы пшеница.

Не своя пшеница — панская...

— Эх! Лучше б ее градом побило, суховеем пожгло...

14

Тихо становится в поле перед заходом солнца. Замирают скрипучие кузнечики, не слышно горячего жужжания пчел, молчат жаворонки. Только проснувшаяся в густой пшенице перепелка бестолково кличет кого-то: «Пить пойдем... Пить пойдем...»

Поднимается с земли влажная прохлада, прошелестит, убегая от нее, сухой ветерок, обдаст лицо пряным запахом нагретой солнцем травы.

Врачуют человеческое сердце родные просторы. Чище становятся мысли, яснее — чувства, словно где-то в неведомом тайнике души твоей открылся родник живой воды и с каждой минутой прибывает в тебе упорства и силы.

Незаметно овладевали Федькой мечты о чудесных подвигах. Верхом на коне во главе отчаянных хлопцев врывался он в проклятую панскую усадьбу. Рубил шашкой, косил из пулемета, рвал на куски бомбою ненавистных серых солдат. Видел он униженно ползающим по земле немецкого офицера, недавно еще самодовольного в жестокости своей, а теперь ужасом объятого перед неминуемой смертью. «А кого пожалел ты, зверюга?» — спрашивал его Федька и не давал пощады ни ему, ни пану Карпеко, ни Богалею...

Так далеко уводили Федьку его мысли, что не заметил он однажды, откуда взялся рядом с ним нездешний человек. Ни шагов его, ни шелеста травы не слышал Федька. Только глянул — сидит рядом и, усмехаясь, посматривает на него из-под густых, выгоревших на солнце бровей. Будь это в иное время, может, и струсил бы Федька, но сейчас удивительно подошел всем своим видом к его мечтам незнакомец. Был он плечист, отчего мог показаться немного сутулым, с лицом обветренным, загорелым и суровым, которое чуть смягчилось усмешливым выражением рта под аккуратно подстриженными рыжеватыми усами. Суконные солдатские штаны заправлены в ладные сапоги на высоких подборках, а холщовая гимнастерка выцвела на солнце, стала совсем белой.

— Здорово, хлопче, — сказал нездешний дружелюбно. — Закурим, что ли?

— То можно, — согласился Федька, хотя и не имел никакого пристрастия к табаку.

— Мамка уши не надерет? — осведомился нездешний, доставая кожаный кисет.

— Кому?! Мне?.. — проговорил, заливаясь жаром, Федька. — Не то вы вправду подумали?..

Был он мал ростом для своих пятнадцати лет и почитал за смертельную обиду, когда принимал его кто-нибудь за пацана.

— Ишь ты, какой перец! — удивился нездешний. — И пошутковать с тобой нельзя... Меня вот мамка до самой свадьбы за чуприну таскала.

— Нет у меня матери,— сказал тихо Федька, отворачиваясь от него. — Померла мама из-за них, проклятых...

Некоторое время сидели молча. Человек не спеша потягивал цигарку, пуская дым на проворную стаю мошек, что, звеня, вились у них над головами. И Федька был благодарен за это молчание. Трудно было бы ему сейчас не выдать своих слез, которые вдруг неудержимо подступили к горлу...

А потом — слово за слово — разговорились они так, будто были давними приятелями. Все порассказал Федька своему новому знакомцу о щербиничевских делах: и про пана Карпеко, и про Богалея, и о том, как нещадно били гайдамаки его батька Никиту Куприяновича, и как порезали немцы из пулемета невинных людей на панском подворье, как померла после этого его, Федькина, мать. И про смерть Фомы Клюя рассказал Федька. И даже про старого пса Бульбачева, самого вредного человека на селе, не забыл помянуть он.

Хотя больше молчал да слушал его собеседник, казалось Федьке, что еще никто не говорил с ним так душевно, как этот неизвестно откуда взявшийся человек.

Смеркалось. Проглянули звезды. На полночной стороне неба загорелся звездный воз, упершись сверкающей оглоблей прямо в то место, где смутно угадывались поросшие густым лесом болотистые берега речки Ваги.

— Дядько, вы, часом, не оттуда? — спросил Федька, зачарованно глядя в ночную даль.

Нездешний искоса поглядел на него. Под его острым взглядом у Федьки часто забилось сердце, и он подумал, что глаза у этого человека, должно быть, видят в темноте не хуже, чем у тех полещуков-смолокуров, которые к концу лета развозят по селам деготь.

— Любопытный ты, однако, хлопче, — проговорил нездешний, лениво растягивая слова. — Смотри, смолоду волосы повылазят...

Придвинулся к Федьке ближе, тронул его за плечо.

— Слушай лучше, что скажу. Ты как, не из трусливой команды?

— А то! — сказал Федька, сразу набираясь гонора.

— И гайдамаков не боишься?

— Стану я их, подлюг, бояться!

— Вот и я так думаю, — сказал нездешний, и по голосу его Федька понял, что он усмехнулся.— Так, может, сходил бы ты завтра до пана Карпеки?

Федька недоверчиво заглянул ему в лицо.

— Шуткуете...

— Нет, брат, — какие шутки! Сам бы пошел, да времени не выберу.

— Да на что вам? — спросил, загораясь надеждой, Федька, готовый поверить, что и впрямь обертываются его мечты явью.

Но тут неизвестный человек словно потерял всякий интерес к начатому им разговору. Тихонько посвистывая, глядел на звездное небо и не то думал о чем-то своем, не то потешался над Федькой.

— Так как же, дядько?.. — не смог вынести хлопец такого молчания.

— Что — как?

— Идти завтра до Карпеки?

— Чего ж, сходи... — сказал нездешний таким тоном, будто речь шла о чем-то совсем маловажном для него.— Приятель мой там в панском доме плотничает, Лукьян Григорьевич... Так ты повидай его и скажи: кланялся, мол, Ларион и переказывал, что просватал на прошлой неделе сестру Оксану, а зару́чины[1] будут на троицу... — Он зевнул и, заложив за голову руки, потянулся так, что хрустнуло в плечах. — На сон клонит, хлопче...

Федька ожидающе смотрел на него.

— Так вы, дядько, только за этим меня и посылаете? — спросил он дрогнувшим голосом.

— А то зачем же еще?..

Федька глядел в сторону и не отвечал.

— Да ты, похоже, недотепа,— сказал вдруг нездешний и нахмурился.

— Кто?! Я?! — задохнулся от обиды Федька. — То вы меня еще не знаете!..

— Ну, то-то. Так пойдешь, значит?

Федька молчал и сопел. Нездешний снова легонько ко-

---

[1] Заручины — обручение.

снулся его плечом: видно, ему не хотелось терять Федькину дружбу.

— Пойдешь, спрашиваю?..

— Пойду, — сказал Федька.

— Смотри не забудь: на троицу заручины.

— А я сроду забывал что?..

На этом они и расстались.

— До завтра, хлопче,— сказал нездешний и поднялся.

— Дядько, а как вас по фамилии зовут? — спохватился Федька, когда тот медвежковатой развалкой двинулся в ночь, мягко, по-охотничьи, ступая заросшей межой.

— Зови хоть горшком, только в печь не совай! — послышалось из темноты.

15

Утром, нарвав ведерко пахучей, еще влажной от росы садовой земляники, вошел Федька в открытые ворота усадьбы пана Карпеки. Немецкий солдат, стороживший у входа, спросил его что-то по-своему, но, увидев ведерко, полное ягод, беспрепятственно пропустил во двор.

Нельзя сказать, чтобы у Федьки не замирало сердце, когда он шел к панскому дому, с опаской поглядывая по сторонам. У кирпичной сторожки, неподалеку от ворот, стояли заседланные кони. Четверо чубатых хлопцев, должно быть, дежурный гайдамацкий наряд, сидя на корточках, резались в очко.

Федька слышал их возбужденные голоса:

— На три сороковки.

— Мажу на остаток...

— В темную... В темную давай...

— А маку не хочешь?.. — хрипло отзывался банкомет.

Были гайдамаки так заняты своим делом, что никто даже не посмотрел на Федьку.

Возле флигеля, что с левой стороны примыкал к панскому дому, немцы собирались резать свинью,— расстилали на траве солому, жгли костер. В черном казане закипела вода. На чурбаке сидел Навуходоносор в расстегнутом мундире и, наморщив белесые брови, точил о брусок широкий, плоский, словно нож, штык.

Свинья лежала тут же со связанными ногами, такая же розовая и жирная, как и сам Навуходоносор, и тяжело похрюкивала, задыхаясь от собственного сала.

У запертых дверей каменного погреба прохаживался часовой с винтовкой в руках.

«Заарестованные там», — сообразил Федька.

Этой ночью забрали на селе еще пятерых из родичей тех, кто ушел с отрядом матроса Петра Кучеренко...

— Ты откуда тут, хлопец, взялся? — спросил лежавший в траве неподалеку от кухонного крыльца гайдамак.

— Пану Карпеке ягод принес...

— А ну! — Гайдамак заглянул в Федькино ведро, захватил горсть земляники, сказал: — На кухню отдай.

— Дядько, дозвольте плотника Лукьяна Григорьевича повидать, — попросил Федька.

— Знакомый, что ли?

— Знакомый...

Гайдамак бросил в рот несколько ягод.

— Посиди тут. Он теперь скоро покурить выйдет,— милостиво разрешил он.

Немало удивился Федька, когда, осмотревшись, увидел неподалеку псаломщикова паныча Гришку Холодковского. С тех пор, как забрали его в солдаты, ничего не было слышно о нем в Щербиничах. Думали уже люди, что бесславно сложил семинарист где-нибудь на чужбине свою непутевую голову. Года два назад помер, допившись до белой горячки, Гришкин отец — псаломщик Анисим Кузьмич Холодковский. Забыла и думать о Гришке Маруська Добежиха, сменив за это время не одного ухажера. Никто не ждал его в родных краях.

А он взял да и вернулся. И вот лежал на траве возле панского крыльца, с такой важностью опираясь на локоть, словно был здесь за самого главного начальника.

— Не признаете, Григорий Анисимович? — спросил Федька, с опаской косясь на гайдамака, который, блаженно зажмурив глаза, грелся на солнышке.

— А? — отозвался Холодковский, обратив на Федьку скучающий взгляд. — Ты чей же будешь, пацан?

— Дынин, может, знаете? Никиты Куприяновича сын...

— Так так... Припоминаю некого Дынина, — сказал Холодковский. — И за каким же делом ты, сын Никиты Куприяновича, здесь?

— Ягод пану принес, может, отдадут нашу корову, что гайдамаки из череды забрали,— сказал Федька, прикидываясь совсем простым.— Кабы вы нам допомогли, Григорий Анисимович...

— Отчего же не допомочь, — согласился, позевывая, Холодковский. — Будь благонадежен, замолвлю словечко...

Чтобы поддержать разговор, Федька вежливо спросил:

— А вы кого тут дожидаетесь, Григорий Анисимович?

Холодковский отвел от Федьки глаза и левое веко его дважды моргнуло.

— Приглашен на званый обед до его милости нашего благодетеля пана Карпеки.

Тут только разглядел Федька, что Холодковский грязен, небрит, сапоги у него просят каши, а длинный нос стал еще тоньше и прозрачней. И понял, что не зря лежит рядом с псаломщиковым панычем гайдамак при шашке и револьвере.

— А я думал, вы на самом деле, — сказал разочарованный Федька.

На панской половине было тихо. Кое-где окна еще перекрещены досками, и только ближняя к флигелю часть дома выглядела жилой. Крайнее окно было отворено. Федька увидел там немецкого офицера, который брился, поставив на подоконник складное зеркало. Показалось, что и офицер взглянул на него, — от этого что-то дрогнуло и защемило под сердцем.

Будто совсем не интересуясь тем, что делается вокруг, Федька придвинул поближе ведерко, стал выбирать оттуда попавшие вместе с ягодами травинки.

Хлопнула где-то дверь, вырвался наружу крикливый голос Богалеихи, наводившей порядки в доме, и опять стало тихо, только негромко, вперебой постукивали молотки плотников, чинивших в панских покоях окна и двери.

«А может, там никакого Лукьяна Григорьевича и в помине нет? Может, взял да посмеялся надо мной для своей забавы прохожий человек?» — пришло вдруг Федьке в голову.

Беспокойство одолевало его. Захотелось бросить все и незаметно податься домой.

Солнце припекало на совесть. Гайдамак дремал, прикрыв ладонью глаза, досадливо дергая спросонок щекой, на которую заползла маленькая, с конопляное зерно, козявка. Часового у погреба тоже разморила жара. Держа под мышкой винтовку, он медленно, по-журавлиному, переставлял ноги, обутые в короткие с широкими голенищами сапоги. Дойдет до рассохшейся бадьи, прислоненной к каменному погребищу, постоит, будто над чем раздумывая, и медленно повертывает обратно. Тень от его круглой, точно опрокинутый казанок, железной шапки ложится на глаза, и не поймешь, смотрит немец сюда или нет...

Федька отставил в сторонку ведерко и поднялся на но-

ги. В ушах стоял звон. Сделал два шага к воротам и снова сел на траву. Нет, всерьез послал его сюда человек, назвавшийся Ларионом. Федька вспомнил, как нахмурился тот и обозвал его недотепой за то, что хотел он знать больше, чем следовало.

«Эх, скорей бы шабашили плотники».

Подошла заплаканная молодица — просить, чтобы вернули ей корову. И пока она совала проснувшемуся гайдамаку завернутый в лопуховый лист пирог с гарбузом, упрашивая позволить ей дожидаться здесь Богалея, Федька немного осмелел и даже вставил в разговор свое слово:

— Дозвольте ей, дяденька,— не то жалко вам?

Гайдамак наконец взял пирог, и молодица, горестно вздохнув, села в сторонке на траву — сторожить, не появится ли управляющий.

За всем этим Федька не сразу заметил, что на крыльцо вышли два плотника. Один был уже в летах, по-городскому побритый, в железных очках, перевязанных веревочкой, и с карандашом за ухом. Другой — помоложе, вроде не мастер, а подручный,— остроносый, рябоватый и проворный, чисто удод весной на проталинке.

— Чего раззявил рот? Ступай, говорю! — грозно скомандовал гайдамак, злясь, что никак не удается протолкнуть в карман сборчатых синих шаровар крошившийся в руках гарбузный пирог.

Федька подхватился с места и заспешил к крыльцу.

— Лукьян Григорьевич! Вам дядько Ларион велели кланяться. Казали, что сестру Оксану засватали... — единым духом выговорил он, не сводя глаз с плотника постарше.

Тот поправил на переносице очки и недовольно уставился на Федьку, будто решая, надо ответить ему что-нибудь или нет.

«Пропало все», — мелькнуло в голове у Федьки, и сердце его замерло. Нежданно подал голос остроносый.

— Тю! Никак знакомый,— певуче воскликнул он и пошел навстречу Федьке.— Ну, здорово. Давно Лариона видел? — спрашивал он, здороваясь с хлопцем за руку.

— Вчера... — еле выговорил Федька, чувствуя себя в точности, как после того сна, когда, оступаясь, падал в колодезь и, не долетев до дна, проснулся в холодном поту.— Сестру на прошлой неделе засватали. А заручины, говорит, справим на троицу...

— Да ну? Так и сказал? — выпытывал остроносый, а сам

шутейно щурил при этом левый глаз, словно его разбирал смех при взгляде на Федьку.

— Так и сказал...

Лукьян Григорьевич тихонько присвистнул.

— Смотри, какой быстрый... — проговорил он, о чем-то раздумывая. — Что ж, за нами дело не станет...

— Как вы, дядько, сказали? — переспросил Федька.

— Так, что принимаю приглашение. Спасибо Лариону передай.

Плотники расположились покурить на вольном воздухе, а Лукьян Григорьевич спросил, попыхивая собачьей ножкой:

— Ну-ка, хлопец, разгадаешь загадку? Что оно такое: зубов не мает, а больно кусает?

— Пчела, — ответил Федька без запинки.

— Вот и не угадал, — усмехнулся плотник и глазами показал на гайдамака.

— Нагайка.

— Варит котелок, — похвалил его Лукьян Григорьевич. — Придется тогда тебе такую загадать: пришли немцы до бабы в сенцы, под дверями толкутся, а открыть не могут!

— Эй ты, шутник, — подал голос гайдамак. — Тут один тоже все шутковал, да отшутковался уже...

— Фу ты, боже мой! Вот строгое начальство! Не то я сам те загадки выдумывал? — горестно воскликнул Лукьян Григорьевич.— Прощения прошу, ваша синежупанная ясновельможность, когда что не так.

Тут он сострил такую дураковатую рожу, что Федька не сдержался и фыркнул, а у гайдамака пропала всякая охота связываться с ним.

Отчаянно заверещала возле флигеля свинья,— видно, Навуходоносор наконец наточил свой штык. Она то захлебывалась в крике, то взвизгивала так, что звоном отдавалось в ушах. Все повернули головы туда.

— А свинья, должно быть, Кучеренкова,— сказала молчавшая все это время молодица, и от ее слов тревога опять засосала Федькино сердце.

Оглянулся и увидел Бульбачева, сторонкой пробиравшегося к воротам от панского дома. Имел самозванный староста вид нашкодившей собаки, которая норовит незаметно прошмыгнуть в подворотню.

«Опять ходил на людей брехать»,— подумал Федька. В один голос говорило село, что заарестовали немцы ста-

рого Тараса, батька матроса Петра Кучеренко по навету продажной души Бульбачева.

Федька посмотрел на часового у погреба, и ему стало душно, как если бы это он сам сидел под замком. Плотники тоже примолкли и вскоре, поплевав на недокуренные цигарки, ушли в дом.

— Кланяйся Лариону, — сказал Федьке на прощание Лукьян Григорьевич. — И дербалызнем мы с ним на заручинах, небу станет жарко...

Вскоре в панских покоях снова застучали молотки.

Пора было и Федьке подобру-поздорову выбираться отсюда. Он с досадой поглядывал на осточертевшее ему ведерко с земляникой. Идти на панскую кухню у него не лежала душа.

Но тут неожиданно на выручку ему пришла сама Богалеиха, бомбой вылетевшая на крыльцо.

— Смотрите, опять разлегся! — завопила она, всплеснув короткими пухлыми руками, при виде сладко потягивающегося гайдамака. — Работнички, — черт вас не возьмет... Только жрать да пузо греть против солнца умеете...

— И что вы все лаетесь? — сказал гайдамак, нехотя поднимаясь на ноги. — Я же тут не то чтобы как, а при исполнении служебных обязанностей!..

— Ах, извините-подвиньтесь! Они при своих обязанностях! — медовым голосом запела Богалеиха. — А не угодно вашему высокородию помои с кухни повыносить? Вот они и будут твои обязанности!..

Гайдамак с сожалением посмотрел на умятую траву.

— Покликали б вы кого другого,— сказал он неуверенно.— У меня арестант на руках. И люди вон пана управляющего дожидаются.

— Скажи на милость! Люди дожидаются... А я, дура, и не заметила, — воскликнула Богалеиха и, отступив на шаг, круто уперла кулаки в бока. — Опять попрошайничать пришли? — напустилась она на Федьку и оробевшую молодицу. — До нитки пана обобрали и еще мало?! Гони их в шею к чертовой матери, чтоб и духу их поганого здесь не было!..

На крик Богалеихи откуда-то выскочил сердитый немецкий унтер. Молодицу так по-своему обругал, что та еле ноги унесла. У Федьки перед носом кулаком помахал, а Холодковского велел препроводить в погреб.

Напрасно старался псаломщиков паныч втолковать ему, что попал сюда по недоразумению, за отсутствием документов, которые кто-то злоумышленно вытащил у него из

кармана в дороге, и что просит он показать его самому пану Карпеке на предмет установления его личности и благонадежности. С унтером разговоры были короткие. Пришлось Холодковскому поспешно накинуть на плечи свою потрепанную шинель и проследовать в отведенное ему помещение в панском подвале.

— А я для пана Карпеки ягод принес,— сказал смиренно Федька.

— Ягод! — Богалеиха сбавила пыл. — Возьми у него ягоды, и пусть идет на все четыре стороны, — приказала она гайдамаку.

— А гроши? — спросил, озоруя, Федька, передав гайдамаку ведерко.

Тот в ответ тряхнул висевшей у него на поясе плетью, и на этом их разговор окончился.

Солнце повернуло за полдень. Солдаты уже зарезали свинью и, разделав тушу, унесли во флигель. Только Навуходоносор сидел у костра, склонясь над черным казаном и помешивая в нем деревянным уполовником.

16

К вечеру снова был Федька у Охримова камня.

Солнце садилось в тучу. Еще рдел за синим пологом остывающий край его, но уже неприветливо стало вокруг, болотным запахом потянуло из низины, и сизый туман разлился над полями.

Беспокойно было у Федьки на сердце. Томило ожидание, не терпелось поскорей увидеть вчерашнего знакомца.

Ждал почему-то, что выйдет тот, крадучись, из овражка, который начинался за бульбачевским отрубом и, ветвясь, тянулся до ближнего перелеска, казавшегося сейчас, в переменчивом сумеречном свете, непроходимой чащобой. Туда и смотрел, не отрываясь, Федька.

Даже обидно стало ему, когда увидел, что совсем с другой стороны, от проезжей дороги, идет к нему сутуловатый человек с ловкой солдатской ухваткой, на ходу сбивает веточкой пыль с сапог и нисколько не таится постороннего взгляда.

— Давно ждешь?

— Нет... Только пришел, гляжу — и вы идете... — покривил душой Федька из боязни, чтобы не посмеялся тот над его усердием.

— Был у Карпеки?

— А то как же...

— Исправный хлопец,— похвалил Федьку Ларион, присаживаясь на корточки. — Ну, что тебе Лукьян Григорьевич сказал?

— Принимаю, говорит, приглашение, спасибо передай...

Ларион не спеша прикурил от зажигалки и, прежде чем задуть ее, подержал на ветру трепещущий дымный огонек.

— На перемену погода пошла. Завтра дождя жди, — сказал он и скосил на Федьку прищуренный зоркий глаз лесовика. — А еще сказал что Лукьян Григорьевич?

— Дербалызнем, говорит, с дядькой Ларионом, аж небу станет жарко.

— То само собой. Ну, спасибо, хлопче, выручил ты меня.

— Разве мне трудно,— промолвил Федька и замолчал.

— Да ты что будто побитый сегодня? — спросил Ларион, внимательно приглядываясь к нему.

— Так... — сказал Федька.

Увидел заботу в прищуренных глазах Лариона и весь потянулся к нему, ожидая, что тот сейчас непременно скажет что-нибудь такое, о чем уже не смел он, Федька, больше и мечтать.

Но Ларион только покачал головой и поднялся на ноги.

— Надо идти, хлопче... Если спросит кто, с кем говорил, скажи — с розенбаховским объездчиком. Ну, бывай здоров...

Он ушел, и Федька долго смотрел ему вслед, не смея окликнуть и остановить...

Домой Федька пришел затемно. Батько еще не спал.

Федька с улицы увидел под черневшим в темноте старым грушевым деревом огоньки двух цигарок и услышал глуховатый голос Ивана Калиниченко.

— Не знали мы с вами того человека, Никита Куприянович. Истинно скажу вам: редкостной души был тот человек...

Он глубоко вздохнул и замолчал, и Федька понял, что разговор у них идет о Фоме Клюе.

— Бесстрашный был человек,— отозвался батько.

Федька тихо прошел в хату. Под ногами зашуршала разбросанная по глиняному полу свеженакошенная трава, — батько все же не забыл о наступающем зеленом празднике. Федька нащупал в темноте лавку и сел. С удовольствием вдохнул в себя ласковый и тревожный лесной запах, которым была полна комната. Из головы не выходило только что услышанное, и он вдруг совсем по-новому подумал о Фоме Клюе: до самой смерти потешал лю-

дей человек, но вот не стало его, и не своими причудами памятен он народу, а тем, что умер за правду.

Так взволновала эта мысль Федьку, что он долго не мог уснуть в ту ночь. Лежал с открытыми глазами на лавке под окном, слушал, как ворочается и вздыхает во сне батько, и все думал о своем. Когда же позеленело за окном небо и погасла последняя утренняя звезда, твердо знал Федька, что надо быть ему этой ночью поближе к усадьбе пана Карпеки.

17

Ночь обещала быть воробьиной. Раз за разом загорался белым пламенем край неба, и глухой гром тяжело перекатывался вдали над полями. А потом вдруг на мгновение становилось тихо, и тогда земля и придавившее ее небо выглядели одинаково черными.

Долго лежал, боясь пошевельнуться, Федька Дынин в канаве неподалеку от панской усадьбы. Перед ним за сквозной кирпичной оградой тускло желтели занавешенные окна дома. Ничто не нарушало там покоя, и только при вспышке молнии различал Федька немецкого солдата, который медленно прохаживался по ту сторону закрытых на засов ворот.

Ни праздничной песни, ни просто голосов не доносилось со стороны села. За эти страшные дни разучились в Щербиничах петь и смеяться. По вечерам не стало на улице молодого веселья, с первыми сумерками не осмеливались девчата показаться за порог хаты...

Лежал и томился ожиданием Федька. Где-то на той стороне села забрехала одинокая собака. Хрипло взвыла и смолкла. «Вов-кулак», — подумал Федька и поежился, вспомнив россказни бабки Горпины о проклятом оборотне.

И, как это обычно бывает, подсказала ему память еще более страшное.

...Стоит окаменело высыпавший из церкви народ, а дед Тарас медленно покачивается на тонкой, врезавшейся ему за ухом веревке, поворачивая то вправо, то влево перекошенное, ужасное своей неподвижностью лицо. Слабость подступает к горлу Федьки. Хочется уйти отсюда, прилечь в холодке на траву, но не может он отвести глаз от босых дедовых ног. Кажется ему, что еще немного — и дотянутся они до земли, и живой пройдет мимо него дед Тарас, а то, что было перед этим, исчезнет, забудется, как поганый сон...

Но не забывается такое. Наяву, а не во сне видел сегодня Федька, как, не отходя ни на шаг, стерегли повешенного старика часовые, будто боялись, что и мертвый скажет он односельчанам святое и страшное слово правды...

Так справило вражье отродье в Щербиничах зеленый троицын день, до ночи продержав народ в церковной ограде, на месте совершенной здесь жестокой казни. Палило нещадно солнце, подкашивались у людей колени, но даже детям не дали, ироды, глотка воды. Все добивались от общества приговора, что в срок уберут мужики в имении хлеба и своими семенами засеют пану озимые.

Молчали люди. Не помогла и слезная проповедь отца Серафима, уговаривавшего отдать богу божье, а кесарю кесарево. Не было такой силы, чтобы вырвать у народа нужное мучительное слово.

Невиданное упорство снизошло на людей, будто слышал каждый в сердце своем проникновенный голос деда Тараса:

— Держитесь, братцы!.. Умрем, а не допустим новой панщины на нашей родной земле!..

18

Начался дождь. Горохом запрыгали по широким листьям лопуха, зашелестели в кустах, застучали по пыльной земле первые тяжелые капли. А потом вдруг с порывом ветра обрушились на Федьку такие потоки воды, как если бы кто-то невидимый в черноте ночи взялся поливать его из полного ведра. Набираясь с каждым ударом новой силы, грохотал гром, и, неистовствуя, металась по небу ослепительная молния, не давая ни на мгновение сомкнуться тьме.

«Вот они — заручины, — с тоской подумал Федька ползком выбираясь из канавы, по дну которой уже бежал холодный ручей. — Люди на заручинах гуляют, а я, дурень, тут мокну».

Досада и страх охватили его.

Как живой, бился под косыми ударами дождя куст шиповника, одетый бледными, светящимися при блеске молнии цветами...

Скользя локтями и коленями по мокрой траве, припадая к земле при каждом ударе грома, Федька пополз к черневшему у опушки левады дубняку.

Здесь было чуть потише. «Пережду дождь — и до-

мой», — решил он, забираясь в кусты. И вдруг замер, увидев неподалеку от себя человека.

Белым огнем залило половину неба. Человек поманил Федьку пальцем.

— То вы, дядько Ларион, — облегченно сказал Федька.

— Ты зачем тут? — хрипло спросил Ларион, притянув хлопца вплотную к себе.

— Я вас, дядько Ларион, дожидался. Все как есть высмотрел, — заторопился он, не давая вылиться Ларионову гневу. — С вечера гулянка у пана была. Пели, на фортопьянах играли. Теперь тихо, — верно, спят. А немцы во флигеле... часовых двое: коло ворот и коло погреба — по ту сторону дома...

Крепко державшая плечо Федьки рука Лариона разжалась.

— А гайдамаки? — спросил он.

— Конный наряд в объезд экономии поехал. Остальные в сторожке...

— Что мне с тобой делать, чертов хлопец? — сказал с досадой Ларион.— Погнать тебя — все равно не уйдешь?..

— Я, дядько, с вами злодияков бить буду...

Ларион насмешливо хмыкнул.

— Вот еще герой на мою голову выискался...

Но по тому, как это было сказано, Федька понял, что можно остаться.

— Только смотри, ни на шаг от меня! Понял?

Они подобрались к дороге и залегли за бугром канавы, напротив ворот усадьбы. По-прежнему бушевал ливень, но реже слышались удары грома, и гуще стала чернота ночи...

Сверкнула молния, и Федьке показалось, будто часового за воротами нет.

— В сторожку герман ушел,— прошептал он.

Ларион больно сдавил ему локоть, давая знак помолчать.

Недалеко от них тонко и норовисто заржала лошадь, потом что-то звякнуло, и с размытой ливнем дороги донеслись тяжелые всплески.

Они припали к земле, пропуская мимо гайдамацкий разъезд.

Поравнявшись с воротами, один из верховых что-то отрывисто крикнул, и оттуда, заглушенный дождем, послышался отклик часового.

Копыта лошадей чаще зашлепали по лужам, разъезд поскакал в сторону Щербиничей.

Прорезала небо молния, и теперь Федька разглядел,

что часовой стоял у столба ворот, вплотную прижимаясь к нему, чтобы защититься от хлеставшего в лицо ливня.

— Видал? — шепнул над самым ухом Ларион.

То ли прошел так час, то ли несколько минут — трудно было бы сказать Федьке. Неподвижно лежал он рядом с Ларионом, чувствуя, как холодом облепила тело мокрая одежда и стынут в воде босые ноги. Устало сверкала молния, и тогда он видел побелевшие от ее голубого блеска решетчатые панские ворота и темную фигуру часового, неподвижно стоявшего на прежнем месте.

Не раз порывался Федька спросить своего знакомого, чего они дожидаются здесь, но тот неотрывно вглядывался во тьму, то и дело беспокойно поводя головою. Федька прислушивался к шуму и плеску воды, низвергавшейся с неба, но ничего, кроме этого, не мог услышать...

И вдруг снова показалось ему при слабом отсвете дальней молнии, что за воротами никого нет.

У Федьки перехватило дыхание, но, боясь обмануться, он ничего не сказал Лариону. Когда же еще раз озарилось небо, явственно увидел, как дрогнули и приоткрылись ворота панской усадьбы.

Почти в этот же миг перед ними по ту сторону канавы вырос человек.

— Лукьян? — спросил, поднимаясь, Ларион.

— Он самый... — ответил плотник. — Давай скорее...

Ларион приложил ко рту трубкой ладони, и унылый крик выпи раздался среди ночи.

Лукьян Григорьевич, тяжело дыша, присел на корточки.

— Дядько, — шепотом позвал его Федька. — Вы не поранены?

Плотник подался вперед, присматриваясь к Федьке.

— Тю!.. Знакомый, — сказал он дурашливо, но голос у него вздрагивал и срывался.

Он опустил руку в быстро текущую по канаве воду и сквозь зубы добавил:

— Палец чуть не перекусил, проклятый...

Пригибаясь, к ним перебегали из левады люди, пряча под намокшими свитками ружья и обрезы. Федька обрадовался, узнав среди них Мишку Кононенко, который с неделю назад ушел из села, будто бы погостить на кордоне у своего дяди, лесника.

Мишка тоже, видно, признал Федьку и присел рядом с ним на корточки, но сказать друг другу они ничего не успели, так как Ларион поднялся во весь рост, давая знак партизанам...

19

В кромешной тьме тонула панская усадьба, но начался бой, и заколыхалось, поплыло все вокруг, озаренное клубящимся багровым светом. Казалось, докрасна раскалились в пламени пожара низко бегущие грозовые тучи и кровавыми пузырями вскипают лужи под последними яростными порывами дождя. С двух концов полыхал старый флигель. Шипел и рвался на простор ненасытный огонь, с размаху вышибая в фрамугах стекла и, словно бересту, скручивая листовое железо крыши.

На всю жизнь запомнил Федька эту ночь.

Следом за Ларионом, крадучись, вошел он в приоткрытые ворота. В высокой траве хрипел, кончаясь, зарезанный часовой. Стиснув зубы, Федька заторопился пройти мимо.

— Ступай, винтовку возьми, — приказал Ларион.

Федька вернулся и поднял лежавшее рядом с солдатом тяжелое ружье с плоским, как нож, штыком.

Хозяевами среди ненастья и мрака пришли партизаны на панское подворье. Никто не остановил их, так как навсегда отдежурил свое и второй часовой, что стоял возле погреба. Однако не спешили Ларионовы хлопцы тревожить выстрелами хмельной послепраздничный сон пана Карпеки и его гостей. Кольями подперли двери флигеля и сторожки и, скрытые дождем и темью, затаились. Лукьян же Григорьевич с Мишкой Кононенко через не запертое плотниками в коридоре окошко пробрался в панские покои, где отдельно от солдат спал в кабинете Карпеки немецкий офицер.

Со звоном полетели в окна сторожки и флигеля ручные гранаты, и сразу не стало слышно за грохотом разрывов и перекатами выстрелов ни шума дождя, ни далекого грома. Метались спросонья вражеские солдаты, пробовали отстреливаться, но деревянный флигель уже занимался внутри, и было видно, как перебегают по старым, отставшим от стен обоям проворные желтые огоньки. Полуодетые, выскакивали солдаты из окон, чтобы тут же мертвыми лечь под пулями партизанских винтовок.

Примостясь рядом с Ларионом за поломанным кустом сирени, Федька тоже выстрелил, но тяжелая винтовка так отдала ему кованым прикладом в плечо, что он чуть не выпустил ее из рук.

— Дай сюда, — сказал Ларион, пряча за пазуху наган. — Учись, как люди стреляют...

Он не спеша навел винтовку на мерцавшее сквозь дым окно флигеля и, выждав, пока там обозначилась чья-то тень, выстрелил.

— Упал! Ей-богу, упал... — говорил, загораясь нетерпением, Федька. — Дядько Ларион, дайте я еще разок спробую.

Оккупанты уже почти не отвечали на выстрелы. Было похоже, что близится к концу недолгий бой, как вдруг ударил по партизанам с чердака сторожки пулемет. И сразу тяжко застонал неподалеку от Федьки кто-то из хлопцев. Залпами и в одиночку били партизны по невидимому врагу, но пулемет не смолкал и раз за разом выпускал длинные очереди, приковывая Ларионовых хлопцев к земле. Тем временем солдаты вышибли во флигеле дверь и по одному перебегали к сторожке, ища защиты за ее кирпичными стенами.

— Отходи, хлопцы! К воротам отходи! — услышал Федька чей-то испуганный голос.

— Лежать! — крикнул, свирепея, Ларион и поспешно отдал Федьке винтовку.

По-пластунски, срастаясь с землей, он пополз к сторожке.

Видел Федька, как рывком вскочил Ларион на ноги и двумя руками метнул фугасную пятифунтовку на деревянной ручке.

Качнулась земля от громоподобного взрыва, дрогнули и осели толстые стены, и кислым запахом потянуло из дымящихся развалин. В наступившей тишине вдруг стало слышно, как захлебывается в набатном крике большой колокол на щербиничевской колокольне.

20

У дверей флигеля шла последняя рукопашная схватка, когда от панского дома вдруг метнулось что-то белое и, пригибаясь, побежало вдоль забора.

— Дядька Ларион! — не своим голосом закричал Федька.

Но Ларион не слышал его. Сбив с ног толстого немца, он катался с ним по скользкой траве, стараясь скрутить ему за спину руки.

На помощь Лариону бежали его хлопцы, и не было поблизости от Федьки никого, кому бы он мог сказать об увиденном.

«Уйдет!..» — встревожился Федька и, неумело держа

перед собой винтовку, пустился наперерез человеку в белом.

Тот попробовал перемахнуть через кирпичную ограду, но сорвался, порезав, должно быть, руки о вмазанное на ее гребне битое стекло, и, как заяц, кинулся в дальний угол двора, где было потемнее.

— Стой! — крикнул Федька. — Стой, не то застрелю!

От его крика человек припустил еще быстрее, а хлопец не на шутку испугался, что потеряет его из виду.

На бегу потянул к себе затвор, но тут, как нарочно, подвернулась под ноги какая-то палка, и он с размаху упал на землю. А когда поднялся, никого впереди не было. Все оглядел вокруг Федька, взад и вперед пробежав вдоль забора, но не встретил ни души.

«Что бы оно могло быть?..» — думал он, ругая себя раззявой. До слез становилось ему погано при мысли, что подумают теперь о нем Ларион и его хлопцы...

Понурый и запыхавшийся брел назад Федька, волоча за собой винтовку, и чуть не ввалился в не замеченную при мутном свете зарева яму. Когда-то здесь, за домом, брала панская челядь песок для посыпки дорожек на цветниках, а сейчас была полна та яма с краями водой, и посредине ее, словно гриб-поганка на болоте, торчала на длинной шее чья-то лысая голова.

При виде Федьки голова нырнула под воду, пустила пузыри и снова вылезла наверх, отдуваясь и хлопая глазами.

Оторопев, смотрел на нее Федька.

— Тебе что, мальчик, надо? — сказала она, клацнув зубами.

— А я не мальчик,— угрюмо отозвался Федька. И только сейчас понял он, что перед ним в мутной воде сидел сам Карпеко.

Пан Карпеко, по-ужиному вытянув шею, рассматривал хлопца.

— Хочешь, сто рублей дам? — спросил он.

— А еще чего? — ответил Федька, набираясь злобы.

— И корову дам. Сапоги куплю...

— Вылазь из ямы, гадюка! — закричал сам не свой Федька, наставляя на Карпеку штык.

Вода в яме забурлила, но пан из нее не вылез, только отодвинулся подальше от хлопца.

— Вылазь, говорю! — закричал Федька, забегая с другой стороны.

— Не могу... Разбился я... — жалостно захныкал Карпеко.

— Вылазь, говорю... — повторил Федька, но уже не так решительно, как прежде.

Карпеко снова завозился в яме.

— Не в силах я. Помоги мне, мальчик,— всхлипнул он.

«Жидка на расправу панская порода»,— подумал Федька и присел на корточки, готовый подать ему руку. Но тут ярче вспыхнуло зарево, и он разглядел, как злобно поблескивали в нетерпеливом ожидании Карпекины глаза.

— Сатана! — прошептал Федька, отшатнувшись назад. Вскочил и громко щелкнул затвором.— Вылазь! А то убью, как собаку!..

И Карпеко послушно вылез из ямы, которая оказалась совсем неглубокой.

Смешон и страшен стоял перед Федькой пан Карпеко. Только лакированные штиблеты успел натянуть. Мокрое белье облепило его тонкие, как жерди, ноги, на которые бурдюком свисал раздутый живот. Громко стучал пан оскаленными зубами, прижимая к груди туго набитый кожаный чемоданчик.

— Маль...чик... — прохрипел он. — Озолочу...

— Иди! — приказал Федька, угрожающе сжимая обеими руками винтовку.

21

Дождь перестал.

Сносили в кучу убитых вражеских солдат. Считали оставшееся оружие. В спальне пана Карпеки старый плотник перевязывал раненых хлопцев, разрывая на бинты панские простыни.

А в Щербиничах, не смолкая, гремел набатный колокол. Шли и шли в ворота усадьбы люди и в строгом ожидании, залитые заревом пожара, останавливались напротив панского дома.

Вывели на крыльцо и поставили рядом с оседавшим на хлипкие ноги паном Карпекой немецкого офицера со связанными назади руками. Без мундира, в порванной на плече рубахе, стоял он перед народом, и все вдруг разглядели, что он слабосилен, узкогруд, что над левой бровью у него бородавка, а глаза косят и бегают, потому что нет у него смелости посмотреть в лицо людям. И многие удивлялись, как такое ледащее и никчемное могло наделать столько беды и горя...

Долго по всему дому искали управляющего. По-сучьи выла, забившись с головой в подушки, одуревшая от стра-

ха Богалеиха, и нельзя было добиться от нее ни единого слова.

Думали уже, что сбежал панский лизоблюд, но вышло по-иному. В углу за шкафом, на вешалке, нашли его. Собственными подтяжками удавился Богалей, страшась справедливого народного гнева...

С дубовых дверей погреба сбили тяжелый винтовой замок и выпустили томившихся там людей. Как из сырой могилы, один за другим выходили из тьмы подвала на простор и волю старые и молодые. Со слезами радости встречали их тут же, во дворе, близкие и односельчане.

Последним появился на свет божий Гришка Холодковский. Чужой для всех, остановился он в дверях, уныло помаргивая левым глазом на полыхавший перед ним флигель. Похоже было, не очень радовался псаломщиков паныч, что попал в эту катавасию.

— Это еще что за птица? — спросил у хлопцев Ларион, разглядывая его.

— То не птица, а целый журавель,— ответил Мишка Кононенко, узнав Холодковского.

— Здорово, Григорий Анисимович, — сказал он, подходя к семинаристу. — Какая это нелегкая занесла вас до Карпеки в подвал?

Холодковский приосанился.

— Поплатился за свои давние революционные убеждения, о которых, к несчастью моему, был осведомлен Карпеко, — многозначительно сообщил он.

— Ишь ты! — ответил Кононенко, подмигнув обступившим Холодковского хлопцам. — А нам и невдомек было. Думали, что вы больше по части зеленого змия соображаете.

— Делалось то в целях конспирации, — не смущаясь, ответил псаломщиков паныч.

Рассвело. Голубым с прозеленью стало небо над крышей панского дома. Распрямлялась прибитая дождем к земле трава, и легкий ветерок рябил лужи. Хлопцы сушились у догоравшего флигеля, перебрасываясь негромкими словами.

— Не хотел бы я так бестолково помереть на чужой земле, как эти немцы,— сказал Мишка Кононенко, задумчиво щурясь на пожарище.

— Не то мы их к себе звали? За чем шли, то и нашли,— отозвался Лукьян Григорьевич, потуже затягивая зубами лоскуток от рубахи, которым обвязал пораненный палец.

И, подмигнув Федьке, добавил: — Правильно говорю, знакомый?

Федька усмехнулся и ничего не ответил. Стоял он на виду у всех, прочно опираясь на добытую в бою немецкую винтовку, и было у него такое чувство, будто вырос он за эту ночь вровень с Мишкой Кононенко и даже с Лукьяном Григорьевичем...

— Смотри-ка!

Одно только слово промолвил Ларион при виде грязного, очень перепуганного пана Карпеки и шагавшего вслед за ним с винтовкой наперевес Федьки. Но было оно для хлопца дороже всякой похвалы, потому что звучало в нем признание его доблести.

22

Настежь распахнулись широкие ворота, и гневным рокотом толпы заполнилось панское подворье. Мелькали над головами людей в неясном предутреннем свете цепы и вилы. Поспешал, размахивая шкворнем, Федькин батько Никита Куприянович. Частыми шажками бежала старая Горпина, и никто не удивился, видя в ее слабых руках тяжелый колун. На праведный суд вел народ ненавистного куркуля Бульбачева и четырех побитых в кровь гайдамаков, перехваченных у известной всему селу самогонщицы Маруськи Добежихи.

— Люди добрые!.. Громадяне! — надрывался самозваный староста, обертываясь то в ту, то в другую сторону. — Не то я враг вам? Может, убил я кого-нибудь вот этими руками? Либо зарезал? Праведна душа моя перед господом. Напраслину терплю, люди добрые...

И каждый раз гневным шумом отзывалась толпа на его лицемерные слова.

— Идите!.. Да ну же, идите, Григорий Федорович, — убеждал Бульбачева Иван Калиниченко, подталкивая в спину выломанным из плетня колом. — Истинно сказано: была у вас когда-то правда, да всю ржа изгрызла. Остался у вас, Григорий Федорович, только ангельский голосок да чертовы думки...

А Никита Куприянович рассудительно добавил:

— Когда б душа чесноку не ела, то с чего бы ей и смердеть было?

— Батько, — окликнул отца Федька и, красуясь перед ним, вскинул винтовку на плечо.

Никита Куприянович остановился и без удивления, слов-

но оно так и должно было быть, оглядел Федькину амуницию.

— А я думал, ты в клуне без задних ног спишь, — промолвил он не без лукавства.

— А то вы меня не знаете! — сказал с достоинством Федька.

23

И вот стояли у треснувшей кирпичной стены сторожки выродки рода человеческого, по-овечьи жались в кучу, стараясь укрыться один за другого. Тяжело сопел Навуходоносор, рыская по сторонам злыми свиными глазками, не веря, что отступился от него немецкий бог. Совсем позеленел лицом офицер, часто глотал набегавшую слюну, отчего вздрагивал и ходил под кожей его острый кадык на тощей шее. Отвалилась книзу костлявая челюсть у пана Карпеки. Отупело глядел он перед собой, прижимая к груди левую руку, словно все еще чудился ему в ней туго набитый кожаный чемоданчик, который отобрали у него партизаны. Скулил, вымаливал у народа прощения самозванный староста — продажная душа Бульбачев.

— Вот погань! — сказал и отвернулся от них Мишка Кононенко. — Помереть и то не умеют...

— Как будем решать, громада? — негромко спросил Ларион, оглядев народ, столпившийся широким полукругом у сторожки.

Сразу стало тихо на широком подворье, — разве только шипели и потрескивали на пожарище головешки.

Страшное это было молчание, и никто не торопился нарушить его.

И вышла тогда из толпы старая Горпина. Уже обронила она где-то свой колун, но, видно, не замечала этого. Маленькая, высохшая вся, стояла она перед народом, глядя куда-то поверх людских голов слезящимися глазами.

— Немощна стала я, — заговорила она. — Уже который день плохо видят мои очи. Так пусть же скажет мне кто из молодых: люди там стоят под стеной или скаженные собаки?

Никто не ответил ей, и она, вздохнув, сказала:

— И вы не знаете того. Никто не знает... И бог на небе не знает...

Она замолчала, и народ тоже молчал, ожидая, что она еще скажет.

А Навуходоносор вдруг обмяк и стал хорониться за спину Карпеки.

Но Горпина не смотрела на него. Сгорбясь, закрыла лицо руками, и частая дрожь свела ее высохшие плечи.

— Христя! Внученька моя! Детка родная! — исступленным криком вырвалось у нее.

И сразу заходило ходуном, заклокотало все вокруг.

— А Фома Клюй?..

— А дед Тарас?..

— Хаты пожгли!..

— Хлеб выскребли!..

— Нагайками били!.. Над людьми измывались!..

И вместе со всеми, не помня себя от подступивших к сердцу боли и гнева, кричал, потрясая винтовкой, Федька.

Тогда, перекрывая людскую бурю, крикнул во весь голос Иван Калиниченко, ударив о землю колом:

— Смерти достойны!..

— Смерти достойны!.. — повторил за ним Федькин батько Никита Куприянович.

— Смерти!.. — от края до края прокатилось по толпе.— Смерти...

Затаив дыхание, посмотрел Федька на перекошенное яростью лицо Лариона. Скорей догадался, чем услышал он, как сказал тот, повернувшись к своим партизанам:

— Кончайте их, хлопцы.

СУДЬБА СОТНИКА ШЕСТОПАЛА

1

Случилось это в небольшом, утопающем в зелени садов старинном городке, каких немало на юго-западе Украины.

Уже, перегорев, ослабла одуряющая августовская жара. Густые тени от старых каштанов, недвижно дремавших за высоким кирпичным забором гимназического сада, переползли через булыжную мостовую, залив прохладой накаленные солнцем каменные плиты неширокого тротуара по другую сторону улицы. Осела остро пахнущая сухим кизяком пыль, поднятая разъезжавшимися с базара тяжелыми пароконными подводами, и в посвежевшем воздухе поплыли, не смешиваясь и не заглушая друг друга, ароматы резеды, маттиолы и душистого табака, самосеем взошедших на заброшенных клумбах городского сквера.

С грохотом опускались железные ставни на окнах магазинов. По старой привычке хозяева еще запирали их

на все замки, хотя на полках, кроме мелкой галантерейной дряни, давно уже не было никакого товара.

На перекрестке Киевской и Садовой улиц, который, как во всяком порядочном городе, назывался Крещатиком, прогуливались по тротуарам, взявшись под руки по двое и по трое, напудренные до синевы картофельной мукой девицы с подвитыми челками. Старались они казаться гордыми и недоступными, а потому, повстречав молодого человека, презрительно кривили губы и томно поводили глазами.

Туда и сюда шныряли мальчишки, занятые вечерней коммерцией.

— Асмол!.. Асмол!.. Кому асмол?.. — выкрикивали они в лицо встречным, продавая поштучно папиросы собственной набивки.

Откуда-то вывернулся подросток в помятой гимназической фуражке без кокарды, размахивая пачкой оранжевых тетрадок, на обложке которых ухмылялась толстогубая рожа с залихватским чубом и дымящейся папиросой в углу рта.

— «Шантрапа»... «Шантрапа»...— завопил он отчаянным голосом. — Второй номер веселого юмористического журнала «Шантрапа»... Читайте все! Объявлен конкурс на самого хитрого дурака в городе... Совет пассажирам — как проехать на собственной тяге от Жмеринки до Казатина... Дешевая распродажа воздуха в магазине Либермана и сына... Навались у кого деньги завелись!.. «Шантрапа»!.. Есть «Шантрапа»!..

Чего же удивляться, если за всем этим шумом и мелочной коммерческой суетой никому ровным счетом не было дела до высокого худого парня, что стоял, прислонясь спиной к вывеске «мужского, дамского и военного портного» Я. Л. Гальперина, на которой в три краски был намалеван одетый в визитку нахальный молодой человек, в котелке и с лихо закрученными в колечко усами. Рядом с такой роскошной личностью парень выглядел совсем незаметным, к тому же он никому не мешал, так что и на него мало кто обращал внимание. Было ему лет восемнадцать, от силы двадцать. Одет он был так, как одевалось в ту пору немало и рабочего и праздношатающегося люда: в парусиновую рубаху, подпоясанную старым солдатским ремнем, и синие штаны из крашеной мешковины. На ногах у него были деревянные сандалии, быстро входившие в моду не потому, что людям пришелся по душе их звонкий перестук, слышный за добрых полверсты, а по-

просту из-за недостачи кожевенного товара, который вывозили с Украины оккупанты.

Вот так и простоял тот парень, пожалуй, с час, изредка поплевывая сквозь зубы на растоптанный окурок.

Когда же из-за угла показался немецкий лейтенант об руку с аккуратной беленькой барышней, одетой в черную сатиновую юбку-клеш и голубую блузку с кружевными рукавчиками, он вдруг шагнул вперед и взял ее за локоток.

— Шура, ступай отсюда! — сказал он, наклоняясь к ней так, чтобы люди не слышали их разговора. — Мать велела домой идти...

— Очень нужно! — сказала барышня и попробовала высвободить локоть.

— Добром тебя прошу! — проговорил парень еще тише. — Не позорь, Шурка, семью...

— Оставьте вы все меня в покое! — сказала, краснея, барышня и виновато покосилась на своего кавалера, который, остановясь в недоумении, помахивал лакированным стеком. — Я, кажется, не маленькая!..

— Вас ист дас? — спросил лейтенант, высоко поднимая брови, и постучал стеком по руке парня.

— Не твое собачье дело! — крикнул парень и так дернул барышню к себе, что широкая юбка-клеш, как от порыва ветра, плотно облепила ее ноги.

— Пусти, дурак! — взвизгнула барышня, приседая и цепляясь за офицера.

Тот махнул стеком и ударил парня по руке.

Парень отступил на шаг и вдруг молчком так двинул лейтенанта в скулу, что тот, уронив стек, замахал руками наподобие ветряка и стал пятиться, часто перебирая ногами, пока не уперся спиной в телефонный столб. Тут он вытащил браунинг и принялся стрелять. Он выпустил всю обойму, а потом повернулся и побежал к Гоголевскому бульвару, где в гостинице «Регина» помещалась германская комендатура. Он бежал посередине мостовой, забыв о беленькой барышне, брата которой только что пристрелил, и все старался втянуть голову в плечи, будто опасался, что его догонят и ударят сзади.

2

Получасом позже сотник державной варты[1] Петро Шестопал избил немецкого солдата. Бил он его, втолкнув с улицы в открытую калитку пожарного двора, бил же-

[1] Державная варта — гетманская жандармерия.

стоко, в кровь, пока неловким ударом не осушил себе руку. Тогда свалил с ног, с размаху пинал каблуками и все не мог насытить свою ярость. Полумертвым отволокли в сторону солдата не слишком поспешавшие на выручку пожарники.

Случилось это так.

Возле застреленного на Крещатике человека повстречались два старых закадычных товарища железнодорожный телеграфист Гриша Яковенко и сотник державной варты Петро Шестопал. Повстречались и, как чужие, посмотрели в лицо один другому. Всего месяца три не виделись они, но за это время так далеко разошлись их дороги, что не нашли они в своих сердцах ни единого слова для дружеского привета. Со злобой взглянул Гриша Яковенко на Шестопала и спросил, кивнув на убитого:

— Твоя работа, Петро?.. Или твоих хозяев?..

И, не дожидаясь ответа, пошел прочь, словно в глаза плюнул своему недавнему приятелю.

А ведь на одной скамье просидели в земском ремесленном училище четыре года, вместе квартировали у старой Зуихи, — случалось, что и куском хлеба делились.

Но, видно, разная у них была судьба.

Окончив ремесленное, не поехал Гриша Яковенко в Пирятин, где служил машинистом его отец, так как не в ладах был со своей молодой мачехой. Но все же, идя по отцовским следам, поступил на железную дорогу. Сперва работал в депо слесарем, а потом сдал экзамен на телеграфиста. Мечта была у Яковенко: пока лета не ушли, подготовиться и поступить в старший класс частного технического училища де Вита, окончив которое мог получить он звание техника второго разряда.

Петро же Шестопал определился служить на крупнейшую в округе мельницу Зусьмана. И сделал так неспроста. Лет пять тому назад заарендовал Петров батько — кривой на один глаз, злой и прижимистый мужик, известный у себя на селе под именем «одноглазого черта», — у терновского пана Бергера паровой мельничный постав и крупорушку, а сына отвез в город, в ремесленное училище. Тоже своя мечта была у человека: выучить сына на механика, а тем временем скопить деньжат и выкупить у пана млынок в полное свое владение. Уже казалось ему, что видит он своим единственным глазом, как ложится перед ними, Шестопалами, — отцом и сыном — прямая дорога к достатку и беспечной жизни. Однако не все случается так, как бывает задумано людьми.

В семнадцатом году отказался Бергер продавать свою мельницу за пошатнувшиеся в цене бумажные деньги и даже арендную плату стал взимать с Шестопалов натурою. Поэтому Петро, окончив училище, не очень торопился с возвращением в Терновку. С отцовского благословения решил он подучиться мукомольному делу на зусьмановской мельнице, через вальцовые поставы которой проходила пшеница с доброй половины уезда.

По в мае восемнадцатого года дотла сгорела мельница Зусьмана. За два часа сожрал ее огонь, оставив лишь четырехэтажную кирпичную коробку, в пустых окнах которой теперь голубело небо. Не было никакой силы бороться с занявшимся ночью изнутри пожаром, так как не хуже пороха вспыхнули двадцать тысяч пудов первосортной крупчатки, приготовленной оккупантами на вывоз. Крышу со здания так рвануло, что потом за два квартала оттуда спотыкались люди о скрюченные листы обгорелого железа.

Но Петро Шестопал недолго оставался без занятия. Как-то однажды повстречался он на улице с бывшим своим учителем Игнатием Федоровичем Дубровым. Только звался теперь Игнатий Федорович уже не Дубровым, а паном Дибровой, превратившись из мало кому известного учителя истории во второго человека в городе после пана уездного старосты — в начальника державной варты. И уже пошел разговор среди обывателей, что происходит Игнатий Федорович из старого казацкого рода, что было среди его прадедов немало войсковой старшины, в том числе и два полковника, из которых один даже лишился головы за свою приверженность к гетману Мазепе. Впрочем, трудно было удивить чем-либо горожан после того, как вдруг принял пострижение бухгалтер ссудосберегательного товарищества Лука Артемович Карпов и был объявлен епископом автокефальной украинской церкви под именем владыки Вениамина...

Ученику своему Диброва обрадовался, поздоровался с ним за руку, долго расспрашивал о том, как работалось на мельнице, а потом увел к себе на квартиру и усадил за стол, достав из погреба бутыль с вишневой настойкой. До позднего вечера приятно провели они время в задушевной беседе. Снисходительно, по-отцовски наставлял Игнатий Федорович своего бывшего ученика умению жить, посмеивался над школьной наукой, которую он и сам когда-то вдалбливал в головы бестолковым хлопцам; красивыми, за сердце берущими словами говорил о седой старине, о мо-

гучей Запорожской Сечи, о былой славе гетманства, возродить которую будто бы выпало сейчас на долю вот таких сильных и смелых парубков, как Петро Шестопал...

Видно, возымела свое действие хитрая беседа и крепкая вишневая настойка, так как наутро арестовала варта двух зусьмановских кочегаров будто бы за учиненный ими поджог, а Петро Шестопал был зачислен на новую службу и в тот же день получил обмундирование и оружие.

Ко двору пришелся он Диброве. И месяца не прошло, а уже стал Петро Шестопал щеголять в офицерском френче, именоваться паном сотником.

Вот и будет теперь понятно — почему, повстречавшись с ним, не смог посчитать его за друга железнодорожный телеграфист Гриша Яковенко, не так давно отведавший немецких шомполов.

Зато Петра Шестопала всего передернуло от его слов. Ведь героем и рыцарем рисовался он самому себе, так как умел Игнатий Федорович Диброва и подлость, и грязь, и кровь, без которых не обходилась их служба, выдавать за подвиг во славу батьковщины. А есть ли правда в тех словах, — о том не хотелось задумываться Шестопалу: по душе была ему новая раздольная жизнь, и кружила голову власть над людьми, которая вдруг сама так легко далась в руки.

Наверное, будь это в иной раз, не смолчал бы он на слова Яковенко. Но сейчас лишь понурил голову и медленно пошел прочь, потому что лежало в кармане его френча письмо из Терновки от кривого Шестопала, переданное сегодня утром приезжавшим на базар соседом. Посылал батько сыну низкий поклон и извещал, что лежит больной и лечит спину и бока примочками из лопухового отвара по причине приезда в Терновку в прошедшее воскресенье карательного немецкого отряда. Отпустил ему немецкий офицер сорок палок за то, что не заплатил он пану Бергеру в срок арендной платы. Когда же, надеясь на снисхождение, доложил старый Шестопал, что сын у него большой начальник и служит в варте, велел офицер прибавить еще десять палок, чтобы в другой раз, как человек, заметный на селе, показывал он более достойный пример своим односельчанам...

Словно пьяный, шел Петро Шестопал по улице, и горящим углем жгло ему грудь сквозь тонкое сукно офицерского френча батьково письмо. А в ушах, не умолкая, звучали полные презрения слова Яковенко: «Твоя, Петро, или твоих хозяев работа?».

Тут и наткнулся он на толстого баварца, стоявшего посреди неширокого тротуара, раскуривая фарфоровую трубку, расписанную не хуже пасхального яйца. Должно быть, нравилось немецкому солдату, что, остерегаясь, обходят его люди стороною, сворачивая на мостовую. Делал он вид, что всецело занят своей трубкой, и не спешил освобождать дорогу.

«Хозяин!» — подумал, скрипнув зубами, Шестопал и пошел прямо на баварца, чувствуя, что уже не властен над своими поступками. Плечом сдвинул солдата на край тротуара, а когда тот, изумясь, попробовал выругаться по-русски, вышиб у него из рук трубку, а самого взашей втолкнул в открытую калитку пожарного двора...

3

Сидел бывший сотник державной варты Петро Шестопал в подвале под замком, и оставалось у него совсем немного времени подумать над тем, что случилось с ним.

— Дурная твоя башка! — сказал ему Игнатий Федорович Диброва и по давней своей учительской привычке, чтобы утишить раздражение, принялся протирать носовым платком стекла пенсне в золотой оправе. — На черта тебе тот баварец сдался? Пьяный ты, что ли?

— Нет, трезвый я, — сказал Шестопал и замолчал, выжидая, как повернется дальше разговор.

Не сомневался он, что найдет Диброва способ выручить его из беды.

Но Диброва тоже молчал, занятый своим делом, и только подавала голос залетевшая откуда-то в комнату большая синяя муха. С размаху билась она в закрытое окошко и гудела то басовито и зло, то все тоньше и пронзительней, пока не обрывала свою жалобу на высокой, как бабий всхлип, ноте. А потом начиналась вся эта музыка опять сначала. Как дрелью, сверлил мушиный плач голову Шестопалу. Хотелось подойти к окну и раздавить проклятую муху, будто от этого могло исправиться то, что натворил он по своей безрассудной горячности.

А Диброва все молчал. Не мог знать сотник Петро Шестопал, отчего не в своей тарелке сегодня его начальник и что за бумажка лежит перед ним на письменном столе. Была то не просто так себе бумажка, а телеграмма из Киева за подписью самого директора департамента державной варты Аккермана, и значилось в ней следующее:

«Прошу спешно предложить всем проживающим в пре-

делах вашего уезда бывшим жандармским офицерам и нижним чинам корпуса жандармов, а также чиновникам, служившим по российскому департаменту полиции, представить о себе подробные сведения для получения соответствующего назначения по департаменту державной варты».

Получив эту телеграмму, долго сидел Игнатий Федорович Диброва, подперев кулаком бритый подбородок, и скучные мысли лезли ему в голову. Впервые подумалось ему, что не очень прочно его место за этим столом и что немало предстоит ему проявить хитрости и сноровки, чтобы уберечься от какого-нибудь из тех конкурентов, о которых шла речь в телеграмме директора Аккермана.

А тут, как нарочно, приключилась эта история с Шестопалом...

Диброва протер наконец пенсне. Сощурив глаз под рыжей мохнатой бровью, посмотрел — чисто ли, и лишь тогда оседлал ими свой хрящеватый нос, раздвоенный на конце неглубокой ложбинкой.

— Раз трезвый, то сам понимаешь, что тебе будет, — сказал он раздельно и, вдруг скривясь, как если бы неожиданно хватил кислого, ударил кулаком по столу. — Ты бы о том подумал, олух царя небесного, в какое меня положение ставишь! Сбежал бы куда-нибудь раз так вышло!.. Либо, на крайний случай, сам бы себе пулю в лоб пустил...

От сказанного Дибровой холодок страшного предчувствия пробежал по спине Шестопала.

— Игнатий Федорович, а может, еще успею уйти?..

— Поздно! — крикнул Диброва. — Поздно! — повторил он и встал, отшвырнув ногой стул. — Уже два раза звонили из комендатуры. Майор Гельвиц рвет и мечет. Требует меня немедленно к себе. Грозится всю варту разоружить... Пеняй на себя, Петро. Я тебе не заступник!

Сказал так Игнатий Федорович Диброва и велел засадить своего бывшего ученика и недавнего помощника под замок в ожидании дальнейших распоряжений от начальника немецкого гарнизона майора Гельвица...

Надежным узилищем был подвал под старым каменным домом, где помещалась державная варта. Оставался он еще от сожженного в гайдаматчину иезуитского монастыря, лет полтораста назад стоявшего на этом месте. Для чего потребовалась такая поганая дыра святым братьям иезуитам, о том теперь спросить было не у кого, только был тот подвал не то что без окошка, а даже безо всякой

отдушины. Лишь грунтовая вода редкими каплями просачивалась меж камней. От этого стены его, как мхом, покрылись плесенью, а воздух был всегда такой густой и тяжелый, что человек словно захлебывался, окунаясь в него.

Не раз приводил Петро Шестопал в это гиблое место схваченных вартой людей, прежде чем передать их немецкой комендатуре или отправить в городскую тюрьму, но никогда и в голову не приходило ему, что самому доведется войти сюда таким же узником.

Впрочем, недолго предстояло ему попользоваться новой квартирой. Ждал его немецкий военно-полевой суд, который такие дела решал не дольше, чем за десять минут. После же суда незачем будет возвращаться обратно. Останется ему тогда погостить на этом свете ровным счетом столько времени, сколько требуется, чтобы дойти быстрым солдатским шагом от гостиницы «Регины» до старой каменоломни за городскими бойнями.

И, когда уразумел это Петро Шестопал, заметался он по своему последнему убежищу, натыкаясь в темноте на мокрые, осклизлые стены. Злоба душила его. Лютой ненавистью возненавидел он вдруг всех людей, а больше всего своего учителя и наставника. До последней минуты не верилось ему, что так легко откажется от него Диброва и, не задумываясь, выдаст на расправу немцам. А теперь ясно стало, что был Диброва просто хитрым старым волком, которому дороже всего на свете своя шкура. Приблизил же он к себе Шестопала, считая, что разумному человеку вовсе не к лицу делать своими руками грязную работу, а лучше завести для этого надежного помощника, хотя бы и с пустой головой, но зато с острыми молодыми зубами...

Рвал на себе Петро Шестопал сразу ставший тугим ворот френча, в яростном исступлении бил кулаками и ногами в окованную железом дверь, до хрипоты проклинал и Диброву, и гетмана Скоропадского, и немцев, и незадачливого батька своего, кривого Шестопала. Только вряд ли слышал кто-либо его голос, без всякого отзвука замиравший под глухими сводами монастырского подвала...

Обессилев, свалился Шестопал на гнилую рогожу, валявшуюся в углу, и заплакал навзрыд от предсмертной тоски, ледяными тисками сдавившей ему грудь.

И уже не оставалось у него ни сил, ни желания идти против своей неверной судьбы, когда послышались за дверью шаги караульных, пришедших за ним, чтобы вести в немецкую комендатуру.

4

А Гриша Яковенко меж тем продолжал свой путь, не подозревая, как скажутся на бывшем приятеле гневные слова, мимоходом брошенные им. Спешил он по неотложному делу в пригородную слободу Мещанку к паровозному машинисту Ивану Кравцу. Поэтому, хотя и глубоко взволновался он тогда, увидев ничком лежащего человека в парусиновой рубахе и, словно живую, струйку крови, торопливо сбегающую с тротуара на мостовую, однако не было у него времени задерживаться там.

Душными грозовыми днями начинался август 1918 года. Еще не успели затихнуть прогремевшие по всей Украине громовые раскаты народных восстаний в Тараще и на Звенигородщине, а уже снова заколебалась земля под ногами оккупантов. По призыву Центрального стачечного комитета прекратили работу двести тысяч рабочих и служащих украинских железных дорог. От Одессы до Бахмача и от Жмеринки до Конотопа замерло движение по стальным рельсам. С потушенными топками стояли паровозы. На станционных путях не стало слышно маневровых гудков. Только тяжелые шаги немецких патрулей гулко раздавались на опустевших перронах.

Уже третью неделю шла всеукраинская забастовка железнодорожников. День ото дня все больше нервничали оккупанты, да и было отчего. Накрепко застряли на станциях и полустанках эшелоны с реквизированной укранской пшеницей, приготовленной к отправке в Германию. Оборвались коммуникации меж немецкими гарнизонами. Нарушился подвоз военного снаряжения.

Застигнутое врасплох германское командование сперва попробовало пойти на хитрость. Чтобы отвести от себя удар, оно заявило, что рассматривает стачку как чисто внутреннее экономическое дело гетманского правительства и поэтому, мол, согласно не вмешиваться в нее при условии, что будет ежедневно курсировать по всем главным линиям по две пары поездов для нужд оккупационных войск. Но не поймались на эту удочку забастовавшие железнодорожники. Всем было понятно, что о много большем, чем задержка жалованья и несвоевременная выдача хлебных пайков, затеяли они спор с гетманом и оккупантами.

Тогда пошли немцы напролом, намереваясь жестокостью и силой раздавить стачку. Повсеместно на железных дорогах начались аресты, избиения и расстрелы.

В эти дни попал под немецкие шомпола и железнодорожный телеграфист Гриша Яковенко.

Произведя десятка два арестов, но так и не нащупав находившийся в подполье местный стачком, засадил начальник немецкого гарнизона майор Гельвиц в тюрьму гласного городской думы, техника из депо Юрия Николаевича Ветковского, который с самого начала забастовки широко организовал по городу общественный сбор средств в фонд помощи голодающим семьям железнодорожников. Был у Гельвица расчет, что напуганные арестами и лишенные всякой поддержки забастовщики пойдут вразброд и тогда легче будет склонить малодушных к возврату на работу.

Однако на деле вышло по-иному.

Целую роту солдат пришлось послать комендатуре, чтобы оцепить Ивангородское предместье, где по большей части проживали железнодорожники, и с помощью приказных вартовых согнать к вокзалу машинистов, кондукторов и мастеровых из депо. Уговаривать забастовщиков приехал сам майор Гельвиц, имевший большое пристрастие произносить речи на русском языке.

— Господа железнодорожники! — сказал он. — Дальнейшее ваше упорство не имеет здорового смысла. Благодаря энергичным мерам, принимаемым германскими военными властями, повсюду установлено оживленное движение. Осталась ваша очередь. Всем, кто заявит о своей желательности стать на работу, будет немедленно выдано причитаемое содержание. С богом, господа!..

Майор Гельвиц энергичным жестом руки указал на вынесенный из помещения вокзала стол, за которым уже уселся кассир участковой конторы Желткович, разложив перед собой новенькие пачки зеленых ассигнаций достоинством в пятьдесят карбованцев.

Однако никто не спешил заявить о своей благожелательности к оккупантам, и майор Гельвиц, посмотрев на часы, добавил:

— Время есть деньги, господа! Я даю на ваше размышление пять минут. Это, как я считаю, вполне достаточно.

Когда и через пять минут никто не подошел к столу, Гельвиц нахмурился и сразу перешел от слов к делу. Он отдал распоряжение офицеру, командовавшему ротой, и забастовщиков построили в две шеренги. Приказано было рассчитаться по порядку номеров и каждому десятому выйти вперед на два шага. А когда и этому не подчинились

люди, немецкий офицер сам повел счет. Гриша Яковенко стоял тридцатым, и не успел он сообразить, куда клонится дело, как его уже вытолкнули из ряда, повалили на землю, двое солдат сели ему на голову и на ноги, а двое, став по бокам на колени, принялись вперекрест стегать по спине вывинченными из винтовок шомполами.

Ни разу не застонал Яковенко, хотя в кровь искусал себе губы и встал с земли бледнее, чем выбеленное на солнце полотно. Пошатывало его. Мутилось в глазах от боли и стыда. И невдомек было его палачам, что, надругавшись над человеческим достоинством этого хлопца, закалили они в огне ненависти его душу, сделали из него стойкого солдата народного войска.

С того дня стал Гриша Яковенко самым надежным помощником Ивана Прокофьевича Кравца, председателя местного стачечного комитета.

5

Кравца Яковенко застал дома. После немецкой облавы на забастовщиков Иван Прокофьевич временно перебрался на жительство к своей сестре на Мещанку, а чтобы меньше вызывать подозрения у всякой легавой сволочи, да и не сидеть в свободное время без дела, помогал сестриному мужу — сапожнику — шить матерчатые туфли на веревочной подошве, на которые в то лето был большой спрос. Сюда, в мастерскую, под видом заказчиков и приходили расторопные хлопцы, выделенные стачкомом для связи.

— Иван Прокофьевич! Новости! — сказал Гриша Яковенко, видя, что в комнате нет никого постороннего.— Христиновские ребята с дорожным мастером на дрезине приехали, вроде как для осмотра пути, бюллетени Центростачкома привезли. До вас, Иван Прокофьевич, я их, ясное дело, не повел. Побоялся, что наглядно будет...

— То правильно сделал, — сказал Иван Кравец, рослый, с черными, уже тронутыми проседью усами человек.

Он кинул на верстак колодку с натянутой на нее заготовкой и поднялся на ноги.

— Принес бумажки?

— А как же! — ответил Яковенко.

Они прошли в примыкавший к мастерской чулан с небольшим окошком на огород. Здесь было прохладно. Пахло кожей, укропом и сушеными яблоками. Присели на застланный рядном сундук. Яковенко нагнулся и вытащил из-за голенища бумажный пакет.

— На Крещатике немецкий офицер хлопца застрелил, — рассказывал он. — Среди белого дня... Из-за чего, спрашивается. Из-за бабы...

Кравец хмуро слушал, не отвечая. Молча взял бумаги. Придвинулся поближе к окошку, собираясь приняться за чтение, но взглянул на Яковенко, покачал головой и встал с места.

— Настя! — крикнул он в дверь сестре. — Принеси-ка нам горшочек квашонки да поляницы окраец. Подзакусим, Гриша? — спросил он снова присаживаясь на сундук.

— Спасибо, Иван Прокофьевич, — проговорил Яковенко краснея. — Я снедал уже...

— Знаю я, как ты снедал, — сказал Кравец, берясь за бумаги.

Яковенко, у которого с утра не было во рту и маковой росинки, не стал больше отнекиваться, потому что не такой человек был Иван Прокофьевич, чтобы требовались с ним церемонии.

Хоть и стеснительным от природы хлопцем был Яковенко, но с Кравцом чувствовал себя очень просто, как если бы приходился тот ему, скажем, родным дядей. А ведь хмур и малоразговорчив был Иван Прокофьевич и панибратства с собой никому не позволял. На первый взгляд легко мог показаться он нелюдимым. Но товарищи по работе его не сторонились, а, наоборот, уважали за твердый характер и охотно прислушивались к тому, что он скажет, зная, что зря словами человек не бросается.

Став во главе стачкома, Иван Прокофьевич сумел повернуть дело так, что забастовщики не только не упали духом от немецких репрессий, но даже сплоченней почувствовали себя.

Конечно, в образованности Кравец много уступал Юрию Николаевичу Ветковскому. Не смог бы он и речь произнести так красиво и зажигательно, как тот. Но зато был у него трезвый рассудок, и хорошо знал он душу рабочего человека.

Оба были стоящими людьми — и Кравец и Ветковский, хотя каждый на свой образец.

Арест Ветковского очень взволновал железнодорожников. Прямой характер имел Юрий Николаевич. Не в его привычке было кривить душой, говорил он всегда то, что думал, и терпеть не мог чинопочитания. Лет двадцать прослужил он техником в депо и много неприятностей имел за это время от начальства, но из рабочих вряд ли кто мог бы сказать о нем что плохое. С простыми людьми Юрий

Николаевич был приветлив, любил помочь советом, разъяснить непонятное. Времени своего для других не жалел оттого для себя времени ему всегда не хватало. За многое брался Юрий Николаевич, и все хотелось ему сделать самому. Узнав, что мечтает Гриша Яковенко учиться, предложил бесплатно подготовить его к экзамену экстерном за техническое училище и даже учебники достал для этого...

Очень уважал Гриша Яковенко Юрия Николаевича, но почему-то неизменно робел при встречах с ним. Терял слова, нужные для разговора, — будто глупел сразу. И злился на себя, но поделать ничего не мог.

Тут вот и разберись — отчего с одними людьми у тебя так получается, а с другими иначе?..

Обо всем этом размышлял Яковенко, уписывая за обе щеки прохладную, только что из погреба, квашонку, и дружелюбно поглядывал на Ивана Прокофьевича, который, не отрываясь, от строчки до строчки прочитывал бюллетени Центростачкома.

— Так... — промолвил наконец Иван Прокофьевич и отложил бюллетени в сторону. — Значит, оккупанты к нам штрейкбрехеров из своего фатерлянда везут. И то слава богу, что у нас этой сволочи оказалось мало... Однако дела серьезные. На-ка, почитай, Гриша...

Яковенко положил ложку, вытер губы и взял из рук Кравца тоненькую желтоватую бумажку, на каких печатают накладные для железнодорожных грузов.

«...Мы вынуждены перейти во второй период стачечной борьбы, в тот период, когда на карту ставится все — или наша смерть или победа! — писал Центростачком. — Нам, железнодорожникам, голодным, терять и жалеть нечего. Для достижения поставленных нами целей и справедливых требований мы не остановимся ни перед чем. Движущиеся поезда и лица, обслуживающие их, объявлены Центростачкомом вне закона. Заявляя об этом, мы обращаемся ко всему трудовому народу, ко всем рабочим и крестьянам с предостережением — не пользоваться железнодорожным сообщением, не садиться в обреченные на смерть и крушение поезда. Для того чтобы не было случайных жертв, Центростачком распорядился настоящий бюллетень с предупреждением издать в большом количестве, распространить между всем населением и с содержанием его ознакомить все газеты... Врагом нашим является та организованная сила, по распоряжению которой делают облавы на железнодорожных тружеников, как на собак, по распоряжению которой наши братья, наши товарищи, оторванные от

своих семей, томятся по тюрьмам в ожидании военно-полевых судов. Мы призываем всех товарищей железнодорожников к бодрости, стойкости и выдержанности. Наша победа в наших руках».

— Ясно? — спросил Иван Прокофьевич, когда Яковенко дочитал бюллетень до конца.

— Ясно.

— А еще намотай себе, Гриша, на ус, что не одиноки мы перед немецкими штыками. Есть у нас верные друзья и братья, которые не забывают нас в беде. Всероссийский совет профсоюзов объявил повсеместный сбор средств для помощи нам. Вот слушай, что пишут русские товарищи: «Дело украинских рабочих есть наше кровное дело. Их победа будет нашей победой, их поражение — нашим поражением». Соображаешь, Гриша, — люди на смерть бьются со всякой белогвардейской сволочью, отстаивая советскую власть, а о нас помнят. Сами голодные, а нам свой однодневный заработок отдают. Это, хлопец, понимать надо... Это, брат, знаешь, какая сила — рабочая солидарность!.. — Кравец отечески положил руку на плечо хлопца и добавил: — Ленин о нас думает, Гриша...

Яковенко, слушавший его с часто бьющимся сердцем, не мог припомнить, чтобы видел когда-нибудь сурового и молчаливого машиниста таким взволнованным.

— Иван Прокофьевич! А знаете, что христиновские хлопцы рассказывают? — заговорил он о том, что с утра занимало его мысли. — Будто бы прибыл на станцию Унечу, за Новозыбковом, человек от самого Ленина — формировать красный советский полк из партизан, что отошли с Украины в нейтральную зону. И теперь к тому человеку народ отовсюду идет. Только принимает он в свой полк не кого зря, а с разбором. Таких, кто в бою ни на шаг не отступит и на смерть, не дрогнув, пойдет. Фамилия того человека будто бы Щорс. А называется его полк Первым революционным украинским полком имени товарища Богуна... Как вы думаете, то правда, Иван Прокофьевич?

Кравец ответил не сразу. Смотрел прямо перед собой, и в его глазах была непривычная для Яковенко теплота и мягкость.

— Слыхал я про Богунский полк, — сказал он, — и думаю, Гриша, что не россказни это, а правда. Доводилось мне этой весной встречаться с Николаем Щорсом, когда он с отрядом семеновских партизан бил оккупантов в Полесье. Железный это человек, Гриша. Такому верить можно. Настоящий большевик...

— Вот бы мне к нему, Иван Прокофьевич, — сказал Яковенко.

Кравец пытливо посмотрел на него.

— О том хорошенько поразмысли, Гриша. А пока нам с тобой задача: как про оба бюллетеня поскорее по всей линии оповестить?..

— Может, телеграфом?.. — сказал Яковенко и запнулся, так как самому слишком смелой показалась такая мысль.

Телеграфная связь на линии, несмотря на забастовку, существовала. После майского приказа гетманского министра путей сообщения Бутенко о роспуске железнодорожного профсоюза телеграфисты входили в особый союз и к стачке примкнули далеко не все. Были и меж сослуживцев Яковенко такие, которые по-прежнему исправно являлись на работу. Забастовщики относились к ним как к штрейкбрехерам, и дежурить им приходилось под охраной немецкого караула...

— А ты бы сумел это? спросил Иван Прокофьевич, не отводя от Яковенко взгляда.

И по тому, как настойчив и испытующ был этот взгляд, понял Яковенко, что думают они об одном и том же.

— Сумею, Иван Прокофьевич! — сказал он с неожиданной для самого себя уверенностью. — Головой ручаюсь...

— Смотри, хлопче! Сорвешься — и верно, головы не досчитаешься.

— Не сорвусь! — упрямо сказал Яковенко.

Оба помолчали.

— И еще для тебя дело есть, — сказал Иван Прокофьевич.

Он аккуратной стопкой сложил желтенькие листочки бюллетеней и спрятал их под холщовую торбу с сушеными яблоками.

— Слыхал, что Гельвиц Юрия Николаевича выпустил?

— Нет, — сказал Яковенко, удивляясь такому известию.

— Выпустил. Вчера вечером. А зачем выпустил, в том надо разобраться. Спроста Гельвиц такого не сделает Либо опять заигрывает с нашим братом, либо готовит новую пакость.

— То — как пить дать, — сказал Яковенко. — Эх, кабы кто свернул шею этому черту.

— Погоди, Гриша!.. — перебил его Иван Прокофьевич и приоткрыл дверь в мастерскую, к чему-то прислушиваясь.

Заскрипели, отворяясь, ворота, и во двор въехала подвода.

— Настя! То Гнат приехал? — окликнул Иван Прокофьевич сестру.

— Гнат, — ответила она.

— Добре...

Кравец закрыл дверь и снова обернулся к Яковенко:

— Так вот, Гриша, нет для нас в том расчету, чтобы сидел Юрий Николаевич в городе. Помочь делу сейчас он не сможет: сам у варты на виду. Время же подошло крутое, и таких людей, как он, поберечь надо. А то Гельвиц как бы не раздумал да снова его не прибрал. Тогда обратно не жди...

— Иван Прокофьевич! А что, если нам его на дрезине в Христиновку переправить? — спросил Яковенко.

— Не годится. Приметно будет... Ты, хлопец, меня не перебивай, это дело уже обмозговано. Сейчас пойдешь к Городскому дому и дождешься, пока кончится заседание думы. Юрий Николаевич там будет. Когда станут гласные расходиться по домам, возьмешь и проводишь его до себя на квартиру. А завтра раненько утром подъедет мой шурин Гнат и заберет Юрия Николаевича с собою в Полянецкое.

— Ясно, — сказал Яковенко. — А Юрий Николаевич о том знает?

— Знает.

— Ну, бывайте здоровы! — сказал Яковенко и, не тратя времени, направился к Городскому дому.

Называлось так обширное кирпичное здание, построенное перед войной на средства от городских доходов. Строили его отцы города лет десять, да так и не довели до ума, разворовав не одну сотню тысяч и раза в три перерасходовав смету. Дело дошло до огласки в газетах, запахло судом, но скандал затушили, так как затрагивал он не только разных дельцов, но и чиновное начальство. Так и стоял тот Городской дом, неоштукатуренный снаружи, похожий на казарму, нагоняя уныние на прохожих.

6

— Молодость!.. Легкая мысль!.. Кует железо, пока горячее! — восклицал майор Гельвиц, прогуливаясь по комнате от письменного стола к окну и обратно по одной и той же половице, обиженно поскрипывающей под его нога-

ми. — Я знаю, какая есть молодость! Я сам был молодой бурш и всегда был готовый драться на дуэль за каждого пустяка...

Чтобы не казаться официальным, он заложил руки за спину и только по привычке плотно припечатывал к полу подошвы сапог, как будто шагал перед строем.

— Я понимаю вас, молодой человек, и соболезную своя душа. Но, — продолжал он, вдруг остановясь и вскинув кверху подбородок, — закон есть закон — и очень строгий военный закон!.. — Голос его зазвучал твердо и внушительно. — Мундир зольдата германский армия — священный. Оскорбление его обмывается кровью. Пощады не полагается никому!

Выговорив это, майор Гельвиц вытащил из-за спины руки и, оборотив их кверху ладонями, развел перед собой, чтобы яснее стала бывшему сотнику державной варты Петру Шестопалу вся безнадежность положения.

Не в первый раз видел тот начальника гарнизона и даже один раз, недели две назад, разговаривал с ним, но только сейчас как следует рассмотрел его, не смея и на мгновение отвести от него глаз. Был майор Гельвиц с виду вовсе не грозен: невысок ростом, лыс до самого затылка и курнос. Губы у него были розовые и мокрые и словно бы вывернутые наружу, но это замечалось не сразу, так как прикрывали их соломенного цвета усы, не меньше как в большой палец толщиной, с накрепко закрученными кверху концами. Взглядывая на Шестопала, выкатывал Гельвиц свои мутноватые глаза с таким видом, словно хотел сказать: «Что, съел, дурак! Больше не хочешь?..»

Стоял Шестопал перед ним сбитый с толку и никак не осмеливался поверить, что Гельвиц взаправду сочувствует ему. А когда все-таки поверил, стало ему еще жальче себя и еще страшнее показалось то, что неизбежно ждало впереди. Поганое, подлое чувство безраздельно овладело им, — то самое чувство бессильной злобы, страха и самоунижения, какое, должно быть, испытывает побитый пес, норовящий не укусить, а, повизгивая, лизнуть занесенную над ним жестокую хозяйскую руку.

— Господин майор! — торопливо заговорил он, пугаясь мысли, что Гельвиц на этом закончит разговор и кликнет оставленного за дверью караульного. — Я же не нарочно... И сам не знаю, как оно вышло. Я же немцев всегда уважал... Простите ради первого раза, господин майор!..

Голос его сорвался, и он, коротко всхлипнув, замолчал.

Гельвиц ободряюще потрепал его по плечу.

— Нервы!.. Нервы!.. Надо закальивать нервы, молодой человек. Для зольдата нервы впереди всего. Не надо падать в отчаяние. Смерть от пули через расстрел совсем не страшная. Это приятная зольдатская смерть...

От такого утешения дурнота подступила к горлу Шестопала, стены комнаты позеленели и заструились перед глазами, словно он взглянул на них сквозь быстро бегущую речную волну, а майор Гельвиц стал то вытягиваться, вырастая до самого потолка, то приседать и раздаваться вширь, становясь похожим на пузатый двухведерный самовар...

Когда же очнулся Шестопал от накатившего на него затмения, сидел он посреди комнаты на стуле, заботливо подставленном ему Гельвицем, а сам майор стоял рядом и тонкой струйкой лил ему на голову воду из графина.

И снова что-то говорил Гельвиц, и хотя Шестопал из-за шума в ушах еще не разбирал его слов, радовало уже и то, что дана ему, Петру Шестопалу, пусть короткая, но все же отсрочка от смерти...

...Так и не позвал тогда Гельвиц караульного. Долгий разговор был у него с бывшим сотником державной варты. Обливаясь холодным потом, не один раз переходил Шестопал от отчаяния к надежде, а потом опять начинало казаться ему, что вот-вот сомкнется могильная земля у него над головой.

Когда же понял, наконец, что не все потеряно и может еще заработать себе жизнь, — такое ликование охватило его, что даже не подумал он о той цене, какую требовали с него за это. На все — даже спустить штаны с родного батька и всыпать ему полсотни плетей — согласился бы теперь Петро Шестопал, лишь бы только удалось еще пожить на этом свете, лишь бы мимо прошла ненароком заглянувшая ему в очи смерть...

В сумерки вышел Петро Шестопал через заднюю калитку из двора немецкой комендатуры. Мало походил он на того статного и пригожего сотника, каким был совсем недавно. Вместо офицерского френча болталась у него на плечах старая замасленная железнодорожная тужурка, и такая же форменная фуражка была надвинута на самые брови. Шумело в голове от выпитого чайного стакана французского коньяку, и при каждом шаге напоминал о себе засунутый за ремень штанов наган, заряженный всего-навсего одним патроном.

Шел, не оглядываясь, Петро Шестопал, так как знал,

что не в одиночку будет его сегодняшняя прогулка. Должно быть, чтобы не скучно было ему, провожал его, держась шагов на десять позади и засунув правую руку в карман шаровар, сам начальник державной варты Игнатий Федорович Диброва...

7

С тех пор как после прихода оккупантов был разогнан городской совдеп и исключены по предложению фракции украинских эсеров из числа гласных городской думы все большевики, почитал Юрий Николаевич Ветковский своим долгом посещать каждое думское заседание. Не то чтобы надеялся он, будто от его присутствия что-нибудь переменится там и в продажных душах вражеских прихвостней вдруг заговорит совесть, но все же казалось ему, что его нелицеприятный голос, смело раздающийся в городской думе, будет напоминать честным людям, что жива еще правда на земле, хотя и накрепко связаны у нее сейчас руки.

Ни в какой партии Юрий Николаевич не состоял. Жила в нем боязнь, что, связав себя партийной дисциплиной, утратит он независимость своих мыслей и поступков. Но сердцем был он на стороне большевиков, потому что несгибаемая была та линия, которую вели они, борясь за счастье трудового народа, и в словах и делах их не видел он ни фальши, ни своекорыстия.

Зато не мог он не презирать ту двуличную сволочь, которая всего полгода назад, выдавая себя за социалистов и выразителей чаяний украинского народа, сама привела на родную землю злейших врагов его — германских империалистов. Теперь же, после того как немцы, взяв от Центральной Рады все, что можно было взять, дали ей по шапке и вручили гетманские клейноды[1] царскому флигель-адъютанту генералу Скоропадскому, трусливо и с оглядкой пыталась играть в оппозицию к оккупационным властям.

Просидев без малого две недели в одиночной камере городской тюрьмы, вышел Юрий Николаевич на волю, хотя и пожелтевший с лица, но не только не сломленный духом, а, напротив, захваченный новыми мыслями и полный задора. Справедливо полагал он, что, поскольку не ре-

[1] Клейноды — знаки власти.

шились враги предать его военно-полевому суду, значит, испугались чего-то, а раз так, то идет к победе дело, ради которого он чуть было не поплатился жизнью. Поэтому с большой неохотой дал Юрий Николаевич согласие на временный отъезд из города, да и то не из боязни за себя, а чтобы от общения с ним не пострадал кто из забастовщиков. Все же не мог отказать себе старик в том, чтобы побывать еще разок на заседании городской думы и, как любил говорить он, «подразнить гусаков», — пусть видят все недруги, что еще живой он и остался у него еще порох в пороховнице.

Заседание в тот день началось с немалым опозданием. Уже отзвонили на пожарной каланче восемь раз и на дворе стало понемногу смеркаться, а за председательским столом по-прежнему было пусто. В узком и длинном зале, заставленном высокими скамьями с откидными, как у школьных парт, досками столов, было запущено и неприютно. Все тут — и беленые известкой стены, и непокрашенные полы, и давно немытые окна — казалось серым, запорошенным крепко въевшейся пылью. Свисавшие с потолка на длинных шнурах электрические лампы под плоскими, похожими на железные тарелки абажурами были так густо засижены мухами, будто кто-то взял и закрасил их за ненадобностью бурой краской. Впрочем, были те лампочки и на самом деле без пользы: электричества в городе не было так давно, что горожане уже и думать о нем перестали.

Гласные скучали. Иные, большей частью из людей пожилых и причастных к коммерции, усевшись по своим местам, с одинаковой солидностью вели меж собой и деловые и бездельные разговоры. Другие стояли, покуривая, у дверей или расхаживали взад-вперед вдоль полутемного коридора. В дальнем углу зала о чем-то зло и крикливо спорила фракция украинских эсеров. Кто-то кого-то обозвал дурнем, кто-то кому-то обещал дать по морде. Ленивый, заспанный бас время от времени, словно вздыхая, повторял: «Та заспокойтесь, панове». Видно, эсеровская братия по обыкновению выискивала для себя идейную платформу применительно к какой-нибудь новой подлости, которую либо уже успела, либо только собиралась совершить.

У открытого окошка собрались думские монархисты, обступив своего лидера — отставного ротмистра, дворянина и домовладельца Заболотского, который, сидя на подоконнике и не стесняясь, что его услышат на улице, со

смаком рассказывал анекдоты того самого свойства, что принято называть — «для курящих».

Когда Юрий Николаевич показался в дверях, Заболотский удивленно присвистнул и, оборвав свое занятие, сказал так, чтобы слышно было по всему залу:

— Не пойму, зачем немцы церемонятся со всякой босячней. Я на их месте развешал бы на каждом телеграфном столбе до самой Христиновки по забастовщику, сразу бы порядок был!

Юрий Николаевич, высоко держа голову, прошел на свое обычное место в третьем ряду у прохода, а Заболотский, проводив его недобрым взглядом и воинственно покрутив ус, стал рассказывать дальше своим приятелям прерванный на полуслове анекдот.

К Ветковскому подсел доктор по женским болезням Рабодзей — еще молодой, но уже со стариковскими сумками у глаз и заметной проплешиной на темени.

— Итак, почтеннейший, вы живы и даже, кажется, безо всяких изъянов? Поздравляю! Поздравляю!.. А я уже, признаться по правде, потерял надежду свидеться с вами. Коготки-то у господина Гельвица, сами знаете, остренькие...

И, легонько тронув Ветковского за колено, он рассмеялся частым, дробным смехом, точно просыпал на пол горсть гороха.

Но Юрий Николаевич не был расположен к шуткам.

— Сдается мне, что кому-кому, а вам той немецкой кошки опасаться не приходится, — ответил он, без улыбки посмотрев на Рабодзея.

— Как знать, почтеннейший, как знать, — скороговоркой сказал Рабодзей. — А что затянули вы забастовку, так это же правда, — пора бы и договориться...

Он перевел разговор на другое:

— О том слыхали, какой сегодня тут спектакль ожидается? Опять подряд на поставку нефти для электростанции будут сдавать. Заплачут городские денежки, ох, заплачут. Нам с вами, почтеннейший, от этой грязи в сторонке надо держаться.

Юрий Николаевич нахмурился, так как пришел сюда вовсе не за тем, чтобы потакать ворам и мошенникам, но Рабодзей не давал ему вымолвить и слова.

— И не говорите мне, почтеннейший, все равно не соглашусь с вами. И до нас воры были, и сейчас воруют, и помрем мы — обратно, как говорит моя кухарка Гапка, воровать будут. Спокон веку на этом земля стоит.

Так не все ли одно мне или вам, который из жуликов — толстый хам Гарковенко или пролаза Мандельбаум — запустит на этот раз пятерню в городскую кассу...

Слушать дальше такое бесстыдство Юрию Николаевичу стало невмоготу и, в сердцах отодвигаясь на самый край скамейки, он сказал, чтобы положить конец разговору:

— Цинизм ваш, молодой человек, оставьте для личного пользования. Меня переучивать поздно!..

Тут зал наконец осветился. Старый швейцар Гордей Кислица, известный всему городу своим сизым, как спелый баклажан, носом и здоровенной рыжей, от самого подбородка делившейся на два лисьих хвоста бородой, торжественно водрузил на председательский стол зажженную лампу «чудо» с прогоревшим калильным сетчатым колпачком.

Гласные, стоявшие у двери, расступились. С трудом протискивая в нее свой необъятный живот, облаченный в широченную чесучовую рубаху, в зал входил крупнейший в городе подрядчик Гарковенко. Лицо его было красно и потно. Он тяжело дышал и, будто злобясь на кого-то, собирал в складки свой низкий шишковатый лоб и медленно двигал тяжелой отвисшей челюстью.

За ним мелкой торопливой рысью вбежал в зал хозяин оптового топливного склада Мандельбаум и, чтобы не натолкнуться на своего медлительного конкурента, остановился, по-птичьи поводя по сторонам сухой, горбоносой, как у ястреба, головой.

Они уселись рядом на передней скамье, ни разу не взглянув друг на друга.

— Не договорились. Сразу видно, что не договорились, — сказал Рабодзей, не отрывая глаз от Гарковенко и Мандельбаума и силясь по выражению их лиц определить, каких событий можно ожидать сегодня.

История с поставкой нефти для городской электростанции тянулась с самого начала лета. В первый раз, пока другие коммерсанты еще только раздумывали и примерялись, подряд перехватил Гарковенко на не обидных для себя условиях. Но едва только состоялась приемка добытой им неведомо откуда нефти, как она тут же на железнодорожных путях была реквизирована немецкими военными властями, якобы для нужд оккупационной армии. По городу же пошли слухи, будто было налито той нефти в цистернах лишь до половины, то есть вдвое меньше, чем значилось в приемочном акте. Разбираться в этой

аферe, однако, никто не стал, так как не без оснований опасались люди, что причастен к ней сам начальник гарнизона майор Гельвиц...

И вот теперь все начиналось сызнова. Крепко сцепились из-за жирного куска Гарковенко и Мандельбаум, и ни тот, ни другой не хотел выпустить его из зубов. У обоих было среди гласных немало приятелей, оба не стояли за тем, чтобы подмазать кого следует, и трудно было заранее сказать, на чьей стороне будет перевес.

8

Никогда еще не чувствовал Юрий Николаевич себя таким одиноким, как сегодня. Душно было ему здесь. Звенело в ушах. Дергалась на виске какая-то непослушная жилка, предвещая жестокую головную боль. Отдыха просило измученное тюрьмой старое тело. Но не в характере Юрия Николаевича было уйти отсюда без боя. Ждал он минуты, когда, получив слово, выйдет к низенькой обшарпанной кафедре, что стоит сбоку от председательского стола, и, обернувшись к насторожившемуся залу, со всех концов которого уставятся на него злобные, издевающиеся, а то и просто сонные хари, бросит им в глаза все, что думает о них. Такие слова скажет он господам гласным, этим прожженным торгашам, хабарщикам, немецким куклам и низоблюдам, чтобы пораскрывались у них от изумления рты, чтобы страх острыми когтями подрал их по спинам.

«Не люди вы, а мусор, скопившийся на задворках истории! — крикнет он им. — В годину безвременья, когда слезами и кровью исходит народ, чем занимаетесь вы? Мародерством! Саваном с родной матери стали бы торговать, когда бы сулило это вам хотя бы щербатую копейку...»

И когда выскажет он им все, что накипело на душе, уйдет, хлопнув дверью, чтобы никогда не возвращаться в этот вертеп, где все насквозь просмердело тошнотным запахом лакейской.

К Ивану Прокофьевичу Кравцу, к настоящим людям пойдет он, за настоящим делом. Такого дела спросит он у них, которому безраздельно сможет отдать весь душевный жар и все силы, какие еще остаются в нем, чтобы больше не довелось испытать убивающего душу чувства одинокости.

Меж тем события шли своим чередом. Уже открылось

заседание думы, и секретарь скучным голосом зачитал повестку дня, предлагаемую вниманию господ гласных.

Первое слово взял сам председатель — присяжный поверенный Антон Антонович Губа.

— Долбродии, панове и господа! — сказал он, расставляя слова поодиночке так, точно выкладывал их из разных карманов. — Льстили мы сегодня себя надеждой услышать от вас веское слово о том, как выйти из мрака к свету и приобщить наш город ко благам цивилизации. Два уважаемых, всем вам известных коммерсанта, так сказать, соревновались в похвальном стремлении оказать нам эту неоценимую услугу. На данном нашем заседании предстояло нам наконец сделать свой выбор — на кого же из них возложить столь нелегкое, но почетное бремя. Однако непредвиденные и, я бы сказал, тем более приятные обстоятельства в корне переменили все.

Тут Губа сделал паузу и многозначительно оглядел зал, словно желая убедиться, насколько подготовлены сидящие в нем к тому, чтобы услышать и оценить дальнейшее.

— Сегодня имел я честь быть приглашенным к самому господину начальнику гарнизона майору Гельвицу, который в дружеской беседе со мной проявил интерес к нашим нуждам и рекомендовал нам прибегнуть к помощи недавно возникшего в нашем городе при участии германского капитала торгово-промышленного акционерного общества «Экономия». С радостью услышал я, что согласно это общество взять на себя полную заботу о нашей электрической станции, избавив нас от всяких с нею хлопот. Будет оно не только поставлять для нее по мере возможности топливо, но и наблюдать за ее работой, а также и за ее абонентами, вплоть до взимания с них платы за свет. Не скрою от вас, господа и добродии, что я так был тронут любезностью господина Гельвица, что взял на себя смелость тут же от вашего имени горячо поблагодарить его и выразить уверенность, что мои чувства целиком и полностью разделите и вы.

Сказав это, Губа посмотрел в потолок и пожевал свой язык, как бы пробуя, каков он на вкус.

— Призываю вас, господа и добродии, не открывая прений, утвердить с обществом «Экономия» арендный договор, — заключил он свою речь и грузно опустился на стул.

— Нет, вы ожидали чего-либо подобного? — шептал Юрию Николаевичу Рабодзей. — Вы только подумайте, ка-

кой аппетит у господина Гельвица! Взять и положить себе в карман целую электростанцию!.. Нефть-то пойдет в оборот та самая, гарковенковская... Вот как делают дела!

И тут, не выдержав, крикнул Юрий Николаевич по-молодому зазвеневшим от гнева голосом:

— А совесть тоже в аренду прикажете сдать, господин Губа?

Но сразу зашикали, закричали на него со всех концов зала, называя смутьяном и большевиком. С разных скамей послышались голоса, предлагавшие принять председательское предложение. Не оставалось ничего другого и Гарковенко и Мандельбауму, как сняв шапки, посторониться перед новым конкурентом...

9

Что-то бубнил себе под нос секретарь, когда подошел к Юрию Николаевичу, неслышно ступая на носки пудовых яловых сапог, швейцар Гордей Кислица и сказал, что дожидается его в коридоре какой-то железнодорожник по спешному делу.

Юрий Николаевич устало поднялся на ноги. «Верно, за мною от Кравца»,— подумал он.

В коридоре было темновато. Лишь в дальнем конце горела пятилинейная лампочка. Но все же Юрий Николаевич сразу заметил, что лицо железнодорожника ему незнакомо.

— Сказать мне что-нибудь имеете? — спросил Ветковский, присматриваясь к нему с вдруг пробудившейся тревогой.

— Особо важный разговор. Давайте отойдем от дверей, — сказал железнодорожник и посторонился, пропуская Ветковского вперед.

Не успел Юрий Николаевич сделать и трех шагов, как грянул ему в спину выстрел, гулким эхом прокатясь из конца в конец пустого коридора...

Прервалось заседание думы. Со страху дунул в стекло и погасил лампу Антон Антонович Губа. Повскакивали с мест гласные. Кто-то споткнулся и упал поперек прохода. В кромешной тьме на него падали другие. Лезли под столы и, как мыши, затаясь там, ожидали, что будет дальше...

Меж тем человек в железнодорожной форме, чей выстрел так безжалостно оборвал жизнь старого правдолюба, со всех ног бежал прочь, спеша скрыться, пока никто

не опознал его. Он был уже в самом конце коридора, где копотно горела на окне пятилинейная лампочка, когда навстречу ему попался Яковенко, в тревоге за Юрия Николаевича спешивший на выстрел. Человек низко нагнул голову, пробегая мимо, но, должно быть, хорошо было знакомо его лицо Грише Яковенко, так как, в изумлении остановясь, крикнул тот:

— Петро! Куда бежишь? Погоди, Петро!..

Шестопал, не задерживаясь, свернул направо и выскочил через открытую дверь на лестничную площадку, откуда два узких пролета вели к черному выходу во двор. Жизнь и свобода ждали его там, потому что сполна, как и было условлено с майором Гельвицем, заплатил он за них чужою кровью...

10

Через два дня после этого были напечатаны в местной газетке «Слово» на разных полосах подслеповатого листа три заметки.

Первая называлась «Прискорбный случай», и было в ней написано следующее:

«6 августа во время заседания городской думы был убит выстрелом из револьвера гласный думы Юрий Николаевич Ветковский. Стрелявший, фамилию которого установить не удалось, скрылся. Как сообщил нашему сотруднику начальник державной варты пан Диброва, следственным властям стало известно, что убийство совершено одним из железнодорожных служащих, который, не выдержав голода и жестоких насилий, чинимых большевиками из местного стачкома, принуждающими железнодорожников к продолжению бессмысленной и преступной забастовки, решил положить этому конец, убив одного из главных большевистских агитаторов, каковым являлся покойный Ветковский. Пан Диброва добавил к сказанному, что при создавшемся остром положении и том озлоблении, которое царит среди рядовых забастовщиков против стачкома, державной варте и оккупационным военным властям будет чрезвычайно трудно предотвратить повторение подобных эксцессов в дальнейшем».

Вторая заметка была напечатана под рубрикой «Из зала заседаний городской думы».

«По предложению группы гласных-домовладельцев, внесенному господином Заболотским, дума приняла решение: для укрепления законности и порядка ассигновать из

средств города сто пятьдесят карбованцев на сооружение в тюремном дворе постоянной виселицы».

И, наконец, в отделе происшествий сообщалось:

«В ночь на 8 августа был совершен налет на помещение станционного телеграфа. Связав караульного солдата, шайка злоумышленников проникла в служебное помещение, но, испугавшись приближения патруля, бежала, не успев довести до конца преступный замысел».

Брехливый язык был у газетки «Слово», и умела она о любом случае рассказать так, как это было угодно оккупационным властям. На самом же деле вот что произошло в ночь на 8 августа в служебном помещении железнодорожного телеграфа.

Гриша Яковенко вдвоем с таким же, как сам, отчаянным хлопцем — деповским слесарем Сашкой Петровым — скрутили зазевавшегося караульного и, заткнув ему рот его же фуражкой, затащили в помещение телеграфа. Дежурил там в ту ночь пожилой семейный телеграфист Макар Семенович Гончар, обучавший в свое время Гришу Яковенко азбуке Морзе. Он уж, конечно, сопротивляться не стал, только потихоньку подал знак хлопцам, чтобы на всякий случай связали ему за спиной руки. Поставив Петрова сторожить у дверей, сел Гриша Яковенко за аппарат и в четверть часа отстукал по линии оба бюллетеня Центростачкома, а также особое сообщение об убийстве Ветковского, составленное местным стачечным комитетом:

«Товарищи, не верьте лживой полицейской версии, напечатанной в газетах. Едины духом забастовщики нашего участка и полны решимости до конца продолжать борьбу. Наш товарищ Юрий Николаевич Ветковский пал от руки провокатора — сотника державной варты Петра Шестопала, который для совершения своего злодеяния переоделся в одежду железнодорожного труженика. Личность его установлена бесспорными показаниями свидетелей, которыми располагает наш стачком. Не поддавайтесь, товарищи, на гнусную провокацию врагов».

Окончив выстукивать эту депешу, минуту помедлил Яковенко и добавил уже от себя: «Запомни, товарищ, проклятое имя убийцы и предателя трудящегося народа: Петро Шестопал, Петро Шестопал, Петро Шестопал. Где бы ни повстречался он тебе, уничтожь его, как скаженную собаку».

11

К рассвету были Гриша Яковенко и Сашка Петров уже верст за десять от города, в селе Полянецком, в хате у Кравцова шурина Гната Пустовойтенко.

— Поживите пока у меня, хлопцы, а там видно будет,— говорил им хозяин, радушно устраивая их на сеновале.

— Нет, дядько Гнат,— отозвался на это Гриша Яковенко.— Не останусь я у вас. Санька, тот как хочет, а я не останусь...

— Куда же ты пойдешь, хлопче? — удивился Гнат. — В город тебе сейчас и носа показать нельзя.

— Все я обдумал, дядьку Гнат, — горячо сказал Яковенко. — На советскую сторону, до Щорса пробираться буду. Оттуда и ждите меня с Красной Армией. И Ивану Прокофьевичу, когда свидитесь с ним, скажите об этом...

КВИТАНЦИЯ

1

В Полянецкое фуражиры приехали на рассвете, когда их совсем не ждали.

Еще были окутаны пеленой голубого тумана левады у заросшего осокой пруда при въезде в село. Не шумела вода у замшелых створов старой мельницы. Молчали лягушки, вдосталь накричавшись за ночь в предчувствии сухого, погожего дня. Покой и тишина были разлиты в природе, словно все живое притихло в радостном ожидании восхода солнца.

Село просыпалось. Стучали у колодца ведрами бабы. Суетливо бежали овцы, подгоняемые босоногими подпасками. Пастух яростно колотил палкой корову, норовившую повернуть обратно во двор. Все чаще слышались то там, то здесь гулкие удары цепов.

Воздух был прозрачен и свеж, с едва уловимым запахом мяты и дыма...

Фуражиров увидели, когда они, выехав из-за дубовой рощи, рысью спускались с пологого пригорка к левадам.

Копыта лошадей поднимали улежавшуюся за ночь пыль. Она клубилась и стлалась над дорогой плотным белесым облаком, и издали казалось, что всадники плывут, погруженные в быстро текущую реку.

Так пришла беда, о которой знали в Полянецком и все же не верили, что она придет.

...Реквизиция проводилась с привычной жестокостью. Офицер, командовавший отрядом, арестовал двадцать крестьян — по одному от каждого десятка дворов — и объявил, что, если к двенадцати часам не будет сдано пять тысяч пудов пшеницы, заложники будут расстреляны, а деревня сожжена.

Мужики, подталкиваемые прикладами, грузили на возы мешки с розоватой, недавно обмолоченной пшеницей, украдкой матерились и со злостью стегали лошадей, выезжая на просторную, обсаженную тополями площадь перед церковью.

Растрепанная старуха с непокрытой головой бежала следом за возом, груженным мешками, на котором восседал с сигарой в зубах краснолицый унтер. В мягких лучах раннего августовского солнца щетина на его лице казалась почти золотой. Баба отчаянно размахивала руками и голосисто, с причитаниями, призывала на голову гетмана и оккупантов все болячки, какие только существуют на свете.

Унтер тоже злился, грозил кулаком, но это не действовало, и тогда он неторопливо, словно выполняя наскучившую обязанность, вынимал изо рта сигару и плевал, норовя попасть старухе в лицо...

На площади крестьянам выдавали квитанции с непонятными немецкими буквами. Переводчик, чудно, не по-нашему выговаривая слова, объяснял, что германская армия любит закон и порядок, даром ничего не берет и каждый, у кого есть квитанция, имеет право получить сполна за реквизированную пшеницу по десяти пфеннигов за пуд.

Было немного за полдень, когда длинная вереница возов, конвоируемая всадниками в островерхих с медными орлами касках, потянулась в город...

2

На другой день Иван Коломийченко не поехал в поле, хотя была самая пора косить гречку. Надел новые сапоги, жирно смазанные дегтем, бережно спрятал в карман завернутую в розовую тряпицу квитанцию, а удивленной жене сказал тоном, не допускающим возражений.

— Поеду в город за деньгами...

— Далеко собрались, сосед? — окликнул Ивана Коломийченко стоявший в своем дворе у плетня Гнат Пустовойтенко, когда подвода выезжала из ворот.

— Да в город надо съездить. Должок получить, — неохотно отозвался Коломийченко, которому почему-то не хотелось, чтобы сосед знал, куда и зачем он едет.

— Не за ту ли пшеничку, что герман вчера забрал? — спросил, усмехаясь, Пустовойтенко.

— А хотя б и за нее. С паршивой собаки хоть шерсти клок...

— Бросьте, сосед, — пустое дело. Сидели бы лучше дома. Герман — он только чужое брать мастер. А чтобы давать, того что-то не видно.

— Ну, это дело верное. Должно быть, и вы слышали, как переводчик разъяснял.

— Слова — что полова, — сказал Пустовойтенко. — Смотрите, сосед, чтобы заместо денег не попотчевали вас тем гостинцем, каким ворота подпирают...

Коломийченко ничего не ответил и, сердито дернув вожжами, выехал на середину улицы.

Дорога была ровная, хорошо укатанная, и лошади бежали дружной рысью. Но Коломийченко казалось, что гнедая Мушка ленится, и его кнут то и дело опускался на ее подрагивающую спину, оставляя на ней темные полосы.

Разговор с Пустовойтенко породил у него в душе смутную тревогу, не оставлявшую его до самого города. Один раз он даже попридержал лошадей, решая повернуть обратно, но мысль о деньгах заставила снова продолжать путь.

«Хоть они — и фениги, а на дороге не валяются, — размышлял он. — За пятьдесят пудов пшенички немало, должно быть, их выйдет...»

Потом он подумал о том, что давно уже надо купить новую шлею и перетянуть шину на заднем колесе. «За одним разом и управлюсь... А Пустовойтенко — что же, он человек неосновательный. Хозяйство у самого маломощное, а в чужие дела встревает. Недавно вот вздумал муку для голодающих железнодорожников собирать. Забастовка у них там против немца, что ли. Нам-то до этого какое дело? Они же сеять нам не пособляли... А все ж таки, смотри, уговорил людей: кто полпуда, а кто и по пуду дал, — мешков десять по селу насбиралось. Отвез... Чудак человек. Разве весь свет подаянием накормишь? Самого с кишками сожрут...

Так размышляя, въехал Иван Коломийченко в город, окончательно утвердясь в сознании своего превосходства над соседом.

3

Оставив лошадей у знакомого шорника и расспросив, где помещается немецкое начальство, направился к комендатуре.

Серое здание гостиницы «Регины» нарядно поблескивало зеркальными свежевымытыми окнами. Тротуар возле был чисто подметен, а через каменные перила балкона недоверчиво смотрел на пустынный бульвар тупорылый пулемет.

У двери с надписью на двух языках — «Комендатура» — неподвижно стоял часовой. Солнце переливалось на широком штыке его винтовки.

Коломийченко присел невдалеке на тумбу и не спеша свернул цигарку. Вынул желтенькую квитанцию, и от непривычных, будто колючих букв, и от ярко блестевшего возле дверей комендатуры штыка часового стало как-то нудно и нехорошо, и по телу растеклась неприятная слабость. «Может, вернуться?»

Затоптал цигарку и медленно направился к двери.

Часовой взял на изготовку.

— Хальт! [1]

Чужое, непонятное слово прозвучало отрывисто и резко, как удар кнута.

Коломийченко протянул квитанцию.

Часовой мельком взглянул на желтенькую бумажку и опять резко и коротко сказал:

— Форт! [2]

Коломийченко был в нерешительности.

— Мени до пана коменданта...

— Форт! — снова повторил немец.

Коломийченко не понимал.

— Мени повынни гроши [3]... — сказал он, боком подвигаясь к двери.

Часовой толкнул его прикладом в грудь.

Охнув, Коломийченко ухватился за приклад винтовки...

4

За город шли по мостовой. Впереди с лопатой в руках Коломийченко, а позади с карабинами четверо в серых мундирах.

[1] Стой!
[2] Прочь!
[3] Мне должны деньги.

Для Коломийченко сегодня все было непонятным. Был непонятен сердитый часовой у двери комендатуры и его сверкавший на солнце штык. Был непонятен сухой, гладко выбритый офицер, брезгливо рассматривавший Коломийченко такими ясными голубыми глазами, что от них хотелось закрыться, как от холода. И еще непонятнее были нелепые, страшные слова переводчика:

— ...Августа месяца тысяча девятьсот восемнадцатого года германским военно-полевым судом господин Коломийченко за попытку отнять с злоумышленной целью у часового оружие приговаривается к смертной казни через расстрел. Приговор надлежит привести в исполнение немедленно...

Было непонятно, почему он, Коломийченко,— господин и почему он сейчас будет расстрелян. Было непонятно, почему офицер небрежно бросил на стол измятую квитанцию и сказал по-своему что-то такое, от чего криво заулыбался стоявший навытяжку переводчик.

Болела грудь, и к горлу подступала тягучая тошнота. Мелькала мысль, что, пока не поздно, надо все объяснить, и тогда его наверно отпустят домой. Сказать, что он пришел только за деньгами, а за винтовку ухватился и сам не знает как,— должно быть, чтобы не оступиться с каменной ступеньки у дверей, когда часовой вдруг ударил его прикладом...

Но были непонятны чужие сердитые слова. Казалось, какая-то бездушная сила страшной тяжестью надвинулась на него, и нет человека, которому он мог бы растолковать, что ни в чем не виноват...

Коломийченко вдруг вспомнил о лошадях. С тревогой подумал: «Догадается ли шорник Лейба засыпать им овса?.. Да и напоить бы уже следовало... Не должен забыть Лейба... Человек хоть и городской, но в хозяйстве понимает...»

Эти мысли о привычном и близком на мгновение как будто успокоили Коломийченко, и то, что должно было произойти с ним сейчас, показалось настолько невозможным и неправдоподобным, что он даже замедлил шаг, намереваясь заговорить со своими конвоирами. Но грубый толчок в спину чуть не сбил его с ног.

И от нахлынувших с новой силой ужаса, обиды и боли сразу как бы прояснилось в голове у Коломийченко. Понял он, что не на что уже надеяться ему. Холодея в смертной истоме, он, казалось, единым взглядом окинул всю свою жизнь, которая вдруг так нежданно подошла к по-

следнему краю, и увидел, что прожил ее не так, как следовало. Весь век отсиживался в своем углу, сторонясь соседей. Мерил всех на свой аршин, не доверял никому, даже своей до времени состарившейся Палахе, мечтал скопить денег, выйти на отруб, прикупить землицы. А деньги будто сквозь пальцы уходили, никогда их не было в хате столько, чтоб хоть на шаг приблизился он к заветной цели.

А теперь и всему конец...

По-глупому жил — по-глупому и помереть придется. На что польстился? К кому пошел? Поверил, что заплатят ему оккупанты за ту пшеничку, что, словно грабители, угрозами да силой выгребли у него из каморы... Эх, хотя бы одного супостата своими руками придушил, и то легче было бы.

В отчаянии захотелось Коломийченко крикнуть изо всей мочи, чтобы хоть напоследок услышали его голос люди:

«Бейте проклятых насильников! Истребляйте под корень всех, кто как враг пришел на нашу родную землю!..»

Но были они уже за городом, и ни одной души не было видно на пустыре вокруг.

И тогда, осознав свое одиночество и бессилие, заплакал Иван Коломийченко страшными, скупыми, обжигающими душу слезами.

...Лопата не слушалась рук, и жирные комья земли сыпались обратно в яму.

5

Ефрейтор Франц Мейер и унтер-офицер Отто Куртиш считались лучшими стрелками взвода. И хотя были они приятелями, погоня за первенством не давала им покоя, являясь причиной постоянных ссор. В такие минуты толстый Мейер становился багровым, сердито пыхтел своей фарфоровой трубкой и, крепко ухватив за рукав подвернувшегося собеседника, старался доказать, что он и только он один умеет стрелять по-настоящему. А Куртиш стоял тут же, ехидно улыбался и цедил сквозь зубы два слова:

— Толстый боров...

Коломийченко, сам того не подозревая, должен был разрешить их очередной спор. Стрельба была снайперской — на быстроту.

Когда яма достигла аршинной глубины и Коломийченко выпрямился, чтобы отереть взмокший лоб, раздались одновременно два выстрела.

Коломийченко дернулся вперед, словно собираясь подхватить выпавшую из рук лопату. Колени подогнулись, и он грузно повалился на дно ямы.

Мейер и Куртиш стреляли одинаково хорошо...

ФУРАЖКА

1

Офицер нервничал. Скулы его, обтянутые сухой, нездоровой кожей, порозовели.

Проклятая бестолковщина!.. В десятый раз он спрашивал:

— Куда же, черт их побери, девались жители хутора?

Немногие русские слова мешал с немецкими. А когда их не хватало, морщился, как от зубной боли, и раздраженно тыкал перед собой длинным, костлявым пальцем.

У мальчишки остренькое личико было густо забрызгано веснушками. Он подергивал носом и, тихонько подвывая, тянул жалобно и надоедливо, как заученное:

— А я знаю-у-у?!

Мял в руках старую солдатскую фуражку с поломанным козырьком, должно быть, отцовскую.

Обыкновенный сопливый мальчишка... Надрать уши и отпустить?..

Может, он действительно ничего не знает? Попробуй разберись!..

День набухал тяжелым зноем. Воротник мундира намок, и потная шея чесалась.

Хотелось уйти в тень, лечь в густую прохладную траву, вытянуться и ни о чем не думать...

Близоруко щурясь, офицер посмотрел вдоль улицы. Солнце било в глаза. Темная зелень высоких черешен была неподвижна, будто нарисованная на неправдоподобно чистой голубизне чужого, слишком спокойного неба. Словно фарфоровым колпаком прикрыли раскаленную землю, и скоро нечем будет дышать...

За гладкими скатами соломенных крыш залегла тишина, и, казалось, ничто не в силах нарушить ее...

А тут, на солнцепеке, чуть слышно звенит горячий воздух. Вероятно, пчелы вьются возле подсолнечников за тем вон плетнем... Или это звенит в ушах?

Нехорошо, когда много солнца, пустая улица и тихо.. Лучше, если бы где-нибудь залаяла собака.

Солдаты угрюмо молчали.

Офицер поморщился: «Что за дрянное дело!.. Вчера здесь под носом у гарнизона убили двоих фуражиров. Согласно донесению,— была засада. А может, и сами зарвались?.. Мы-то ведь знаем, какие дела творятся у них в интендантстве...»

В приказе сказано: расследование произвести на месте, жителей примерно наказать... Кроме того — дополнительная реквизиция. Что ж, для лейтенанта ландвера это, несомненно, почетное поручение...

Он ясно представил себе начальника гарнизона майора фон Берга, его одутловатое лицо, брезгливое выражение губ.

— Возможно, эта задача трудна для вас, лейтенант? Ведь вы по профессии...

— Педагог, господин майор.

— Да, совершенно верно, пе-да-гог...

...Но он же сделал все возможное. Полурота на рассвете оцепила хутор со всех сторон. Ручей перешли вброд, пониже плотины, чтобы не было видно с дороги.

Напрасно старались. Хутор оказался пустым — ни людей, ни скота...

...Произвести расследование.

На огороде у крайней хаты, в высокой кукурузе, поймали мальчишку лет десяти. Перепачкан в пыли. Испуганно глядя на офицера, часто моргал светлыми ресницами.

— Шпион?..

Молчит.

— Антворт!.. [1]

Мотает головой, улыбается...

Ударил мальчишку по щеке.

Мальчишка задергался, захныкал.

Сзади кто-то сказал тихо, но вполне отчетливо:

— Господин лейтенант — молодчина у нас сегодня...

И в ответ чей-то приглушенный смешок.

Что такое?.. Кто это сказал?.. Кто позволил себе сказать?

От касок на лица солдат однообразными пятнами ложатся тени. Люди кажутся неприятно похожими друг на друга.

Одни отводят глаза. Другие с любопытством смотрят в упор: что же будем делать дальше, господин лейтенант?

Даже не находят нужным скрывать злорадство...

---

[1] Отвечай!

«Хотел бы я знать, как бы поступил на моем месте майор фон Берг?..»

Какие наглые глаза у ефрейтора Пельга. Он?..

— Пельг!..

— Здесь, господин лейтенант, — говорит Пельг и четко делает шаг вперед.

«Спокойствие, несомненно, наигранное».

— Имейте в виду, Пельг, разговор на этот раз будет весьма серьезный!..

Хотя бы потупил глаза. Смотрит с самым исполнительным видом.

Нет, надо не так... Надо коротко и твердо, чтобы он сразу почувствовал, с кем имеет дело.

Как нехорошо стучит сердце... Необходимо взять себя в руки.

— Вот что, Пельг, я не намерен шутить...

Но почему они так странно смотрят. Смотрят и ждут... И у всех одинаковые наглые глаза...

— Я хотел спросить вас... Вернее, я хотел сказать вам... Возьмите людей, Пельг, и еще раз осмотрите поселок со стороны пустоши.

— Слушаюсь, господин лейтенант!

Что за ерунда!.. Он же вовсе не это хотел сказать.

— Обождите, Пельг!..

Проклятое сердце... Снова начались перебои...

— Впрочем, ступайте. Будьте внимательны. Обстановка не внушает доверия...

Скомканным платком лейтенант отирает пот на впалых висках.

Но он же не испугался? Просто сделал вид, что не заметил вздорной выходки. Не время осложнять обстановку...

Главное, чтобы успокоилось сердце... Уйти в тень и не волноваться...

— Функ! Присмотрите за мальчишкой, он, несомненно, лазутчик...

2

В хате был беспорядок поспешного бегства. Опрокинутая набок скамья с обломанной ножкой загораживала вход. Деревянная дедовская кровать выдвинута на средину комнаты. Должно быть, хозяева хотели брать и раздумали. Тяжела...

Пельг с любопытством осмотрел ее, ощупал.

— Да это настоящая музейная редкость! Смотри, даже дерево изъели черви.

— Не черви, а такой маленький жучок — шашель. Ночью, когда все спят, слышно, как он работает...

— Э, Август, ты, оказывается, знаток в антикварных вещах. Нет ли у тебя на твоей загородной вилле такого же саркофага?..

Печь без заслонки зияла черной дырой, холодной, как погреб. На припечке — разбитый горшок. Воняет прокисшей капустой. Под ногами солома, тряпье, какие-то склянки. Откуда всегда такое берется?..

От печи к порогу на земляном полу — желтая дорожка зерна: когда тащили, лопнул мешок.

И в ярком просвете брошенной настежь двери паук уже протянул серебристые нити...

Августу было не по себе в этом покинутом доме.

— Пойдем, Пельг, нам нечего здесь делать...

— Ты плохой солдат, Август. Разве господин лейтенант не приказал искать тщательно?

— Хотел бы я знать, какого дьявола здесь можно найти?..

— Неприятеля, Август. Наверно, где-нибудь притаился злой неприятель...

— Глупые шутки, Пельг.

Теперь Пельга заинтересовали фотографии, развешанные в простенке между окон.

— Да посмотри же, Август, сюда, здесь целая фамильная галерея. А ты еще спрашиваешь, где неприятель... Вот он, и даже при полном вооружении.

С обнаженной шашкой в руке красовался на фотографии усатый русский солдат. Новая, еще необмятая фуражка с овальной кокардой лихо сдвинута набекрень. Он стоит, словно на параде, задрав подбородок и развернув плечи так, что, кажется, вот-вот отскочат пуговицы на вороте его гимнастерки... Он выглядел бы грозным воякой, этот бравый солдат, если бы его не выдавали вытаращенные от непривычной натуги глаза...

— Тысяча девятьсот четырнадцатый... — читает Пельг надпись на фотографии и громко смеется. — Будь я проклят! Ведь я тоже перед отправкой на фронт снялся таким петухом... Честное слово!

Август заглядывает через плечо Пельга. Так вот они, хозяева дома, чье неторопливое течение жизни нарушил их приход.

Рядом с портретом солдата висит фотография двух де-

вушек. Они тоже сняты в полный рост. Белые сорочки с длинными, стянутыми у кисти рукавами расшиты узорами. Коралловые мониста и снизки крупных стеклянных бус свисают на полные груди. Тугие косы уложены вокруг головы, а на плечах рассыпались вплетенные в волосы ленты... Девушкам весело, они щурят глаза и поджимают губы, чтобы не прыснуть от смеха.

А совсем внизу — семейный портрет. Отец и мать неестественно прямо сидят на стульях, чинно сложив на коленях руки. По бокам от них застыли в испуге двое ребят Женщина еще молода, но ее старит темный платок, чепцом повязанный вокруг головы. А в крестьянине без труда можно узнать солдата, чей портрет висит повыше. Только здесь он еще не сбрил бороду, и вид у него совсем мирный, домашний.

— Пельг! Вот он, тот самый мальчишка!.. — говорит вдруг Август.

Действительно, мальчик, стоящий справа от отца, очень похож на того, что был пойман сегодня утром на огородах. Такое же остренькое личико, светлые волосы, и даже, кажется, веснушки можно рассмотреть на блеклой фотографии. Здесь он совсем еще малыш, ну, лет пяти-шести, не больше...

— Пожалуй, он, — соглашается Пельг и перестает улыбаться.

3

От старого орехового дерева на утоптанную землю ложилась густая, казалось, влажная тень.

Август тяжело опустился на завалинку. Сорвал выглядывавшую из-за низкого плетня красную головку георгина. Поднес к лицу. Смешной цветок — без запаха и прохладный. Розы — те хорошо пахнут... У нас под окном два куста...

Ему вспомнился приземистый дом с маленьким мезонином окнами на юг. Кусты роз и заросли белой сирени. Меж ними на земле желтеют куски черепицы, сорванной ветром с крыши... Словно почувствовал близкий с детства, родной запах старого дома, роз и нагретой солнцем масляной краски на наличниках окон...

Да... Тогда, в день призыва, у всех мобилизованных в петлицах были розы.

Парни чувствовали себя героями. Девушки, понятно, от этого еще больше ревели... А старик?.. Шел рядом, старал-

ся тоже попадать в ногу и все повторял: «Август, я горжусь сегодня, что у меня есть сын...»

Что ж, тогда многие думали, что этим следует гордиться.

Этой весной, когда он заехал домой из госпиталя, все уже было иначе. У отца, когда курил, тряслись руки... Он этого не замечал. Или привык?.. Конечно, в его годы трудно одному справляться со всей работой...

Мать сказала, что долг по ипотеке превысил стоимость фермы. Если банк объявит торги, они будут нищими...

Зачем отец скрывает это?..

И голос у отца стал тише и глуше.

— Август, я старик, может быть, я плохо понимаю. Но мне кажется, что с этой войной вышла какая-то ошибка...

Надо было что-то ответить. Но слова не приходили. К тому же на янтарном мундштуке отцовой трубки была черная трещина, и от нее трудно было отвести глаза... В конце концов, все казалось ясным только тогда, в самом начале...

— Пельг, тебе всегда все ясно?

Пельг подходит к нему и молча присаживается рядом.

Август говорит медленно, с трудом подбирая слова:

— Знаешь, я, должно быть, заболею тифом. У меня такая тоска, что хочется вывернуть наизнанку свою шкуру.

— Возможно, тебя беспокоят насекомые, Август?

— Оставь, Пельг... Лучше скажи, что мы здесь делаем?

— Ты задаешь смешные вопросы, Август. Наш лейтенант неоднократно разъяснял, что мы, германские солдаты, пришли на Украину, чтобы спасти ее от большевистского варварства... Такие вещи нельзя забывать. К тому же у лейтенанта, по-моему, очень хороший слог. Наш пастор говорит значительно хуже...

— Дерьмовые разговоры!.. Грабить — вот зачем мы здесь...

— Я же говорю, что ты плохой солдат, Август. Другое дело — Функ. Мальчишка побежал, и он, конечно, как хороший солдат, не рассуждая, приложился и выстрелил. Несомненно, ему будет объявлена благодарность...

— Слушай, Пельг, тебя следовало бы избить за твои шутки, — говорит Август со злостью.

Нахмурясь, он в раздумье смотрит перед собой, потом спрашивает:

— А как по-твоему, мальчишка шпионил, да?..

Пельг ничего не отвечает. Он устраивается поудобней, лезет в карман и достает оттуда пачку потертых конвертов

с номерами полевой почты, — должно быть, письма из дому.

— Давно не отвечал своей старухе,— говорит он, лениво перебирая их.— Ты знаешь, я ее очень люблю, но вот писать письма не в моем характере...

В руках его сложенный вчетверо листок бумаги.

— Да, Август, хочешь посмотреть одну штуку? Попала ко мне совершенно случайно. Хотел выбросить, да подумал,— быть может, это будет интересно для тебя...

— Опять, наверно, какие-нибудь глупости, Пельг,— говорит Август и неохотно разворачивает листок.

На тонкой сероватой бумаге четким готическим шрифтом напечатано:

«К солдатам германской и австро-венгерской армий. Мы, рабочие и крестьяне Украины, предлагаем вам мир, мы предлагаем окончить войну на следующих условиях: перестаньте защищать помещиков; не заставляйте вооруженной силой рабочих исполнять волю капиталистов; не разоружайте нас; не отнимайте у крестьян хлеб; не поддавайтесь на постыдную роль палачей; не мешайте нам восстанавливать на Украине власть рабочих и крестьян...»

Август внимательно смотрит на Пельга.

— Откуда это у тебя?

— Представь себе, я поднял вчера этот листок у самых дверей казармы... Однако ты читай дальше — там еще более любопытные вещи. Не бойся, поблизости никого из наших нет.

И Август шепотом читает то, что напечатано на сером измятом листке бумаги. Тревога овладевает им. Ему кажется, что слова эти произносит не он, а кто-то другой, невидимо стоящий позади, большой, сильный и неумолимый, от которого нельзя ни уйти, ни спрятаться, потому что он — повсюду, с тысячью глаз и тысячью рук.

«Пытаясь подавить нас, вы идете против собственного освобождения, вы становитесь палачами собственной свободы. Генералы кайзера отнимают вашими руками у украинских крестьян землю и отдают ее помещикам для того, чтобы вам не пришло в голову, вернувшись в Германию, потребовать у них свою. Они вводят палочный режим на наших фабриках для того, чтобы заглушить в вашей груди надежду освободиться от ярма. Опомнитесь, пока не поздно! Знайте, что каждый немецкий солдат, который откажется стрелять в рабочих и крестьян Украины, найдет в нас лучших друзей. Но тот, кто прольет нашу кровь, никогда не увидит свою семью, никогда не вернется к себе на

родину. Мы непоколебимы в своем решении — сражаться за свободу до последнего вздоха, бороться до последней капли крови... Теперь настала ваша очередь — отвечайте!..»

Август нервно складывает листок и несколько раз проводит пальцами по его сгибам.

— Что же ты думаешь об этом, Пельг?

Пельг сидит, прислонясь к стене хаты, щурится на солнце и, похоже, готовится вздремнуть.

— Ты о чем? — спрашивает он.

Его флегматичность хоть кого выведет из себя.

— О том, что написано здесь!

— Тише, тише, Август. Зачем так волноваться? Я не знал, что это так расстроит тебя. Не лучше ли нам отдать этот листок господину лейтенанту?

— Ты, Пельг, или законченный идиот, или очень хитрый человек!

Пельг усмехается и дружески кладет руку на его колено.

— Ни то, ни другое, Август. Просто тебе не хватает выдержки. Есть вещи, о которых следует хорошенько подумать, прежде чем говорить о них вслух. Ты понял меня?..

Август поднимается на ноги.

— Я хочу посмотреть на мальчишку, — тихо произносит он.

4

Мальчишка лежал за невысоким кустом боярышника. Пуля ударила ему в спину, и он упал ничком, подвернув под себя ногу. Он умер, не успев остановиться, и фуражка слетела с его головы.

Август не решился взглянуть на его лицо, скрытое высокой травой. Он поднял фуражку...

Она была совсем ветхая. Подкладка потемнела от пота, а верх выцвел под дождями и солнцем. Зеленым оставалось только пятно на месте снятой кокарды над сломанным козырьком.

Когда подошел Пельг, Август все еще держал ее в руках.

— Ты знаешь, эту фуражку носил его отец. Он, как и мы, был в окопах... Но он настоящий человек. Он не захотел мириться с этим кровавым свинством...

Августу не хватало воздуха. Он сказал совсем шепотом:

— А мы пришли и убили его мальчишку...

— Пойдем!..

Пельг резко повернулся и зашагал прочь.

Август догнал его.

— Скажи, он был героем — мальчишка?

И Пельг ответил непривычно мягко:

— Ты сам это знаешь, Август.

Над хутором, медленно клубясь, поднимались хлопья бурого дыма. Бледные языки пламени лениво пробегали по крышам. Пахло горящей соломой.

Вокруг по-прежнему было тихо...

ПАВЛО ДОБЬЯ

1

Шел Павло Добья с Глуховской суконной фабрики. Ходил узнать насчет работы и — опять без толку. Один ответ: нет пряжи, всю шерсть оккупанты в дейчлянд повывезли.

Вот и шел Павло Добья не спеша, заложив руки в карманы, и тихонько, под нос, насвистывал «Гей, нумо, хлопцы, славны молодцы, чёму вы смутны, не веселы...»

Думал к обеду быть дома, да повстречал знакомую дивчину Марусю Гнатенко и завернул в Стодолы ее проводить. А там, кто его знает зачем, очутились они в лесу.

Дождей давно не было. На розовато-желтой, будто вощеной коре сосен медовыми каплями стынет смола. Солнце навстречу золото сеет. Глушит шаги сухая хвоя. Веточка хрустнет — по всему лесу слышно. Прямо тебе лето, такой день красивый да звонкий удался. Разве только белая паутинка осенней сухостью ляжет на лицо, тогда вспомнишь, что хоть и лето, а все-таки бабье...

Шел Добья следом за Марусей, не в силах отвести взгляда от ее ушка, что, дразня его бирюзовой сережкой, выглядывало из-под туго повязанного голубенького платочка, и городил, что господь на душу положит.

А Маруся все наперед забегает, то шишку бросит — спугнет с дерева вертлявую синицу, то сонную божью коровку посадит себе на ладонь, идет, что-то шепотом приговаривая,— не то слушает его, не то нет. Потом обернется, посмотрит на него, будто чего-то ожидая, и скажет:

— Ой, и чудные вы какие, Павло Иванович!..

И засмеется тихо так, словно нехотя.

А у Добьи от ее взгляда, затуманенного солнечной истомой, да от этого русалочьего смеха ласковые мурашки по плечам пробегают, сердце млеет. Так бы шел за нею и шел, а куда — не спрашивал.

Однако глядит, стоят они уже у Марусиной калитки. Маруся за щеколду держится, за провожание благодарит. А ему — что ты скажешь! — уходить неохота. Стоит, как дурень, в глаза дивчине засматривает, а сам ни бе, ни ме,— не стало слов, все порастерял сразу. Она же взгляд под густыми ресницами прячет — не то над ним смеется, не то от солнца жмурится. Разберись, попробуй...

Прикрыла рот рукой, словно от позевоты, и говорит:

— Что это вы, Павло Иванович, на меня, как на картину какую, смотрите?..

И прежде чем надумал он, что ответить, открыла калитку и задорно сказала:

— А я все знаю!..

И вдруг, смутившись своих слов, зарделась вся и заспешила домой. А когда была уже во дворе, искоса глянула на него да так хорошо и ласково улыбнулась, будто новую встречу пообещала.

— Маруся!..

Куда там — прихлопнула калитку и засов задвинула.

— Бывайте здоровы, Павло Иванович...

2

От Стодол до посада Клинцы рукой подать, прямой дорогой идти — и полверсты не будет.

Однако пришел Добья туда уже под вечер. Домой теперь не хотелось. Решил заглянуть к Якову Петровичу Шпаку, чайку попить, покурить, а главное — узнать, не было ли каких гостинцев из Унечи от Щорса.

Уже завернул он за угол, как вдруг окликнул его известный всем Клинцам пройдоха-маклер Паперный.

Скользкий человек был Наум Абрамович. Поселился он в Клинцах лет пять назад, но никто толком не знал, какого он роду-племени и какая нелегкая занесла его сюда. Говорили, что он не то турок, не то молдаванин, был директором коммерческого банка в Кишиневе, но прогорел и едва ушел от тюрьмы. Другие же утверждали, что приехал он в Клинцы вовсе не из Кишинева, а из Нахичевани и что настоящая его фамилия не Паперный, а Паперян. Сам же Наум Абрамович выдавал себя то за грека из Херсона, намекая при этом на иностранное подданство, то за крещеного караима из Евпатории, где у него будто бы проживает дядя-миллионер. Здоров был Паперный как бык, голос имел громкий, басовитый, усов не носил, но оставлял длин-

ную, подбритую у губ бороду, которую, важничая, называл «ассирийской».

Хотя Паперный и считался перворазрядным жуликом, однако дела вел неплохо, и клиентов у него всегда было больше, чем у кого-либо другого.

Вот и сейчас стоял Наум Абрамович против афишной тумбы, выжидая, должно быть, не подвернется ли какое выгодное дельце. А пока играл тросточкой с костяным набалдашником и жевал незакуренную папиросу.

— Пардон, молодой человек, — сказал он густым рокочущим басом, изысканно двумя пальцами приподнимая свой котелок. — Не найдется ли у вас случайно спички?..

Добья хотел было пройти мимо, так как не любил Паперного, но уж больно хорошо было у него сегодня на сердце, чтобы отказать человеку в такой пустяковой просьбе. Остановился и подал ему коробок.

— Большое мерси,— сказал Паперный и начал чиркать спички, которые только шипели и, чадя серным дымом, одна за другой ломались в его длинных, поросших жесткими черными волосами пальцах.— Будьте великодушны, юноша, и не смейтесь над человеком, который, выходя на прогулку, забывает взять с собой из дому спичек. Да будет известно вам, что рассеянность не порок, а, как сказал великий философ и прорицатель Мартын Задека, признак мудрой старости,— болтал Паперный, вынув изо рта папиросу и уже, казалось, позабыв о ней.

Говоря так, он облизывал лоснящиеся, будто салом смазанные губы, и в его густой, с вороным отливом бороде не было видно ни одного седого волоса.

«Плетет человек, сам не знает к чему»,— с досадой подумал Добья и сказал нетерпеливо:

— Вы возьмите себе эту коробочку, у меня еще найдутся...

И хотел идти.

Тогда Паперный достал из жилетного кармана серебряный портсигар с монограммой и угостил Добью папиросой, сказав, что курит собственной набивки довоенный табак Месаксуди, два фунта которого привез ему на днях клиент из Одессы.

У Добьи в руках спичка загорелась сразу, и когда он прикуривал, Паперный вдруг наклонился к нему и сказал, приглушая голос:

— Пора кончать прогулку, молодой человек. Приятель ваш серьезно болен...

Добья поперхнулся дымом, а Паперный приподнял котелок и, как ни в чем не бывало, пошел вдоль улицы, помахивая тросточкой.

3

Стоял Павло Добья и не знал, что подумать: то ли плюнуть на такие глупые слова и пойти своей дорогой, то ли догнать Паперного и толком расспросить, на что он намекает...

Но тут задребезжала по булыжной мостовой извозчичья пролетка, и Добья поспешно отступил за афишную тумбу. Еще не начало смеркаться, и он без труда разглядел сидевшего в экипаже Якова Петровича Шпака. Старый Рувим Тарновский на совесть нахлестывал своего разбитого на задние ноги рысака, но тот только отмахивался хвостом и никак не хотел показывать свою резвость.

Усы у Шпака растрепались и обвисли. Сидел он, упершись взглядом в колени, как незваный гость у скупой родни на свадьбе. Рядом с ним, подбоченясь и поставив промеж ног саблю, красовался добродий Паллец — бывший поручик царской службы, а ныне сотник и начальник клинцовской варты. Следом за пролеткой, стараясь не отставать от начальства, гремели по камням мостовой подкованными сапогами два вартовика в серых смушковых шапках.

«Так вот о чем речь!.. Вот она болезнь какая...» — подумал с захолонувшим сердцем Добья, все дальше отступая за тумбу, по мере того как пролетка продвигалась вперед.

Пережидая, пока скроется она за углом, чтобы не привлечь чужого внимания, принялся читать налепленные на тумбу свежие объявления, еще не просохшие от клея.

Первое было напечатано в два столбца на русском и немецком языках за подписью военного коменданта Клинцов фон Штока.

«Решением германского военно-полевого суда сего 20 октября 1918 года приговорены к смертной казни через расстрел жители г. Клинцы Семен Пшеничный и Митрофан Григоренко за то, что они хранили у себя оружие, посредством которого намеревались производить разбойничьи нападения на солдат германской армии. Приговор утвержден и сегодня приведен в исполнение.

Вышеуказанное сообщаю всем жителям для предупреждения».

Пониже висело другое объявление, отпечатанное крупными, жирными буквами на зеленой бумаге:

«Всякий, кто сообщит германским властям о местонахождении большевистских агитаторов, получит за каждого человека премию

1. За указания или сведения — 150 рублей.
2. За личное содействие при аресте — 300 рублей.
3. Если доставит в комендатуру — 500 рублей.
Обер-лейтенант фон Шток, военный комендант г. Клинцы.

А еще ниже приложила свою руку мещанская управа:

«На основании требования начальника германского гарнизона доводим до всеобщего сведения о нижеследующем:

1. Лица, выходящие на улицу после наступления темноты, подвергаются опасности быть застреленными, так как могут быть принимаемы за хулиганов и разбойников.

2. В интересах населения каждому здравомыслящему мужчине и женщине надлежит немедленно заявить в державную варту о нахождении в посаде или его окрестностях большевиков и всякого рода злоумышленников».

— Тьфу! Души продажные! — не стерпел Павло Добья и, покосившись по сторонам, сорвал извещение мещанской управы...

Потом перемахнул на другую сторону улицы и, не заходя домой, подался опять в Стодолы, где жила уже знакомая нам дивчина Маруся Гнатенко.

4

— Мария Григорьевна! То я... — сказал Добья, на носках заглядывая через забор.

— А ну вас, Павло Иванович! — откликнулась Маруся, раздувавшая среди двора дедовым чеботом самовар. — Перепугали насмерть!

Кинула чебот на землю, наставила трубу и подошла к забору. Платочка на ней не было. Туго заплетенные косы золотыми перевяслами уложены вокруг головы. И такой она показалась Павлу Добье хорошей да домашней, что чуть было не вылетело у него из ума, зачем он сюда пришел.

— И чего вам дома не сидится, Павло Иванович? Приспичило, на ночь глядя, киселя хлебать!.. — сказала Маруся, однако совсем не сердито, и, потупив глаза, стала по листочку обрывать бледные осенние цветы мальвы, что росли у самого забора.

Глядел Добья на ее быстрые пальчики, измазанные в саже, и язык у него никак не поворачивался сказать, что должен расстаться с ней,— кто знает, может, и навсегда.

— Имею до вас серьезное дело, Мария Григорьевна,— глухо выговорил он, пересилив себя.— Будьте ласковы, может, сами выберете время, а то, может, перекажете вашей

бабусе, чтоб зашли завтра до нас и сказали моей матери, что подался я на Унечу до Щорса...

— Не то так шуткуют, Павло Иванович?.. — даже рассердилась Маруся.

— Да не шуткую я, Марусенька,— с тоской вырвалось у Добьи.

И, взглянув на него, поняла она, что дело и впрямь нешуточное.

Молча смотрели они друг на друга.

— Мамочка моя!.. — вдруг жалобно прошептала Маруся, и глаза ее широко открылись.

Не помнил потом Добья, что говорил ей в эту минуту, только навсегда запала ему в душу прозрачная глубина ее потемневших глаз на запрокинутом к нему, бледном, словно мукой запорошенном, лице...

А когда замолчал он, побежала Маруся в хату и вынесла полбуханки поляницы и добрый кусок сала, завернутые в тот самый голубенький платочек, которым была она повязана во время прогулки.

— В дороге покушаете, Павло Иванович,— сказала она и заплакала.

— Мария Григорьевна!.. Марусенька... — говорил сам не свой Добья, готовый перескочить к ней через забор.

Но она только головой мотнула, побежала навстречу вышедшей из хаты бабусе, уткнулась лицом ей в плечо...

— Прощевайте, Мария Григорьевна! До лучшей встречи!.. — вздохнув, промолвил Добья и зашагал по-над заборами туда, где за крайними домами Стодол начинался лес.

Твердо помнил он строгий наказ Якова Петровича Шпака: когда бы случилось с ним что недоброе, не медля ни минуты, пробираться к Щорсу, доложить обо всем и ждать его приказаний. Самому же на свой риск не предпринимать ничего, потому что неосторожным шагом можно погубить большое дело и подвести под немецкую пулю многих людей.

5

— Деточка моя родненькая,— причитала старуха Гнатенко, силясь разобраться, что за горе свалилось на ее внучку. — Та не плачь, не плачь, моя голубко... Кто же тебя обидел, мою сиротинку, хвороба им на голову...

Маруся лишь тихонько всхлипывала в ответ, крепче прижимаясь щекой к плечу своей старенькой бабуси, словно было оно для нее сейчас самой надежной защитой от

нежданной и непонятной беды, что принес мимоходом Павло Добья на их тихое подворье.

— Пойдем, деточка, до хаты,— говорила старуха Гнатенко, пытаясь заглянуть в глаза внучки.— Там все и расскажешь...

Но Маруся вдруг оторвалась от нее, побежала к калитке и выглянула на улицу.

Увидела Маруся, хотя и подгибались от внезапной слабости ее колени, как прошел мимо ворот Павло Добья, но уже не один. По пятам его шагали два немецких солдата в серых куцых мундирах, и широкие штыки их винтовок почти упирались ему в спину.

Будто закаменев, проводила Маруся их глазами, потом метнулась в хату и, накинув на плечи теплый бабушкин полушалок, выскочила на улицу.

— Да что ж это, господи, такое!.. Зараз же вернись! Кому говорю, Маруся?.. — крикнула, оторопев, старуха.

Но Маруся не слышала ее. Бежала следом за солдатами и сама не знала, куда и зачем? Сердце подсказывало: нельзя остановиться,— предчувствие было: если потеряет она из глаз этого, вдруг ставшего ей самым дорогим на свете человека, не будет уже спасения ему...

На помощь любимому звало Марусю ее сердце, не спрашивая, хватит ли у нее сил для этого...

Быстро сгущалась ночная тьма, чужими становились пустые в тревожный вечерний час улицы Стодол, но Маруся не думала о себе, тенью перебегая от ворот к воротам следом за смутно черневшими впереди тремя людьми.

Растерялась, а потом словно бы стало ей легче, когда увидела, что свернули солдаты не в город, а к станции. Захотелось поверить, что забрал Павла случайный патруль и что отпустят его утром, проверив документы в железнодорожной комендатуре...

6

Сорок лет отслужил на железной дороге старый Гнатенко. Должность не то чтобы большая — стрелочником, однако на жизнь хватало, еще и внучку вырастил. Пришлось взять ее к себе с того года, как уложило за одну неделю гнилое поветрие в могилу и сына и молодую жену его. Так и росла Маруся у них — не то за внучку, не то все равно как бы за дочку.

Собою Иван Федорович был неказист. И так ростом не вышел, а тут и время уже согнуло ему спину. Ходил,

однако, проворно, чуть по-стариковски припрыгивая и задорно встряхивая сивым клинышком бороды.

Это про него как-то сказал начальник станции Бжозовский:

— Счастье твое, Гнатенко, что козлов у нас на станции нет...

— А почему такое? — ничего не подозревая, осведомился Иван Федорович.

— Чего доброго, забодал бы тебя какой... Из конкуренции...

Гнатенко смолчал, но с тех пор избегал вступать в неслужебные разговоры со своим шутливым начальством и обиженно посапывал при встречах с ним.

В этот вечер дежурство у Ивана Федоровича выдалось спокойное. Составы с реквизированным хлебом второй день дожидались из Гомеля паровозов, а товаро-пассажирский из Новозыбкова должен был подойти лишь под утро. Поэтому, когда маневровая кукушка, простуженно хрипя, ушла на покой, завернул он на вокзал погреться чайком.

На запасном пути стоял немецкий эшелон. У неярких костров передвигались темные фигуры. Звякала посуда. На рельсе сидел солдат в островерхой каске и играл на губной гармонике что-то тягучее и однообразное — такое, отчего на душе становилось слякотно и неуютно, как в осенний дождливый день.

«Нудится человек, — вздохнул Иван Федорович. — И то сказать — загнали людей в какую даль...»

И с раздражением подумал: «А на черта они нам здесь сдались?.. Звали мы их, что ли?..»

В зале третьего класса на деревянных диванах и полу, как всегда, спал проезжий народ. За свою жизнь Гнатенко столько понасмотрелся на всяких пассажиров, что теперь все они представлялись ему на одно лицо, словно со станции каждый день отъезжали и не могли уехать одни и те же люди... Прошел за буфетную стойку, нацедил из жестяного чайника ржавой морковной жижи.

Стекло керосиновой лампы заплыло копотью, но толстогубый буфетчик Фрол Сергеевич Скрынька не замечал этого. Сидел, согнувшись, на табурете, подперев ладонями свои рыхлые бабьи щеки, и Иван Федорович не мог понять, то ли так глубоко задумался человек, то ли просто дремлет с открытыми глазами.

— Погоду бог дает,— попробовал заговорить он.— Октябрь на дворе, а все одно тебе что лето. Бабы на базаре говорили, черемуха второй раз зацвела...

Скрынька не ответил, и старику стало обидным его молчание.

— Только, я думаю, ненадолго та погода, — сказал он ворчливо.— Нынче с утра прострел в поясницу ударил.

От перемены в его голосе буфетчик зашевелился. Зевнув, покосился на лампу. И вдруг сказал, оживая:

— Смотри, дед, никак внучка твоя пришла...

Увидев Марусю, Иван Федорович забеспокоился.

— Ты чего прибежала, доченька? Дома что стряслось?

Но Маруся, не отвечая, потянула его за рукав к двери и только здесь заговорила, торопясь и сбиваясь:

— Павла, дедуля, забрали... Глядим, а его ведут мимо наших ворот. Чисто злодия какого...

— Вот, прости господи, не было печали, — сказал Иван Федорович, еще не зная, как отнестись к такому сообщению.

Не слепой, замечал не раз, что чаще других хлопцев провожает Марусю Павло Добья, но, чтобы одобрял это, нельзя сказать. Парубок Павло, может, и неплохой, но горяч не в меру. В отца пошел. Помнили в Клинцах, как лет десять назад скоропостижно скончался в полицейском участке Иван Степанович Добья — механик с веревочной фабрики Баксанта. Был слух, будто подбивал он рабочих на забастовку... А там, кто ж его знает...

— Да кто забрал? Толком скажи!..

— Сюда забрали... Немцы... До вас... До железнодорожной комендатуры...

— Ночью, что ли, в неположенное время шатался?

— Какая там ночь! — сердясь, сказала Маруся. — Городите бог знает что. Совсем еще видно было...

Гнатенко повздыхал и взялся отчитывать внучку, что возросла она непокорной, своевольничала на горе деду и бабке, не винилась перед ними.

Однако Маруся не очень слушала его воркотню. Прикинулась тихоней, приласкалась к старому, чтобы не гневался, а разузнал: где сейчас Павло и что с ним будет, — не то здесь сидеть ему определят, не то погонят в город? Чтоб сказать, значит, завтра, Добьиной матери, куда передачу носить...

А сама с тоской подумала:

«Какая уж тут передача... Хоть бы до утра живой остался...»

И опять оборвалось у нее сердце, опять загорелось ей бежать куда-то, что-то делать, будто могло быть от ее хлопот спасение Павлу Добье...

— Ты, Маруся, никуда не смей ходить! На станции заночуй!.. — спохватился старый Гнатенко.

Где там!.. Была — и нет ее уже. А кругом ночь.

— Пронеси, господи, чтоб на патруль не нарвалась...

7

Уже близилось к полуночи, когда Маруся, таясь, постучала в закрытую ставню маленького флигеля в узком и длинном дворе аптекарского склада «Ройзмана и сына» на Мещанской улице, где квартировал Павло Добья вместе со своей матерью.

За ставнями было темно и тихо,— казалось, все спало там спокойным сном,— и у Маруси вдруг часто заколотилось сердце при мысли, что будет делать она, если посмотрят на нее здесь, как на чужую, не поверят ее торопливым словам, не захотят среди ночи разговаривать с нею...

Никогда не была она в этом доме, и только издали на улице доводилось ей видеть Добьину мать — высокую чернявую женщину с таким суровым и скорбным лицом, словно это с нее были рисованы потемневшие от времени лики богородиц на иконах клинцовских старообрядцев.

Совсем оробела Маруся, дожидаясь ответа на свой тихий стук. Вздрогнула вся, когда за дверью женский голос спросил:

— Кого надо?..

— До вас я... Гнатенко я... Маруся...

Дверь открылась, и тот же голос сказал:

— Зайдите...

И по тому, как устало и тихо прозвучал он, поняла Маруся: здесь в тревоге и ожидании еще не ложились спать.

— Павла вашего немцы заарестовали, — срывающимся голосом сказала она.

Торопясь и сбиваясь, чувствуя, что еще немного — и не выдержит, расплачется от невыносимой душевной боли, рассказала все, что знала и увидела за этот вечер.

Женщина молчала.

Ни рыдания, ни вздоха не услышала Маруся в ответ на свой рассказ. И от этого ей вдруг стало жутко, как если бы заглянула она в бездонный колодезь, где на страшной глубине мерцает и бесшумно плещется чистая, как слеза, родниковая вода.

— Пойдем в комнату,— еще тише, чем прежде, сказала женщина.

В темноте сеней она посторонилась, рука ее нащупала локоть Маруси, помогая найти дорогу дальше.

От этого заботливого прикосновения Добьиной матери сжалось сердце Маруси, маленькой и беспомощной показалась она самой себе.

В полной тьме прошли они через кухню, где от печи шел теплый дух и пахло свежеиспеченным хлебом. Вошли в комнату.

— Присядьте, — промолвила мать, придвигая Марусе стул. — Немцы Павла арестовали,— сказала она.

В комнате были еще люди. Сбоку от Маруси зашевелилась и вздохнула невидимая ей женщина. Где-то в другом конце скрипнула половица, кто-то басовито откашлялся и тотчас же смолк.

— Говорите, не бойтесь, Наум Абрамович, — сказала мать Добьи.

— Свои? — спросил человек таким густым шепотом, что Марусе показалось, будто он стоит рядом с ней.

— Невеста сына...

Хорошо, что не было света в комнате и никто не видел, как загорелось лицо Маруси от таких в первый раз в жизни сказанных о ней слов. Ко всему готова была она, одиноко пробираясь мимо немецких патрулей от станции к городу, только не к этому. Все перевернули слова Добьиной матери в ее душе.

Даже непроглядной тьме, царившей в комнате, не доверилась в эту минуту Маруся. Прикрыла пылающее лицо мягким бабушкиным полушалком и словно бы замерла вся, не имея силы бороться с охватившим ее смятением чувств.

«Да разве ж она Павлова невеста? Знакомая только... Об этом же у них еще и сказано не было...»

Что-то теплое подкатилось к ее горлу.

«А может, теперь уже и не скажет он?..»

Задыхаясь, ловила ртом воздух, не давая вырваться рыданию из сдавленного слезами горла... Поняла она в эту минуту, что навек связала ее сегодняшняя ночь с Павлом Добьей — и живым, и мертвым. Не откажется она от него никогда и смело посмотрит в глаза людям, даже если бы пришлось ей, не узнав счастья с любимым, покрыть золото волос черным вдовьим платком...

Заботливая рука старой женщины мягко легла на ее голову. И такой близкой, родной показалась сейчас Добьина мать Марусе, что, покоряясь ласке, затихла она и стала вслушиваться в разговор, который шел в комнате...

8

— Никто не скажет, что я какой-нибудь Нат Пинкертон или, допустим, американский президент Вудро Вильсон, но разве это секрет, что мне всегда первому известны самые свежие новости? Не хвастаясь, скажу вам, моя профессия позволяет мне иметь дело с весьма высокопоставленными лицами, — говорил кто-то, тщетно стараясь приглушить до шепота свой басовитый голос. — Чтобы кушать, я должен иметь клиентов. Но что такое клиент, позволю я себе спросить вас? Клиент — это человек, который не хочет думать сам, — он хочет, чтобы за него думали другие...

«Да это же маклер Паперный! — догадалась Маруся, потому что кто же в Клинцах не знал Наума Абрамовича? И удивилась: — Зачем он здесь?»

Паперный выждал паузу и веско сказал:

— И вот по горло занятой человек, которого профессия думать одному за всех, сам приходит в ваш дом и говорит: чтобы избежать серьезных неприятностей, надо немедленно обратиться к адвокату Рыдину.

Сидевшая сбоку от Маруси невидимая женщина опять вздохнула и голосом, дрожащим и резким от невыплаканных слез, сказала:

— Какой уж тут адвокат... Господь с вами, Наум Абрамович!.. Шли бы вы лучше домой...

— Вы умная женщина, мадам Шпак, и поэтому считаете, что все остальные круглые идиоты,— без особой обиды откликнулся Паперный.— Однако я человек деловой и не трачу свое время по пустякам. Если вам что-нибудь обещает Паперный, это такое же верное дело, как если бы оно уже лежало в вашем кармане.

Мать Добьи, легонько отстранив от себя голову Маруси, сказала:

— Наум Абрамович, мы люди простые... Говорите прямо, когда есть что сказать...

— Нет, вы попробуйте вести деловой разговор с этими женщинами! — воскликнул Паперный. — Вместо благодарности они гонят вас в три шеи...

— Ну чего вы расходились, Наум Абрамович, как тесто в деже? — сурово сказала мать Добьи. — Говорите себе, ради бога... Только потише...

Паперный засопел, защелкал в темноте портсигаром, но папиросы не закурил.

— Когда мой сосед портной Хейфец заново перекрашивает свою старую вывеску, я всегда говорю жене:

«У этого еврея пошатнулись дела», — снова загудел он. — Поэтому, когда я увидел, что такой приличный и благовоспитанный господин, как поручик Паллец, пришил к своей шапке дурацкий шлык и желает, чтобы его называли не вашим благородием, а паном добродием, я ни на минуту не поверил, что он действительно вдруг почувствовал себя самостийным гайдамаком. «Не будем удивляться,— сказал я своей Софье Артуровне.— Молодой супруге господина Паллеца потребовались деньги на шпильки...» Вы, конечно, понимаете мою мысль? Поэтому я позволю себе прямо спросить вас: зачем господину Паллецу иметь зло против не известного ему Якова Петровича Шпака или, допустим, симпатичного молодого человека, который к тому же, насколько известно мне, является сыном мадам Добьи?..

Паперный снова сделал многозначительную паузу и таинственно, словно сообщал тайну государственной важности, добавил:

— Говоря между нами, адвокат Рыдин женат на сводной сестре супруги господина Паллеца...

В комнате стало тихо.

— А возьмется ли еще тот Рыдин хлопотать? — упорствуя в своем неверии, сказала жена Шпака.

— И вы спрашиваете об этом, мадам Шпак? — с укором воскликнул Паперный.— А что вы скажете, если ваш покорный слуга уже был сегодня у Семена Семеновича Рыдина и тот заверил его, что совесть никогда не позволит ему отступить от своего долга?

Слушала Маруся Паперного и не знала, верить или не верить ему.

Однако прояснилось все, когда Паперный повел речь о том, что адвокат Рыдин имеет свои странности и, например, в глаза не хочет видеть ни карбованцев, ни керенок.

— Что вы хотите от человека в такое собачье время? Надо же и нам иметь немного деликатности. Часть гонорара мы попробуем предложить Семену Семеновичу салом, картошкой и прочими продуктами, которые, быть может, имеются у вас в запасе. Допустим также, что Семен Семенович из уважения к мадам Добье согласится зачесть тот синий шевиот, который носил три дня назад ее сын портному Хейфецу, намереваясь пошить себе гимнастерку и галифе. Мадам Рыдиной случайно довелось видеть этот материал, и она очень сожалела, что «Машковский и сыновья» не вырабатывают теперь ничего подобного... Что же касается задатка, то его обязательно придется внести метал-

лом. Принимает Семен Семенович не только империалы царской чеканки, но и лом по весу.

Услышав это, заторопилась Маруся, вынула из ушей маленькие бирюзовые серьги — память о покойной матери,— сняла с шеи золотой нательный крестик на серебряной цепочке и, найдя в темноте руку матери Павла, молча положила свое богатство на ее сухую горячую ладонь...

9

Было о чем подумать Павлу Добье, когда позади него задребезжала и, взвизгнув, стала на свое место тяжелая дверь и он очутился один в пустом товарном вагоне, где из углов тянуло промозглой сыростью и въедливым запахом коровьего кизяка. Вагон стоял на отшибе, загнанный в тупик, и в ночной тишине было отчетливо слышно, как около, спотыкаясь о рельсы, ворча и сплевывая, бродит часовой.

Не мог смириться Добья, что так по-глупому наскочил на немецкий патруль, делавший обход железнодорожного полотна за Стодолами. Не рассчитал сгоряча: надо было идти не на Лыщичи, а кружным путем — через Новые Мизеричи, оставляя в стороне треклятую железку. Эх, сказано — дурному вечная память.

До станции, впрочем, шел он посвистывая, думал: как-нибудь обойдется. Известно было ему, что железнодорожная комендатура городу не подчинена и канители особой не разводит: либо сразу полевой суд, либо ступай да смотри в другой раз не попадайся. Документы у Добьи были в порядке, и потому от станционного начальства он не ждал для себя ничего плохого, — как забрали, так и отпустят...

Однако дежурный унтер, хотя и отдал обратно завернутые в голубенький платочек полбуханки паляницы и кусок сала, но бумажки и клеенчатую тетрадку, в которой носил их Добья, положил на стол и послал за начальником станции Бжозовским. Тот пришел, сопя и отдуваясь, грузный, седоватый, с закрученными вверх черными усами, от которых по комнате густо пошел сладкий запах фиксатуара. Тяжело опустился на стул и принялся перебирать по одному Добьины документы, что-то переводя и объясняя немцу.

Стоя у дверей меж двух немецких солдат, Добья изнывал от нетерпения — когда кончится вся эта морока Бжо-

зовский не торопился. Покончив с бумажками и отложив их в сторону, он взялся за тетрадку.

«Читай, читай, вражий холуй. Бог даст, немного поумнеешь», — не без злорадства думал Павло Добья, насмешливо поглядывая на Бжозовского, уверенный, что не найдет тот здесь ничего крамольного.

Завел привычку Добья еще со школьных лет, когда учился в четвертом классе высшего начального училища, записывать себе в особую тетрадку понравившиеся стихи из прочитанных книжек, так же как и новые песни, услышанные от знакомых хлопцев или девчат, а то и просто на улице. Иного же сюда ничего не писал. Для этого человеку голова дана, и уж что там записано, то при тебе одном и останется, чужой глаз не заглянет. А за стихи с кого спросишь? Читай, покуда очи не повылазят, а ни Лермонтова, ни Некрасова, ни самого Тараса Григорьевича Шевченко в каталажку не потянешь...

Но Бжозовский, видно, не за страх, а за совесть пошел в услужение к оккупантам. Перелистав до конца клеенчатую тетрадь, он развернул ее сызнова и начал страница за страницей проверять, что в ней написано. И вдруг словно споткнулся глазами на чем-то. Даже поближе подвинул лампу, стоявшую на столе. Перечитал, хлопнул по бумаге ладонью и, повернувшись к унтеру, стал что-то растолковывать ему на немецком языке. Похоже было, впрочем, что не очень силен он в иноземной речи, так как поминутно запинался, с такой натугой подыскивая нужное слово, что обвислые щеки наливались кровью и начинали вздрагивать наподобие студня.

«Какого беса он там увидел?» — гадал Добья, силясь разобрать, о чем идет разговор.

Наконец унтер понимающе закивал головой, а Бжозовский сорвался с места, шагнул к Добье и, как бугай, уставился на него.

— А, босяк! Шибельник![1] — захрипел он, и в горле у него что-то угрожающе забулькотало.— Говори, пся крев, откуда большевистского духу набрался?

Вряд ли стерпел бы в иное время Павло Добья, если бы кто обозвал его такими словами, но сейчас не о себе подумал он и, хотя омыла сердце нестерпимо горячая волна крови, сдержался и, вскинув голову, промолвил сквозь зубы:

---

[1] Шибельник — висельник.

— Вы, добродию, может, не лаялись бы, а то я могу вас и не так еще почествовать.

— Он мне еще огрызаться будет! — задохнулся от злости Бжозовский. — Ишь, какой гордый нашелся! То-то и пашквили писать мастер. Не в первый раз, должно быть...

— Не пойму, добродию, о чем вы говорите, — сказал Добья, искренне недоумевая, к чему мог привязаться немецкий прихвостень.

— О чем, о чем... Вот об этом самом! — загремел Бжозовский, тыча Добье под нос развернутую тетрадку.

И только заглянув в нее, понял Павло Добья, что и вправду влип в поганую историю. Было там написано вот что:

Ой, яблочко, да куда котишься?
В карман немцу попадешь, не воротишься.
Ой, Украина, да мама родная,
Ты Петлюрою да немцу продана.
Ой, яблочко, да еще райское,
Посадили нам на шею Скоропадского.
Ты, Украина, да хлебородная,
Немцу хлеб отдаешь, а сама голодная.
Ой, яблочко, да куда котишься?
Ты огнем горишь, да кровью точишься.
Скоропадский гад да с Петлюрою
Нам ответят за все своей шкурою.
Я на бочке сижу, с бочки капает.
Щорс на немца нажмет — немец драпает.
Я на бочке сижу, а под бочкой склизко,
Удирай, оккупант, полк Богунский близко.
Ой, то яблочко да пусть не котится,
Власть советская да к нам воротится.

Песню эту «Яблочко», переиначенную на новый лад, записал третьего дня Павло Добья, сидя у Якова Петровича Шпака, от прохожего морячка, который задержался там на день перед переходом демаркационной линии. Напевал ее морячок вполголоса, ловко постукивая в лад двумя деревянными ложками, и в нужных местах подмаргивал и глазом и бровью. Очень понравилась тогда эта песня Добье, а сейчас, смотри-ка, совсем и не подумал о ней...

— Молчишь теперь... Я тебя, злыдень, насквозь вижу! — кричал, все больше входя в раж, Бжозовский. — Погоди, всыпят тебе сотни две шомполов, узнаешь, откуда ноги растут!..

«Вот псюга скаженный! Ему что за дело? На какого хозяина старается!..» — мысленно ругался Добья, чувствуя, что еще немного — и терпение его оборвется...

Но тут наконец объявился сам комендант, и Бжозовский, сердито сопя, отошел от Добьи. Комендант пришел

усталый и хмурый, молча выслушал унтера и Бжозовского, многозначительно пошевелил белесыми бровями, глянув на Добью, а потом молча написал что-то на бумажке.

Вызвали заспанного вартового, человека не то чтобы в летах, а, как говорится, немного подтоптанного, и сдали ему под расписку арестанта.

«Убегу! — решил Добья, посматривая на своего не слишком проворного сторожа.— Как поведет в посад, так, не доходя моста, и убегу...»

Оно и верно, — лучше по-честному сыграть в очко с шальной пулей, чем ждать с петлей на шее милости от вражьего отродья...

Но, видно, не один Добья подумал о таком исходе дела. Вместо того чтобы вести арестованного ночной порой в город, заперли его до утра в пустом телячьем вагоне, что стоял в тупике, за пожарным сараем, по левую сторону от вокзала...

И вот шагал Добья от одной стенки к другой и, в злости сам не замечая, как это у него получается, ломал по кусочку и совал в рот хрустящую корку паляницы, которой одарила его на дальнюю дорогу Маруся Гнатенко.

— Эх, Маруся, Маруся... Пока взойдет наше с тобой солнце, выест нам очи злая роса...

Сказал, и так захотелось ему знать, что делает в эту минуту Маруся, что прислонился к дощатой стенке вагона и плотно зажмурил глаза, стараясь, как когда-то в детстве, вызвать перед собою задуманное.

Неужели спит, когда он, запертый в этой вонючей скрыне, дожидается своего, быть может, смертного часа?

Нет, не могла не видеть Маруся, с каким почетом вели Павла Добью мимо ее ворот чертовы сваты в железных шапках...

Как же стерпела она это, почему не обняла его на прощание, не омыла ему дорогу жгучими слезами?..

Сорвался с места Добья и забегал по вагону, зло усмехаясь своим мыслям.

«Дурной ты, Павло, как я на тебя погляжу... Чего захотел от бедной дивчины!..»

Нет, лучше бы вовсе не видела этого Маруся, лучше бы совсем не знала, что стряслось с Павлом Добьей... Думала бы, что без печали добежал он до Унечи, нашел свое место среди боевых хлопцев Щорса и теперь ждет не дождется, когда придет час расплаты с врагом и скорого свидания с нею, Марусей.

Тихая грусть овладела Добьей. Захотелось ему еще раз

увидеть Марусю такой, какой была она тогда, в минуту их расставания у забора, заглянуть в ее переменчивые, словно весеннее небо, глаза, бережно взять в свои руки ее маленькие, сажей измазанные пальцы...

Через реченьку,
Через быструю
Подай рученьку,
Подай другую...

С детства любил Добья стихи за их чудодейственную силу, что, как гроза в летний зной, волнует и освежает человеческую душу. Однако никогда не признался бы он даже близкому товарищу, что, будто школяр какой, заучивает особо понравившиеся наизусть. Стыдно почему-то было бы...

А ведь много стихов знал Павло Добья, и не раз случалось — уйдет подальше в лес, выберет полянку поглуше и среди тревожной лесной тишины в полный голос читает звучные, из неведомого драгоценного металла отлитые строки. Особенно любил он стихи Лермонтова и Шевченко, потому что неизменно рождали они в его сердце и боль, и радость, и тихую грусть, и безудержный гнев против людской неправды, словно о нем самом были сложены они и шла в них речь о самых дорогих его мыслях и чувствах, о которых не умел он рассказать собственными словами.

Вот и сейчас:

А ты не заплачешь,
А ты не увидишь, как ворон клюет
Те карие очи, те очи казачьи,
Что ты целовала, золото мое!
Забудь мои слезы, забудь сиротину,
Забудь свои клятвы, — другого ищи!

Что из того, что ни в чем еще и не клялась ему Маруся и не целовала его ни разу, — ведь могло же все это быть, кабы не злая Добьина судьба...

10

Долго стоял так Павло Добья, прислонясь горячей головой к дощатой стенке вагона.

Рядом с Марусей видел он усталое лицо матери своей, такое неподвижное и суровое, словно не ждала она уже от жизни ни радости, ни горя... Знал по себе, — таким и он уродился, — никому на свете не покажет она своих слез, еще больше замкнется от людей, чтоб не увидел чужой

равнодушный взгляд, как кровоточит ее сердце, от которого вслед за мужем оторвала людская злоба единственного сына...

«Да не то ты, Павло, и в самом деле помирать собрался?» — рассердился вдруг Добья и оттолкнулся рукой от стенки вагона. Твердо стоя на ногах, сказал в темноту, будто назло кому-то:

— Черта с два! Не будет нашему роду переводу...

Вот так оно лучше!..

И сразу вспомнилось: сидели они у Якова Петровича Шпака за хатой в садку, в вишневнике, и слушали воззвание, что принес от Щорса верный человек, пробиравшийся за Днепр — на Волынь.

«Огнем и мечом проходят немецкие оккупанты и гайдамаки по селам и городам Украины. Жгут хаты, убивают мирных людей. Тюрьмы полны нашими товарищами. Не умолкая, стоит над Украиной стон мучеников, которых бьют и расстреливают палачи. Чужеземные насильники грабят нашу землю, вывозят последние достатки разоренного четырехлетней войной народа...

Товарищи рабочие и крестьяне! В единении и сплочении наша сила. Не исполняйте распоряжений гетманского правительства и немецких империалистов, не отдавайте им хлеб! Не платите податей и налогов! Не давайте своих сыновей в армию!..»

От слова до слова, как песню, запомнил Добья Щорсово воззвание.

«Вспыхивают молнии среди темной ночи. Снова собираются с силами трудящиеся массы, смыкают свои ряды, готовятся нанести врагу смертельный удар.

Так пусть же грянет буря! Пусть не останется на Украине ни одного изверга-чужеземца! Ни одного немецкого наймита, ни одного предателя трудового народа!..»

Тогда-то, дочитав воззвание до конца, и сказал Яков Петрович, по привычке забирая в кулак свой пушистый ус:

— Добре, хлопцы, написано. Пускай лютует вражина, а роду нашему — большевистскому — все равно не будет переводу...

Любил Павло Добья старого Шпака, потому что связана была с ним далекая и смутная, но щемящая, как незажившая рана, память об отце, вместе с которым работал Яков Петрович на веревочной фабрике Баксанта. Восьмилетним хлопцем был Павло, когда до смерти забили царские башибузуки в полицейском застенке Ивана Степановича Добью. И с тех пор старался Яков Петрович

заменить Павлу своей лаской и заботой родного отца...

А все же случилось недавно так, что затаил было Павло в душе обиду на старого Шпака.

Знал он, что не простые дела делаются на окраине Клинцов, в маленьком белом домике с голубыми ставнями, где жил, разводя пчел и выращивая помидоры и огурцы, ушедший с работы на покой Яков Петрович Шпак.

Много разных путей перекрещивалось здесь. Заворачивали к Шпаку во двор переночевать приехавшие на базар мужики из дальних сел. Заходили купить огородных семян клинцовские жители. Заглядывали порой, обивая у ворот с сапог густую дорожную пыль, и никому не известные, как будто случайные прохожие, чтобы покушать паляницы с медом, запивая холодным, из погреба молоком. Кому какое до этого дело? Надо же человеку зарабатывать себе кусок хлеба на старости лет. Но видел Павло Добья много такого, чего не мог видеть чужой глаз. И помогал кое в чем Якову Петровичу, но казалось хлопцу, что все это по мелочам. Ни разу не дал ему Шпак такого поручения, где бы жизнью пришлось рисковать. Отсюда и началась обида у Павла: подумалось, что не в полную меру доверяет ему Яков Петрович.

Однако старику ничего не сказал — гордость не позволила.

Шпак сам первый завел разговор об этом. То ли заметил, что творится неладное с хлопцем, то ли время пришло.

Было это с неделю назад в саду Шпака, возле старой яблони кислицы, под густыми ветвями которой на траве любил полежать после обеда Яков Петрович.

— Томишься, Павло? — спросил старик, пытливо поглядывая на Добью.

— Обидно, Яков Петрович. Сижу сложа руки, а люди на смерть идут...

— За смертью, сынку, не гонись. Придет время — сама тебя найдет.

— Смотря какая смерть.

— То и я говорю: умирать в жизни один раз, так надо, чтобы с толком.

Павло не ответил ничего. Лежал на спине, раскинув руки, и, замкнувшись в себе, следил прищуренным глазом за полетом ласточки в бездонной синеве неба.

Яков Петрович снова взглянул на него и нахмурился.

— Должно быть, думаешь, Павло, что по молодости твоей не доверяю тебе? — сказал он. — То зря. Верю я те-

бе не меньше, чем верил бы родному сыну. А зачем берегу, о том тебе сегодня сам хотел сказать. Нужен мне, Павло, близкий и верный друг, чтобы, коль попаду я в зубы к немецкому волку, через огонь и воду прошел, а до Щорса добрался. И сказал бы ему с глазу на глаз, что хотя, быть может, и нет уже в живых Якова Шпака, но в целости сохранил тот Шпак все концы и передал их, как было условлено, проверенному человеку. Зовут того человека Ларионом, и скоро подаст он о себе весть...

Вспомнил все это Павло Добья, и понятным стало ему, что уже тогда чуял Яков Петрович нависшую над собой угрозу. И подивился ясности духа и спокойствию перед смертельной опасностью этого старого человека.

И представилось Павлу Добье: сидит Яков Петрович на лавке, опустил голову, уперся взглядом в колени. Голо кругом, окна решетками перекрещены — тюрьма, одним словом. Расхаживает по комнате их собачье благородие поручик Паллец. Руки в брюки — доволен. «Назовите, — говорит, — мне, Шпак, ваших сообщников. Может, еще окажем мы вам снисхождение». Устало поднимает Шпак сивую казацкую голову и в упор смотрит на пана Паллеца. Вздрагивают усы у Якова Петровича, трудно усмехается он, глядя на своего мучителя.

— Дурень ты дурень, ваше благородие. Выслуживаешься, хлопочешь для своих чужеземных хозяев. А ведь без толку. И на домовину[1] себе не заработаешь. Похоронят тебя, как собаку, и никто не заплачет над твоей могилой. И не понять тебе того, что нашему роду большевистскому не будет переводу!..

11

— Нет у тебя такого права, Павло, чтобы сидеть в этом телячьем закутке, — сказал, скрипнув зубами, Добья и, нащупав ногою крестовину из брусьев, что связывала дощатую стенку вагона, дотянулся до серевшего под самым потолком узкого окошка, забранного двумя железными полосами.

Было в его случайной тюрьме не светлее, чем в поповском кармане, поэтому даже безлунная осенняя ночь показалась ему не слишком темной.

Впрочем, смотреть было особо не на что. Сбоку, ближе к вокзалу, виднелся заросший бурьянами земляной горб

[1] Домовина — гроб.

станционного ледника, на котором могильным крестом чернела приземистая кирпичная труба. Дальше начинался пустырь, в конце которого угадывались какие-то деревья и заборы.

Вартовой сидел на земле, скрестив по-турецки ноги и положив поперек колен винтовку.

— Эй, дядько! — негромко окликнул его Добья.

— А ну, отойди от окна, — отозвался, почесывая потылицу, вартовой. — Слышь, что сказал?.. А то стрелять буду...

— За что же вы, дядько, будете меня стрелять? — осведомился Добья, пристраиваясь поудобней.

— Поспрашивай еще, — пробурчал вартовой и принялся ругаться, поминая всех богов и боженят, что из-за какой-то чертовой холеры ему приходится не спать по ночам.

Добья выждал, пока человек отведет душу, и тогда спросил:

— Не слыхали, дядько, что там со мной будет?..

— Известно, что бывает, — сказал вартовой. — Утречком препроводим тебя в город, а к вечеру в расход...

— Да ну?

— Вот тебе и ну!.. Отойди от окна! Который раз говорить?..

— Обождите, дядько, разомнусь немного. Застыл совсем в чертовой конуре... И вам, должно быть, прохладно?..

На это вартовой только крякнул и, сопя, начал свертывать цигарку.

— Дядько! — позвал снова Добья. — Может, где погреться чего достали бы... У меня есть на что купить...

— Вот я тебя сейчас погрею! — обозлился вартовой и взялся за винтовку.

Добья не заставил себя упрашивать и поскорее отступил в глубь вагона. «Еще сдуру в самом деле переполох поднимет...»

Он решил немного переждать...

Теперь вартовому не сиделось на месте. Он опять бродил возле вагона, громко сплевывал, вздыхал...

Добью разбирало нетерпение. Он уже хотел снова выглянуть в окошко, когда вартовой вдруг сам постучал в стенку вагона.

— Эй, хлопец! Не спишь?..

— Заснешь тут, как же!.. — обрадовался Добья такому повороту дела.

— Гроши у тебя какие?

— Гривны...

— Не годятся! — сказал вартовой и протяжно зевнул.— Кабы марки были...

— А что?

— Да эшелон тут немецкий стоит. У них завсегда шнапс есть...

— Может, пиджак возьмут? У меня почти что новый...

Вартовой выругался.

— Много он тебе, тот немец, за твое барахло даст!.. Ты что, без понятия?

Но Добья уже знал, что делать.

Дядько! — заговорил он, добравшись до окна. — Слышь, дядько, поди сюда... Да не бойся, не укушу. Сало у меня есть...

Вартовой затянулся, по-хозяйски поплевал на цигарку, гася ее, и только тогда спросил:

— Не брешешь?..

— Да ей-богу...

— И много?

— Фунта два потянет...

— То дело другое... На шпек герман падок...

— Уж вы достаньте, дядько. Будьте ласковы. Перед смертью выпьешь, все легче...

Вартовой подставил штык, и Добья, просунув между железными полосами руку, осторожно насадил на него заветный кусок сала. Было, правда, у него искушение дернуть к себе винтовку в расчете, что не удержит ее растерявшийся вартовой, но уж больно в невыгодном положении находился он сам, чтобы рассчитывать на удачу.

— Бросай и пиджак, — сказал вартовой, принимая сало.

— Это зачем же?

— Завернуть надо. Как бы кто не увидел...

А когда Добья кинул на землю пиджак, вартовой подумал и сказал:

— Давай и гроши...

— Немцы же гривен не берут...

— То не твое дело. Тут, брат, соображать надо.

Когда вартовой наконец исчез за вагоном, Добья ухватился руками за одну из железных полос, перегораживавших окно, и попробовал ее прочность. Железо чуть прогнулось, но из пазов не вышло...

— Ничего, поддастся, — утешал себя Добья, сожалея, что нет у него под рукой железного костылика или хотя бы большого гвоздя, чтобы расковырять доски по краям окна...

Однако пришлось ему тут же прервать свое занятие.

Поблизости захрустел песок, и перед глазами его снова предстал вартовой.

— Что так скоро, дядько? — встревожился Добья.

Вартовой подозрительно оглядел запор и присел против Добьи на корточки, положив на землю сверток с салом.

— Не пойду! — сказал он.

— Как так не пойдешь?..

— А так!.. Не пойду, и крышка. Не дозволяется с поста уходить, арестанта одного оставлять...

— Не то я убегу? — удивился Добья.

— Кто тебя знает...

— Да кабы и хотел, не смогу, дядько. Двери снаружи замкнуты?

— Ну, замкнуты. А окно?..

— Так я не ужак, чтобы в такую дырку пролезть.

— Все одно непорядок, — угрюмо сказал вартовой.

— Тьфу!.. Не в пять, не в десять...— вырвалось у Добьи.

— Но-но!.. Ты чего там гавкаешь?

— Говорю, у людей дурни мрут, а у нас как из воды прут,— брякнул Добья.

Вартовой поднялся на ноги, вскинул винтовку.

— Отойди от окна!..

— Поперед пиджак и сало отдай! — не уступал Добья, которому терять теперь было нечего.

— А дулю не хочешь?..

Наверно, не кончилась бы хорошим их перебранка, если бы поблизости вдруг не послышалось стариковское шарканье шагов и на землю не легло желтое пятно от фонаря.

12

— Кто там? — крикнул вартовой и для острастки клацнул затвором.

— Свои, свои, деточка,— пришептывая, ответил ласковый голос, и Добья без труда узнал Ивана Федоровича Гнатенко — деда своей любимой Маруси.

— Ты зачем, старый хрен, в неуказанных местах бродишь?

— По службе, деточка, по службе. Хожу да смотрю — не то будем вагон завтра утречком к эшелону цеплять, не то нет...

— Утром и приходи, дед, а по ночам нечего шлындать!..

— Я же, деточка, не знал, что запрещение вышло. Вижу, вагончик стоит, дай, думаю, дойду посмотрю,— гово-

рил старый Гнатенко, а сам пялил глаза на забранное железом окошко, стараясь угадать — Добья или кто другой виднеется там.

— Катись, катись, дед, откуда пришел! — гнал его вартовой. — По уставу караульной службы я тебя застрелить должон.

— Заставь дурня богу молиться!.. — подал сверху голос Добья.

— Ты еще мне поговори, зараза! — крикнул вартовой и так ловко сунул штыком в окошко, что Добья едва успел соскочить на пол.

— Ох, господи, — забормотал старый Гнатенко. — На все твоя воля, господи...

И стал боком пятиться от вагона.

Твердо знал он еще с детства, что и храброго волки едят, а потому, отступив немного, собрался припустить подальше от греха, поближе к вокзалу. Но тут послышался грозный оклик вартового:

— Стой, дед! А ну, вертайся обратно!..

— Ты что, детка?.. Некогда мне... Службу справляю...— залепетал Иван Федорович.

Но вартовой не собирался сделать ему плохое.

— Сходи к немцам, обменяй на шнапс,— сказал он, подавая сало.— Служба чертова, по делу отлучиться и то нельзя...

— Ты б, детка, так и сказал,— сразу успокоился Иван Федорович.— Известно, душа просит... А то думаю, чего он сердитый такой...

Стоя за стенкой вагона, Добья выжидал, что будет дальше. Завязать дружбу с вартовым он уже не надеялся, но все же утешало его, что послал тот за водкой...

Время шло медленно. У вагона было тихо. Не находя себе места, Добья тыкался из угла в угол и, чтобы хоть как-нибудь скрасить ожидание, жевал облупленную им, словно печеное яйцо, паляницу.

Пропели первые петухи.

Подул, зашумел деревьями ветерок. В вагоне становилось прохладно. Под сатиновой рубашкой Добью пробирала дрожь.

Казалось, еще немного, и ночь должна кончиться.

— Допрыгался, Павло, — некуда ехать...

Но послышалось торопливое шарканье подошв старого Гнатенко, и Добья навострил уши.

Сперва у вагона говорили вполголоса, и он не мог разобраться — не то вартовой что-то предлагает деду, а тот

отнекивается, не то дед о чем-то упрашивает вартового.

«Не достал водки», — подумал Добья, и совсем нехорошо стало у него на душе.

Но в это время, в утешение ему, что-то тихонько забулькало и стихло.

«Эге!.. Дед, кажись, в компанию примазался»,— ожил Добья.

Словно отвечая на его мысли, Иван Федорович поперхнулся, закашлялся.

— Ох, и здорова, злодейка! — еле выговорил он, переводя дух.— Однако сказано: горилка — не жинка, одолеть можно...

— Хватит, дед! — сердито сказал вартовой. — Смотри, сколько вылакал.

— Сам, детка, угостил, сам, — говорил, умиротворенно покрякивая, Гнатенко.

— Иди, дед, справляй свою службу. А кружку оставь — завтра занесу, не сомневайся...

13

Однако Иван Федорович расчувствовался и уходить не собирался.

— Ты, деточка, арестантика угости, — говорил он вартовому.— Слышь, позови арестантика, детка...

— Вот привязалась смола! — ругался тот. — Отстань, дед, а то осерчаю...

«Что смола, то верно»,— досадовал на старика и Добья, в расчеты которого никак не входило дальнейшее присутствие здесь Ивана Федоровича.

— Камень у тебя заместо сердца, деточка, — твердил свое старый Гнатенко. — Сочувствия к ближнему не имеешь...

— Ох, дед, поджившься ты у меня. Дальний за ближнего станет...

Иван Федорович до тех пор донимал вартового просьбами помилосердствовать, не теснить заблудшую овцу, вспомнить доброго самаритянина и прочими благоглупостями, пока тот, озлясь, не гаркнул:

— Катись отсюда, чертова перечница! Понял?

Видно, всерьез было сказано это, так как Иван Федорович сразу угомонился.

— Понял, деточка, все понял... — забормотал он и поспешно зашаркал прочь от вагона...

Добья снова подобрался к окошку.

Вартовой сидел, разостлав на земле пиджак, и наливал в кружку спирт.

— А! — сказал он, заметив Добью. — Будем здоровы!..

Словно боясь обжечься, он подул в кружку, зажмурился и опрокинул ее в рот.

— Хороша!..

Добья промолчал.

Вартовой налил снова.

— Твой черед,— сказал он и, оставаясь сидеть, протянул кружку Добье.— Чего не берешь? Бери, бери, пока дают. Твоя, говорю. За твое сало куплена.

Добья молчал.

— То-то, брат! Руки коротки...

Он погрозил Добье пальцем и выпил.

— Хороша... Только закуски черт-ма!..

Пошарил рукой по земле, сорвал какой-то бурьянец, понюхал, скривился...

— Ты чего молчишь? — напустился он вдруг на Добью.— Спасибо надо говорить, когда за твое здоровье люди пьют. Неученый еще? А?.. Подожди, я тебя выучу...

Он отставил бутылку подальше от себя и, опираясь на винтовку, поднялся на ноги.

— Я тебя научу, как старших почитать,— сказал он грозно, но с места не сдвинулся, пребывая в каком-то мрачном раздумье, и Добья порадовался, увидев, как качнула его злая немецкая водка.

— Брешешь!.. — сказал вартовой, с опаской поглядев на бутылку, и, потоптавшись на месте, плюхнулся на землю рядом с Добьиным пиджаком.— Брешешь!.. — повторил он.

Дотянулся и начал сосать прямо из горлышка.

«Спекся!..» — решил Добья, и сил у него прибавилось вдвое.

Вартовой сидел, обняв колени, и тянул вполголоса жалостную песню о том, как обманула его дивчина, пообещав поцеловать сорок раз.

Ты ж меня подманула,
Ты ж меня подвела...

Голос его звучал почти как у трезвого, но на припеве начал сбиваться.

— Эх, подманула!.. — сердито сказал вартовой и снова взялся за бутылку.

Долго разглядывал ее при тусклом свете звезд, но она была пуста, и он опять вспомнил про песню:

Ты ж меня, молодого,
С ума-разума свела...

Здесь вартовой икнул и опустил голову на колени.

14

Спросить Марусю, зачем бежала в ту ночь опять на станцию, — и не могла бы она дать ответа. Одно знала: не вольна была в себе и своих поступках...

А ведь еще вчера не поверила бы, что вмиг забудет своих деда и бабусю, не побоится принести им на старости лет огорчение и слезы. Да что там, без раздумья жизнью своею рисковать будет, и все ради Павла Добьи, задорного долговязого хлопца, с которым, кроме шуточек да провожаний, ничего у ней, кажись, и не было...

По-прежнему не светилось огонька в маленьком домике на Мещанской улице. Ушел не с пустыми карманами Наум Абрамович Паперный. Последнее отдали ему здесь, зато бесценную радость надежды оставил он двум старым женщинам, поверившим в его житейскую мудрость.

Но не нашла себе облегчения Маруся.-Тревога сжигала ее, словно пригоршню горячих углей насыпал ей кто под самое сердце. Что ей и Паперный, и Рыдин, и все адвокаты на свете, когда сидит у оккупантов под замком ее Павло и никто на свете не скажет ей сейчас, какая судьба сторожит его по ту сторону двери.

Осушив слезы, поцеловала Маруся мать Добьи и, не слушая ее уговоров, ушла, затерялась в темноте по-летнему тихой октябрьской ночи...

На станции, в зале третьего класса, окликнул ее толстогубый буфетчик Скрынька и провел в боковую комнатушку с надписью над дверями «Служебная». Там на деревянном диванчике лежал ее дед Иван Федорович и так жалостно стонал, как будто пришел его последний час.

— Что с вами, дедуля? — спрашивала Маруся, сама не своя от мысли, что это по ее вине приключилось несчастье с незадачливым дедом, которого, надо признаться, она очень любила за его заботы о ней, легкий нрав и незлобивость.

— Ох, доченька, прострел... прострел проклятый в поясницу ударил... Ой, жизни мне нет... разобрала она наконец.

— Чтоб вам пусто было, дедуля! — с облегчением сказала Маруся.— Разве можно так людей пугать?..

— Ой, доченька, и не говори... Наскрозь шибает, прямо наскрозь...

Не терпелось Марусе поскорее расспросить деда, проведал ли он что-либо о Добье, но Скрынька столбом торчал в дверях и пялил на нее круглые и сонные, как у линя, глаза. Так вот и всегда, когда бы с ней ни повстречался.

А дед, казалось, совсем позабыл, о чем просила его внучка. Стонал и вздыхал до тех пор, пока Марусю не стало разбирать зло.

— Ну и лежите, когда заболели... Я за вас подежурю!

— И думать не смей! — даже привскочил на лавке Иван Федорович.

— А то!.. В первый раз, что ли?.. — упрямо сказала Маруся и подхватила с полу жестяной фонарик с сигнальными стеклами.

— Не дозволю! — кричал Иван Федорович, хотя знал, что страху на внучку все равно не нагонит.— Сказано, нельзя. Мое слово твердо!..

Потом схватился за поясницу и снова повалился на лавку.

— Беда мне с вами, дедуля, — говорила Маруся, заправляя фонарик. — Ну прямо как маленькие... Полежать — и то не можете...

— Доченька! — хныкал старый Гнатенко. — Не ходи. Добром прошу — не ходи...

— Марья Григорьевна, не рекомендую,— вступил в разговор и Скрынька.— Большое беспокойство нам причините.

— То как водится,— сказала Маруся.— Уж вы меня извиняйте.

Буфетчик вздохнул и снова застыл у двери.

— Доченька! — говорил старый Гнатенко, покоряясь неизбежному.— Ты для порядка с фонариком по-над перроном походи и назад. Народ чужой, сама знаешь...

— Ладно, дедуля, ладно,— отвечала нетерпеливо Маруся.— В аккурат так и сделаю... Только вы, может, еще что прикажете?

— Ох, грехи мои!.. — хныкал старый Гнатенко, будто не понимая вопроса внучки.— Опять разбирает прострел проклятый... Ой, смерть моя пришла... К ледничку, доченька, не вздумай ходить. Нечего тебе там делать... Ох, господи, господи...

Он заворочался, застонал и вдруг, сделав сердитые глаза, моргнул Марусе.

Она оглянулась на буфетчика, по-прежнему подпиравшего притолоку, и, ничего больше не спросив у деда, вышла из служебной комнаты.

15

За ледником, в тупике, на отшибе, стоял товарный вагончик. Дальше бурьяны, пустырь. Темно. Страшно...

Но вернуться Маруся не могла. Знала, недаром дед про ледник помянул.

Подошла и обмерла. Лежал у вагона на земле человек, сразу подумала — убитый, но тут же разобрала, что живой. Похрапывал человек, да так смачно, будто хрюкал годовалый кабанчик, подрывая в огороде кусты картошки.

Ружье рядом, вроде военный. Вот недоставало в таком углу с пьяным повстречаться...

Прикрыла фонарь пуховым бабушкиным полушалком и хотела повернуть обратно, как вдруг услышала почти над самым ухом родной ее сердцу голос Павла. Тихо, будто ветер прошелестел:

— Маруся...

Как только фонарь из рук не выронила...

Зато дальше все само собой получилось. Задула свечку и осторожно, так, что и не скрипнуло, отняла с пробоя тяжелый запор...

Только это еще полдела. Страху все же пришлось натерпеться. Казалось Марусе, что громче товарного состава скрежещет дверь, когда по чуточке сдвигала ее в сторону, чтобы мог выбраться наружу Павло. Но не проснулся пьяный часовой, только вздохнул и пожевал во сне губами...

И вот уже стоит Павло рядом с нею, держит ее за руки и молча смотрит в глаза. А у Маруси голова кругом идет, куда все силы подевались?.. Ноги будто не свои... От радости это, что ли?

Глаза у Павла большие и все ближе, ближе... Хорошо в них смотреть... И хочется, чтобы еще ближе были...

Перехватило дух у Маруси. Легонько толкнула она в грудь хлопца и прошептала:

— Дурной... Беги скорее...

И вот осталась одна Маруся. Беззвучно исчез в бурьянах Добрыя. Тихо кругом. Будто его и не было. Всхрапывает пьяный часовой, уткнувшись носом в землю. Чернеет рядом винтовка. Спит в ней до поры чья-то смерть.

И такой страх напал на Марусю, какого еще не испытала она за всю сегодняшнюю ночь. Подняла с земли ослеп-

ший фонарик и, пугливо озираясь по сторонам, на цыпочках зашла за вагон, а оттуда, вся замирая, подалась к вокзалу...

— Садись, доченька, отдохни,— сказал старый Гнатенко. — Заморилась, бедная, сегодня...

Он с такой тревогой и лаской посмотрел на Марусю из-под седых взъерошенных бровей, словно по лицу ее уже угадал все, что случилось в тупике за ледником.

Тихонько присела рядом с дедом Маруся и в первый раз за эту ночь пожалела сама себя. Отчего незадачливая она такая? Другие любятся, женятся, живут в уюте и счастье. А у нее все не как у людей. Не успела с любимым повстречаться — и уже осталась соломенной вдовой...

Подумала, и самой смешно стало: тоже соломенная вдова выискалась. Сказать кому — куры засмеют...

16

А на рассвете поднялся на станции переполох. Из эшелона выскакивали немецкие солдаты, осматривали ружья, затягивали ремешки касок и становились в походный порядок. Вокзал оцепили и никого оттуда не выпускали.

Среди пассажиров пошел слух, что сейчас оккупанты будут делать повальный обыск, ловить повстанцев и большевиков.

Старый Гнатенко не на шутку струхнул. Лежал полумертвый на деревянном диванчике, не сводя жалобного взгляда с внучки, и даже охать забыл с перепугу.

Да и Маруся места себе не находила. Не было у нее сомнения в том, что вся эта суета вышла из-за ее Павла. Не за себя боялась Маруся. Страшней всего на свете было ей сейчас думать, что могут попасть по ее вине в беду старенькие дед и бабуля.

Один только буфетчик Скрынька пребывал в полном спокойствии и презрительно кривил толстые сырые губы, глядя на всеобщую тревогу. В разговоры больше не пускался. Видно, почитал себя обиженным на Марусю за то, что не оценила она, как должно, по достоинству, его заботу о ней.

Меж тем суматоха на станции с каждой минутой нарастала. На крыше вокзала солдаты устанавливали пулеметы. Из вагонов выкатили два больших мотка колючей проволоки и начали натягивать ее на колья позади станционных пакгаузов.

У Маруси вдруг отлегло от сердца. Что-то непохоже было, чтобы мог так напугать оккупантов всего-навсего один безусый хлопец.

Вскоре все разъяснилось. Оказывается, была получена из Стародуба срочная депеша, что подошли партизаны под самый город и ведут обстрел немецкого гарнизона из неизвестно откуда взявшегося у них трехдюймового орудия.

Стародубский комендант определял число их в пять тысяч и слезно просил помощи, предупреждая, что дольше чем до вечера он продержаться не сможет.

Удивляться этому не приходилось. С августа не затихала на Стародубщине партизанская борьба. Бессильны были карательные отряды оккупантов что-либо поделать с хорошо вооруженными повстанцами, укрывавшимися в густых лесах вокруг сел Пятовска и Янькова. Контрибуции и расстрелы мирных жителей, взятых как заложники, лишь подливали масла в огонь народной ненависти. А когда по распоряжению немецких военных властей были сожжены в Пятовске и Янькове без малого две сотни крестьянских дворов, окружили партизаны карателей, расположившихся на ночевку в пятовской школе, и с четырех сторон повели по ним шквальный пулеметный огонь. Лишь немногим вражеским солдатам удалось унести оттуда ноги.

С тех пор чувствовал себя немецкий гарнизон в Стародубе, как в осажденной крепости, а теперь уж, как видно, пришлось ему совсем круто.

Оккупанты в Клинцах тоже всполошились, ожидая, что вот-вот дойдет и до них черед. Ведь от Стародуба, считай, тридцать верст с небольшим. Комендант станции не выходил из телеграфной и слал депешу за депешей в Новозыбков, пока не подошел оттуда и не остановился против вокзала, прогибая своей непомерной тяжестью изношенные рельсы, серый трехбашенный бронепоезд «Граф Бисмарк».

За всей этой сумятицей станционное начальство и думать позабыло о сбежавшем арестанте. Тем более, что исчез неизвестно куда и сторживший его вартовой, бросив у пустого вагона винтовку. Должно быть, были они в сговоре, и искать их теперь все одно, как ветра в поле.

Книга вторая

ПО ЗОВУ ПАРТИИ

УНЕЧСКОЕ СТОЯНИЕ

1

Накренко запомнил Яковенко свою первую встречу со Щорсом.

По немощеным улицам Унечи с протяжным скрипом ползли на базар запряженные волами подводы гончаров. Хлопая по накатанной дороге длинными хворостинами, гнали мальчишки на луг крикливое стадо гусей. Ночью был первый приморозок, и Яковенко поеживался от забиравшейся под пиджак утренней прохлады, ожидая в числе других, прибывших в ночь, когда начнет работать вербовочная комиссия.

Народ подобрался разношерстный.

Кружком сидели бородатые дядьки в порыжевших на плечах черных свитках. Были они не то чтобы дальние — из Соловской волости за Стародубом. По-домашнему, положив возле себя на жухлую траву ржавые, видно недавно откопанные из земли ружья, они вели негромкий разговор о том, какой хороший урожай удался в этом году и какая бы от него была польза хозяйству, кабы не проклятый оккупант, «бодай ему уси чорты».

Особняком держалась группа бывалых фронтовиков, все лето партизанивших в городнянских лесах и теперь с боем пробившихся в нейтральную зону к Щорсу. Хотя и выглядели они оборванными и утомленными, оружие у всех было исправное. Даже принесли они с собой два ручных пулемета, отбитых у немцев при переходе демаркационной линии под Лыщичами.

Всяких людей можно было увидеть тут.

Молодые, еще не обстрелянные хлопцы, завидуя, толпились вокруг высокого парня в зеленом плюшевом френ-

че с широченными карманами. Из-под его лихо сдвинутой набекрень кепки свисал до самых бровей кучерявый чуб. Через плечо на черном лакированном ремешке болтался обрез от легкой японской винтовки. К поясу была подвешена большая фугасная бомба на деревянной ручке и кривой артиллерийский тесак — бебут. Небрежно отставив ногу и заложив руки в карманы широких галифе, парень что-то рассказывал, презрительно обрывая каждого, кто пытался вставить в разговор свое слово.

— Потому у нас просто: раз, два — и ваших нет, — доносился до Яковенко его хриповатый сорванный голос.— Голову оторвем — и баста...

Мало кто заметил, как на крыльцо большого деревянного дома, где помещался штаб Богунского полка, вышел невысокий темнобородый человек в кожаной куртке. С минуту он молча рассматривал собравшихся, потом громко сказал:

— Здравствуйте, товарищи!.. Я Щорс. Ко мне пришли?

— Доброго здоровьечка, Микола Александрович! — отозвался, поспешно поднимаясь на ноги, сидевший неподалеку на дубке кряжистый седоватый селянин.

Коротким привычным движением охотника он взбросил за плечо двустволку и подошел к крыльцу.

— Здравствуй, Василь Моисеевич,— приветливо сказал Щорс, здороваясь за руку со своим знакомым.— Все-таки не пришлось дома отсидеться?..

— Как же, отсидишься, черта с два. Боялся, как бы за меня кто жито не покосил, а вышло — сам своими руками для вражины убрал. Гнать их всех, сукиных сынов, с Украины пора да советскую власть устанавливать...

— А разве я тебе, Василь Моисеевич, не это самое говорил? — усмехнулся Щорс. — Ну, и то добро, что своим умом дошел. Справедлива пословица: дядько наш хоть и сер, да ум у него черт не съел...

Он оправил ремень маузера и заговорил, окидывая собравшихся быстрым внимательным взглядом:

— Что ж, товарищи, будем знакомы. Сейчас начнем запись. Только хорошо ли вы подумали, зачем идете в Богунский полк? Знаете, жизнь у нас какая? Случается, что и мяса на обед нет, а хлеба всего полфунта на человека. Дисциплина суровая, потому что революция того требует. За выход из боя без приказа командира расстреливаем, как за измену... Может, кому из вас будет не по душе это?.. Так не неволю. Пускай уходит сразу. Нам трусов да анархистов не надо...

Подтянутый, стройный, он сошел с крыльца, легко и твердо ставя ноги в мягких хромовых сапогах, и была в его походке такая же красивая подобранность, как и во всей его повадке.

Сперва Щорс подошел к фронтовикам.

— Городнянские? — переспросил он. — Наслышан, наслышан о ваших подвигах... Э, да меж вами и «пожарники» есть...

Присев на корточки, осмотрел, исправны ли пулеметы, и, оставшись доволен, весело сказал:

— Побольше бы нам надежных пулеметчиков, с ними нетрудно любой пожар погасить, хоть будет он от желтых полей до самого голубого неба...

Щорс намекал на желто-голубой флаг украинских «самостийников».

Кругом заулыбались: Щорсова шутка понравилась.

Зорко оглядывая столпившихся вокруг него людей, он, как бы между прочим, спросил:

— Старослужащие есть?

Теперь очередь дошла до соловских дядьков, среди которых оказалось два бывших драгуна-однополчанина.

Щорс подробно расспросил их, где и когда они служили. Поинтересовался номером полка и фамилией командира.

Покончив с расспросами, сказал не то в шутку, не то всерьез:

— Вояки добрые, только где же кони ваши?

— Коней нет. Безлошадные мы...

— Ну, не беда, коней в бою возьмете, — промолвил Щорс таким уверенным тоном, словно именно так оно и должно быть.

Взгляд Щорса задержался на высоком чубатом парне.

— А ты какой части будешь?

Не вынимая изо рта папиросы, тот ответил снисходительно, сквозь зубы:

Не то не видать, что кавалерия?..

Так... так... — сказал Щорс, с усмешкой разглядывая его живописный френч.

И вдруг, нахмурясь, строго спросил:

— А шенкеля[1] где же?

— Чего? — растерялся парень, видя, как заулыбались старые кавалеристы.

---

[1] Шенкель — внутренняя сторона ноги всадника от колена до ступни.

Отвечать на вопрос: где шенкеля? — не давал ему опомниться Щорс.

— Ну, какой разговор. Шенкелев при себе не ношу, — сердито сказал парень.

Смех вокруг него взорвался так дружно, что он сразу скис и будто бы ростом даже стал поменьше.

— Ему шенкеля собаки поотгрызали,— весь сотрясаясь от басовитого хохота, выговорил бородатый драгун.

— У марухи на печи забыл...

— Ох, и насмешил, чертов вояка...

Не улыбнувшись, Щорс выждал, пока стихло общее веселье, и сказал, жестко выговаривая каждое слово:

— Можешь идти!.. Нам в Богунском полку жоржики не требуются...

Резко повернувшись, он очутился лицом к лицу с Яковенко, и тот увидел в его ярких серых глазах еще не потухшую ярость.

— А вы зачем пришли?

— Сражаться за революцию, — поспешно ответил Яковенко давно сложившейся для этого случая фразой.

— А умереть за революцию не побоитесь?

— Нет, — сказал Яковенко, сбиваясь с приподнятого тона и чувствуя, что начинает краснеть под испытующим взглядом Щорса.

— Как зовут?

— Григорий Никифорович Яковенко.

— Образование имеете?

— Кончил четыре класса ремесленного, потом сдал экзамен на телеграфиста.

— Родители живы?..

— Матери нет. Отец в Пирятине машинистом служит... В другой раз женат.

Ответив так, Яковенко потупился, и Щорс, видно поняв, что коснулся больного места, заговорил о другом, теперь уже помягче:

— Молоды вы еще очень. Может, лучше бы на работу куда устроились?

«Вот привязался», — подумал Яковенко.

— Мне девятнадцатый год, — с досадой ответил он.

— Однако под пулями не были?

— Зато под шомполами был! — невольно повышая голос, сказал Яковенко и в упор поглядел на Щорса.

— Вот как, — будто бы удивился тот. — Выходит, вы там, у оккупантов, уже... прописаны... — И в голосе его Яковенко почувствовал теплоту. — А за что?

— За забастовку

— Пойдете к Зубову,— сказал Щорс.

У Яковенко даже дыхание перехватило от этих слов. Из славного Богунского полка его, как мальчишку, отсылают к какому-то Зубову. Такой несправедливости от Щорса он не ждал.

— На черта мне Зубов сдался!.. Я к вам служить пришел! — крикнул он, не сдержав себя.

Щорс дружески взял его за локоть.

— Зубов у нас в Богунском полку командиром второго батальона,— объяснил он.— Отборный батальон, вы не сомневайтесь.

2

Долго потом Яковенко, встречаясь со Щорсом, испытывал чувство неловкости за свою несдержанность в то утро. Но Щорс держался ровно, ничем не напоминая ему об этом случае. И у Яковенко крепло зародившееся еще при первой встрече свойственное молодости чувство восторженного восхищения этим человеком.

Замечал Яковенко, что не только он, но и окружающие его бойцы относятся к своему командиру, несмотря на его требовательность и внешнюю суровость, с большой дружеской привязанностью.

Сколько всяких разговоров и рассказов про Щорса, порой таких, что не сразу разберешься, на самом ли деле то было или могло бы только быть, понаслушался он от своих новых товарищей по Богунскому полку.

Чаще, чем о чем-либо другом, заходила у бойцов речь о храбрости командира полка. Многие из них считали, что совсем неведом страх этому человеку, так как никто не помнил случая, чтобы растерялся Щорс в трудную минуту и как-нибудь унизил свое командирское достоинство. Напротив — всегда дерзко шел навстречу опасности, будто верил, что не посмеет смерть тронуть его.

Было у Щорса в Богунском полку несколько бойцов из местечка Семеновки, что на Черниговщине, неподалеку от Сновска. Вместе с ним дрались они против оккупантов еще в черные мартовские дни, когда по шляхам Беларуси и Украйны гадюками расползались кайзеровские полки, захватывая многострадальную приднепровскую землю, запроданную немецким империалистам Центральной Радой. Так вот, эти семеновцы в один голос рассказывали, как жестоко бил Щорс зазнавшихся оккупантов у Речицы, Злынки и

Новозыбкова, как не раз, укрывшись в придорожном леску со своими хлопцами, пропускал мимо себя без выстрела кавалерийский разъезд, который обычно шел впереди вражеской походной колонны, и, дождавшись, когда приблизится уверенная в своей безопасности немецкая пехота, внезапно открывал по ней с ближней дистанции губительный пулеметный огонь. А когда ошеломленный противник, понеся немалый урон, развертывался наконец в боевой порядок и начинал по всем правилам своей немецкой науки наступление, Щорс без потерь уходил от него, пользуясь оврагами и перелесками.

Известно было бойцам и то, что летом Щорс два месяца пробыл в Заволжье, где Красная Армия вела борьбу с войсками белогвардейско-эсеровского «Комуча»[1]. Рассказывали, будто прославился он там своими смелыми разведками, а однажды, задержанный офицерским патрулем, ушел от неминуемой смерти, вскочив в проезжавший мимо автомобиль, — патруль открыл стрельбу, и перепуганный шофер, спасая свою жизнь, на полном газу вылетел за село, где ожидал Щорса его отряд. От разных людей слышал Яковенко эту историю, однако так ли оно было или иначе, никто толком знать не мог, потому что Щорс не любил похваляться своими подвигами.

Но был и такой случай, о котором хорошо было известно всем. Произошло это уже здесь, в Унече, недели за две до прихода в полк Яковенко.

Разный народ стекался со всех сторон сюда, и не всегда сразу можно было распознать, кто чем живет и чем дышит. Забредали в Унечу и анархисты, и эсеры всех мастей, и просто любители легкой жизни. Засылала своих агентов и державная варта. Вся эта шатия быстро спаялась между собой и начала исподтишка гадить, всячески подрывая в полку воинскую дисциплину. Распускала слухи, будто Щорс белый офицер, «контрик», что хочет он вернуть старорежимные порядки, поставить над бойцами мордобоев-фельдфебелей, обманом отдать богунцев под начало царским генералам. Щорс как раз в это время вводил в полку регулярные строевые занятия, что было не по душе иным бойцам, уже привыкшим к партизанской вольнице. Поэтому находились среди них такие, кто охотно развешивал уши, слушая эту брехню. Вот так и дошло дело чуть ли не до мятежа.

[1] Комуч — «Комитет членов учредительного собрания». Так называлось образованное в июне 1918 года в Самаре белогвардейско-эсеровское правительство.

Те, кто верховодил всей этой заварухой, видно, неплохо знали свое подлое ремесло и время выступления выбрали самое подходящее: Щорс второй день лежал больной у себя на квартире, второй батальон Зубова и пулеметная команда Кащеева с утра ушли в лес, к кордону, версты за три от Унечи, на учебные стрельбы, а коммунисты, которые оставались в полку, собрались в железнодорожном пакгаузе послушать приехавшего из политотдела дивизии докладчика о текущем моменте. В это время заговорщики и решили действовать. Чтобы посеять панику, они открыли в разных концах поселка беспорядочную стрельбу. Пакгауз, где проходило партийное собрание, был обстрелян из ручного пулемета. Эсеровские горлопаны побежали по ротам, пытаясь вывести еще не разобравших, что происходит, бойцов при оружии на улицу. А самые отчаянные вломились в дом, где квартировал Щорс.

Был у них расчет — захватить врасплох командира полка и, прежде чем подоспеет к нему подмога, разделаться с ним. И кто знает, как повернулись бы события, если бы Щорс проявил хотя какую-либо растерянность, увидев ворвавшихся к нему вооруженных людей. Но он, спокойный, вышел к ним навстречу и, став в дверях, загородил вход в свою комнату.

— Что скажете? — спросил он.

И то, что Щорс не испугался и заговорил с мятежниками строго, как подобает начальнику, который знает свою власть и силу, на какую-то минуту смутило их. Они молча толпились в кухне, выталкивая вперед один другого.

— А ну, сдавай печать! Откомандовался!.. — крикнул наконец кто-то, стоявший позади других.

— Печать? Хорошо, сейчас, — сказал, нисколько не удивясь, Щорс.

Так же спокойно он повернулся и прошел обратно в комнату, закрыв за собой дверь. Заговорщики по-прежнему толклись в кухне, и никто не решался первым последовать за ним. Но Щорс сам снова распахнул дверь и появился перед ними с гранатой-лимонкой в руке.

— Геть отсюда! — крикнул он, и столько решимости и ярости было в его голосе, что тех будто ветром вымело на улицу.

Конный разведчик Савченко, который в тот день дежурил при штабе полка, увидев, что здание, где помещается штаб, начинают оцеплять вооруженные люди, вскочил на коня и под выстрелами ускакал в лес, к кордону, где проводил стрельбы второй батальон под командой Зубова.

Спешно вернувшийся в Унечу второй батальон быстро навел порядок. Комбат Зубов собственноручно уложил из нагана двух особо рьяных мятежников. Остальные побросали оружие и на другой день были судимы ревтрибуналом.

Так вот, бойцы по-разному думали, почему никто из ворвавшихся к Щорсу бандитов не решился выстрелить в него. Одни объясняли это тем, что мятежники струсили, увидев перед собой комполка раньше, чем ожидали, но другие склонны были считать, что дело тут не так просто.

Яковенко не раз слышал, что у Щорса «пронзительный» глаз и что он может без ошибки угадывать чужие мысли. Бойцы утверждали, будто такой дар у него — посмотрит и прямо в душу к тебе заглянет. И не пробуй, упаси боже, соврать ему что-либо или слукавить — только сраму наберешься перед людьми.

Говоря так, частенько поминали бойцы Петра Салипу из пулеметной команды Кащеева. Был Салипа роста в сажень и силу имел медвежью. Взвалит себе шутки ради на спину пулемет «максим» и хоть бы что, идет — посмеивается. Но зато и лодырь был первой степени.

Чуть строевые занятия — нет Салипы. Уже Салипа в околотке. Держится обеими руками за живот и чуть не криком кричит. «Резь,—говорит,— у меня в нутре. Лучше мне помереть, чем терпеть такие муки». Фельдшера Волосевича в пот вогнял, так это у него натурально получалось. После сам хлопцам признавался: «У меня дед животом болел, от живота и помер. Так я до тонкостей в этой хвори разбираюсь». И верно, у Волосевича даже сомнения насчет его болезни не было. Даст ему успокоительных капель и скажет: «Ступай, отлежись». А Салипе того только и надо...

Впрочем, не один Салипа был таким любителем медицины. Спервоначалу в околотке всегда бывало людно: у того в грудях заложило, у этого второй день голова болит — на божий свет смотреть неохота, у третьего в поясницу вступило — не разогнуться. А все строевые занятия виноваты. Каких только болезней хлопцы не придумывают, чтобы от них отвертеться. Волосевичу — тому разобраться трудно: фельдшер он военного времени, ускоренного выпуска.

И вот однажды, когда в околотке была особенная толчея, пришел туда Щорс. Честь-честью поздоровался с бойцами и объявил: «Поскольку товарищ Волосевич с работой не управляется, придется мне сегодня ему пособить. А что-

бы ни у кого сомнений на этот счет не было, сообщаю, что окончил я Киевскую военно-фельдшерскую школу, о чем имею документ, по всем правилам заверенный подписями и печатью». Надел халат, достал из кармана трубку, которой доктора нутро прослушивают, и взялся за дело. Волосевич только успевает записывать: этому поставить банки, этому дать слабительного, а этого субчика на трое суток на гауптвахту под арест за симуляцию... Глядь, в околотке сразу поредело. Те, кто поближе к дверям стояли, сами не заметили, как очутились на дворе.

Доходит Щорс до Петра Салипы. Волосевич докладывает: «По всем признакам язва желудка, хотя имею подозрение и на глистов». А Щорс будто бы только посмотрел в глаза Салипе и говорит: «Жаль мне вас, товарищ Салипа, мог бы выйти из вас геройский боец, но придется мне, видно, направить вас в трибунал, как дезертира». Тут Салипа не стал уже запираться. «Виноват, — говорит, — товарищ комполка, затмение нашло!» — «А теперь что же — прояснилось?» — спрашивает Щорс. «Вроде как прояснилось».— «Ну, тогда ступайте, и больше чтоб я вас здесь не видел».

— Ведь так оно было, Петро? — спросил однажды, дойдя до этого места, рассказчик самого Салипу, который как раз случился при этом.

— В точности,— согласился Салипа.— Только Щорс меня еще поперед про капусту спросил.

— А ну, ну, расскажи!

— Да чего тут рассказывать. «Вы,— говорит,— не пробовали квашеную капусту либо малосольные огурчики натощак есть? Хорошо от той язвы помогает». А я и скажи: «Пробовал, товарищ Щорс. Действительно, сразу облегчение дает...»

Вот таких рассказов про Щорса было в Богунском полку хоть отбавляй. Все они показывали, что бойцы любят своего комполка, верят в него и даже склонны приписывать ему такие свойства, каких вовсе не дано человеческой природе.

3

Вскоре довелось Яковенко услышать и от Василия Моисеевича, того самого кряжистого седоватого селянина, который в один день с ним прибыл в Богунский полк, рассказ, как состоялось его знакомство со Щорсом, как вздумал было он учить Щорса уму-разуму, да вышло так, что вроде сам дураком перед ним оказался.

Рассказывал Василий Моисеевич неторопливо и обстоятельно, и по всему было видно, что эта встреча со Щорсом оставила в его душе глубокий след.

Было то в конце лета в родном селе Василия Моисеевича Чернотичи, что расположено неподалеку от известного на всю Черниговскую губернию Корюковского сахарного завода. Вышел в тот день, как обычно, Василий Моисеевич на утренней зорьке справлять дела по хозяйству. Доходит до края подворья, где у самых приречных лозняков стояла старая клунька. Глядит — дверь в клуньку приоткрыта, хотя сам подпер ее с вечера колом. Стоит Василий Моисеевич и думает: либо войти, либо нет? А вдруг лихой человек забрел,— мало их теперь по свету шатается? Тут кто-то говорит изнутри: «Заходи, дядько, не бойся». Ну, он и зашел. Лежат на сене двое хлопцев, обличье незнакомое. У одного черные усики, глаза как вишни, а сам какой-то дурашный, видать, что шалтай-болтай, такому только девчатам головы крутить. А другого сразу и не поймешь, что за человек. Смуглявый, глаза серые, острые, смотрит на тебя, будто ответа ждет: за делом ты на свете живешь или только небо коптишь? А сам молодой. Годов двадцать пять,— больше, пожалуй, не будет... Василий Моисеевич спрашивает: «Вы что же это, хлопцы, хозяина не спытав, в чужую клуню забрались?» Тот, что с усиками, отвечает: «Не то мы тебе, дядько, сено перетолкли?» — «Перетолкли или не перетолкли — то разговор особый, а клуня все ж таки моя. Значит, непорядок». — «Жиловат ты, как я посмотрю, дядько. У тебя, видно, и снега зимой не выпросишь?..» — «А ты попроси, может, тебе и дадут»... Слово за слово, поцапались они с тем, который с усами. А второй лежит, смотрит на них, слушает да молчит. «Вот что, хлопцы, — говорит наконец Василий Моисеевич,— кто вы такие и какие ваши дела — мне до того интересу нет. Переспали ночь и идите с богом на все четыре стороны». Тут и вступил в разговор тот — второй. «А что, — говорит, — как у меня до вас, Василь Моисеевич, дело есть?» Удивился Василий Моисеевич: «Выходит, вы меня, хлопцы, знаете?» — «А почему бы нам не знать. Слух о вас далеко идет. Шутка сказать — самому пану губернскому старосте от ворот поворот дали. На такое не у каждого смелости хватит...»

Это была правда. В прошлом месяце черниговский губернский староста Высоцкий в сопровождении гайдамацкой сотни делал объезд своих владений и, разопрев на жаре, велел кучеру завернуть на отдых в приглянувшееся ему зеленое тенистое подворье при въезде в село Чернотичи.

Но Василий Моисеевич ворот перед высоким начальством не открыл, а сказал, хмуро глядя себе под ноги: «Уж вы извиняйте меня, ваша милость,— не знаю по чинам как вас величают,— только принять я вас у себя не могу. Хата у меня не белена, сени не метены, сам я сер, и дух от меня тяжелый, бо с малых лет я как тот жук в навозе копаюсь». Кинулись было гайдамаки с плетьми к строптивому дядьку, но пан Высоцкий, скривясь от злости, только рукой махнул и приказал гнать лошадей дальше, не задерживаясь больше в Чернотичах.

Про этот случай и завел речь неведомо откуда взявшийся гость Василия Моисеевича, а тот, услышав, вроде как бы застеснялся. Что ни говори, приятно, когда даже незнакомый человек тебе по заслугам твоим уважение оказывает. Однако заметил: «Так то ж пустяки. Мало чего люди набрешут». А гость в ответ: «Вы не прибедняйтесь, Василь Моисеевич. Народ — он судья справедливый, зря не похвалит и зря не осудит». — «То так, — согласился Василий Моисеевич и поспешил замять смущавший его разговор. — Так какое же у вас до меня дело, хлопцы?» — спросил он. «Дело-то оно простое, только теперь не знаем, говорить или нет». — «А вы все же таки скажите». — «Шли мы с товарищем на заработки в Корюковку, да остыл я дорогой, и получилось со мной приключение: открылась на ноге рана, что заработал я на германском фронте в империалистическую. Вот мы и подумали: а не зайти ли нам до Василия Моисеевича, — коли не любит он панов да большого начальства, то своему брату, рабочему человеку, наверное, даст приют. Только, похоже, ошиблись мы, — норов у Василия Моисеевича как у того медведя-бирюка, что залез в свою берлогу и знать никого не хочет: не подходи — задеру». — «Вот это уж напраслина, хлопцы, — говорит Василий Моисеевич. — Кто ко мне по-хорошему, тому и я хороший. А начальство, верно, не терплю, бо пока есть у меня вот эти руки, а на руках мозоли, сам я себе пан и сам я себе начальник». Повел он их в хату. Дорогой спрашивает: «А вы чьи же такие будете? Издалека?» Отвечает ему тот, что с раненной ногой: «Звали меня, когда был хлопцем, Колькой, а теперь зовут люди Николаем Александровичем. Может, когда бывали в Сновске, доводилось вам слышать про машиниста Щорса, так то мой батько. А товарищ мой тоже сновский. Зовите его Сашком, он еще молодой, не обижается». Вот так познакомились они. И прожил Щорс со своим товарищем у Василия Моисеевича, считай, дней десять, пока затянулась его рана. Много разговоров было за

это время у них, не раз и до спора доходило, потому что был Василий Моисеевич из тех людей, которые словам мало дают веры,— все им надо либо в руках подержать, либо своими шагами обмерить. Словно добрый конь, тянул человек в жизни свою борозду, в сторону не забирал, чужих понуканий не слушал. Сам по себе хотел свой век прожить. И, может, до поры до времени оно и гладко у него получалось, потому что разумом и здоровьем бог его не обидел. Однако недаром говорится: из одной головни костра не сложишь, а одной рукой очкура[1] не развяжешь. Так где же одному человеку своротить гору, когда бы вдруг надвинулась та гора на его хату. Об этом и вел Щорс речь, сперва исподволь, а потом все прямее и прямее. Василий же Моисеевич упорствовал. «Я, — говорит, — за людей не ответчик. Люди — что просо, возьми в жменю — вроде твердо, а разожми — рассыплются по зернышку. Так как же ты хочешь, Микола Александрович, чтобы я за всех страждал? Ты вот пытаешь меня — как я понимаю, — ворог мне германин или нет? Ворог, прямо скажу, что ворог. За то ворог, что по моей земле незваный-непрошеный ходит. Ты мне в том поверь, Микола Александрович, что не разживется он у меня не то что пшеничкой, а и цвелого позапрошлогоднего сухаря. Да что говорить — трухлявой доски на гроб не дам, когда помирать будет. Нет, не прижиться ни немецкому захватчику, ни Скоропадскому на нашей Украине. Я так рассуждаю: они вроде как стихийное бедствие, градобитие, что ли. Однако ты смотри, как грозовая туча идет? Всегда полосою. Тут, скажем, начисто хлеба побило, а рядом стоит жито в полный рост, и горя ему мало. Не хватит у той тучи силы, чтобы все как есть сокрушить. Так чего же я побегу на чужое поле голову под град подставлять, когда стороной от меня туча идет? Лучше я от своего достатка соседу допомогу. Так вот и с немцем: нет мне в том расчету, чтобы в драку с ним ввязываться, раз он мимо меня прошел. Недолог его век на нашей батьковщине: подует ветер, разъяснится небо, и словно бы той тучи и в помине не бывало. А я жить буду, как жили батько мой и дед. Корень наш глубоко в землю ушел, и коротка у вражины рука, чтобы его вырвать».

Щорс спрашивает: «А как по-вашему, Василь Моисеевич, откуда тот ветер возьмется?» — «Какой ветер?» — «Да что немецкую тучу разгонит». — «Про то не нам знать». —

---

[1] Очкур — шнурок, стягивающий шаровары в поясе.

«Ишь ты! А кто же за нас знать будет? Перед самим собою лукавите, Василь Моисеевич...»

Вот такие разговоры бывали у них, и хотя упорствовал Василий Моисеевич, однако, видно, не без следа проходили для него Щорсовы слова. Когда стали собираться в путь его гости, сказал он им на прощание: «Говорил я уже вам, хлопцы, что до того, какие у вас дела, мне интересу нет, а все ж таки видать, что дела ваши не простые. Сказали вы мне, что в Корюковку на заработки идете, пускай будет так — я не любопытный. Только я вот что скажу тебе, Микола Александрович: когда бы случилась еще нужда тебе или твоим товарищам переночевать у надежного человека, угол в моей хате всегда найдется. А что касаемо всего прочего, не обессудьте, мое дело — сторона».

«Спасибо и на том, Василь Моисеевич, — сказал тогда ему Щорс. — Таиться от тебя я не буду. Твоя правда — неспроста я с приятелем по селам хожу да беседую с добрыми людьми. Поручено мне самим товарищем Лениным одно дело, а что то за дело, сейчас я тебе, Василь Моисеевич, не скажу, — придет время, услышишь. Вот и решил я походить промеж народа, со старыми друзьями повидаться, новых друзей найти, людских разговоров послушать, чтобы лучше я мог то большое дело, что поручено мне партией большевиков, исполнить. И вижу я — горит земля у оккупантов под ногами. Великая зреет буря, только не на небе она зреет, а на земле. В сердцах у людей она зреет, где жарче огня разгорается ненависть к врагу-чужеземцу и его наймитам. О том и подумай, Василь Моисеевич. Есть у меня предчувствие, что свидимся еще мы с тобой».

На том они и простились.

— И вот, понимаете, хлопцы, будто в воду смотрел тогда Щорс, не прошла все ж таки мимо меня беда,— и хлеб вражина подчистую вымел, а потом и хату мою огнем спалил, как уложил я из этой самой двустволки двоих сукиных сынов, что, поотстав от других, задержались на моем подворье. Хорошо еще, что успел я немного добра схоронить в надежном месте да отвезти жинку и деток к свояку под Пироговку, — заключил свой рассказ Василий Моисеевич.

— Дядько Василь, а про Ленина он, значит, сам вам сказал? — спросил Яковенко, когда, вздохнув от горестного волнения, замолк тот.

— Сам. Беседовал, говорит, я с Владимиром Ильичем, товарищем Лениным, и указал он мне дорогу к счастью трудящегося народа, с которой не сойду я теперь по самый гроб своей жизни...

Ленин. Была в этом имени для Яковенко такая великая сила человеческой правды, что не мог он произнести его без того, чтобы не дрогнул голос и не забилось частыми, полновесными ударами сердце. Ленин! Словно солнце вырывалось из-за туч, и стремглав бежала от него ночная тьма. Казалось, глянул ты на мир с высоты орлиного полета и увидел, как исчезло, слилось с землей все мелкое и случайное, что загораживало от тебя настоящую жизнь. И открылись перед тобой такие прекрасные, неотразимо зовущие к себе дали, что даже жизнь свою отдать ради них — неповторимое счастье для тебя.

С любовью и уважением думал Яковенко о командире революционного Богунского полка Николае Щорсе, потому что оказался этот человек достойным высокого ленинского доверия.

Порой даже начинало казаться Яковенко, что отличен Щорс от всех известных ему людей, что как не свойственны Щорсу присущие другим слабости, так же чужды ему и простые радости обычной человеческой жизни.

Лучше узнать и понять командира полка помог Яковенко следующий случай.

4

Шла вторая половина октября. Тревожно-ласковые дни запоздалого бабьего лета сразу сменились непогодой. С утра еще ясное небо заплыло к полудню вязкими серыми облаками. Заморосил дождь. Стволы сосен снизу почернели, словно обуглились. Мокрая хвоя податливо оседала под ногами.

Ночью с немецкой стороны пришел человек. Никто не видел, как он миновал передовые посты. Его заметили уже у штаба, когда он окликнул часового и попросил вызвать дежурного.

— Что надо? — спросил, выходя на крыльцо в накинутой на плечи шинели, командир четвертой роты Клименко, дежуривший в эту ночь по гарнизону.

— Щорса требуется повидать, — сказал неизвестный.

Клименко поежился от пронизывающей сырости, с досадой посмотрел на темневшую внизу долговязую фигуру и сказал, подавляя зевоту:

— Завтра приходи. Утром Щорс будет...

Он повернулся, собираясь захлопнуть дверь.

— Сейчас надо повидать,— сказал настойчиво неизвестный.

— Говорят тебе по-русски, что нет Щорса! — рассердился Клименко.— Тебе что, по-турецки разъяснять надо?

И еще больше раздражаясь при мысли, что теперь, видно, не скоро удастся подремать у потрескивающей сосновыми щепками печки-буржуйки, закричал:

— Да ты кто будешь? По какому делу?

Неизвестный молчал.

Клименко расстегнул кобуру и, нащупывая ногами скользкие ступеньки крыльца, начал спускаться вниз.

Неизвестный не двинулся с места. Стоял, заложив руки в карманы, и насвистывал что-то себе под нос, как будто его не касалось все это.

— Оттуда... из Клинцов... — сказал он, когда Клименко вплотную подошел к нему.

— Брешешь, должно быть. Тебя наши дозоры задержали бы...

— То пускай собака брешет...

— Покажь документы!

— Я сам себе документ.

— То еще как сказать.

— Варта у меня документы отобрала.

— Ишь ты!.. — сказал Клименко.— Придется, видно, заарестовать тебя, до выяснения...

— Дурак будешь,— не полез за словом в карман неизвестный.

— Это почему же?..

— Очень просто — дело срочное и секретное...

Клименко сдвинул на лоб фуражку и почесал затылок.

— Вот навязалась морока на мою голову,— сказал он, только теперь рассмотрев, что на плечах у незнакомца не было ничего, кроме промокшей до нитки сатиновой рубахи.

Он подозвал находившегося в наряде Яковенко, который, выйдя следом за ним на крыльцо, с любопытством слушал весь этот разговор.

— Гриша, своди-ка в чеку этого субчика. Кажись, там должен быть Щорс. Пускай сам с ним поговорит...

И, набросив на плечи незнакомца свою шинель, добавил:

— Ежели что, сдашь его там в клоповник. Только не забудь барахло мое обратно прихватить.

Дорогой Яковенко приглядывался к своему спутнику. Был тот молод, высок, худощав. Хотя и продрог до костей, шел посвистывая, с вызовом вскинув небольшую, красиво поставленную голову, будто только и ждал, чтобы задраться с кем-либо.

«Смотри-ка, чисто кречет», — подумал Яковенко, и ему вдруг захотелось дружбы этого неизвестного человека.

— Ты чего свистишь? — спросил он, чтобы как-нибудь завязать разговор.

— Такая у меня привычка.

— Вот так и просвистишь все на свете.

— Уже просвистел. Кроме головы на плечах, ничего не осталось,— ответил тот и снова принялся за свое.

На улицах было пустынно. Хлюпали лужи. Не успевшая глубоко промокнуть земля оскользала под ногами.

Неподалеку от дома, где помещалась чека, стоял человек.

— Щорс у вас, Иван Михайлович? — спросил Яковенко, признав в нем приходившегося ему однофамильцем заместителя председателя Унечской чрезвычайной комиссии.

— Здесь, — ответил тот и с полминуты чмокал губами, раскуривая отсыревшую папиросу.

Затянулся, смял между пальцами окурок и швырнул его себе под ноги.

— Смерть люблю такую погоду, — сказал он, разглядывая, как серест на мокрой земле янтарный огонек папиросы. — Сердце от нее на место становится...

— От сердца настой ромашки по утрам надо пить, — сказал вдруг спутник Яковенко.

Яковенко подумал, что Иван Михайлович сейчас рассердится, но тот только усмехнулся чему-то своему и скучным голосом спросил:

— Арестованного, что ли, привел?

— Нет... так... Поговорить ему срочно надо со Щорсом...

— Тогда зайдите...

Они прошли мимо часового в переднюю, полуосвещенную жаркими отсветами топившейся голландки.

— Подождите тут.

— Он, может, занят? — спросил Яковенко, зная, что Щорс иногда присутствует на допросах арестованных и заседаниях тройки.

— Нет, на сегодня он дела закончил, — сказал, снова чему-то усмехаясь, Иван Михайлович и ушел в соседнюю комнату, откуда смутно доносился разговор.

Потом за дверью стало тихо, и послышался голос Щорса.

Сперва Яковенко показалось, что Щорс говорит речь.

«Должно быть, партийное собрание»,— подумал он и, рассчитывая, что дожидаться теперь придется немалое время, поискал глазами скамью.

Но тут голос Щорса зазвучал так непривычно, что Яковенко невольно придвинулся ближе к двери. Была в голосе Щорса большая душевная тревога. Казалось, не то с горькой обидой сетует человек на чью-то несправедливость, не то старается разжалобить кого-то своим покаянным словом.

«Что за чертовщина? — чуть было не сказал вслух Яковенко, которому вдруг стало не по себе. — А может, это и не он вовсе?..»

Не раздумывая больше, он приоткрыл дверь.

Посредине комнаты, лицом к нему, опираясь рукой о спинку стула, стоял Щорс. Ничего особенного. Такой, как всегда. Разве только глаза какие-то удивительные, — смотрит человек просветленным взором прямо перед собой и не то видит, не то не видит, что делается вокруг.

И не речь говорил Щорс, а читал наизусть стихи:

Я мало жил, и жил в плену.
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.
Я знал одной лишь думы власть —
Одну — но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.

«Да это же «Мцыри», — сообразил Яковенко, чувствуя, как берет его за сердце голос Щорса.

Конечно, может, какому-нибудь строгому ценителю драматического искусства и не понравилось бы чтение Щорса. Может, сказал бы он, что нельзя декламировать стихи без мимики и жестов, да и интонации надо менять почаще, дабы переходы чувства были оттенены в должной мере, но Яковенко в ту минуту и в голову не приходило все это. От души шел голос Щорса, подлинная страсть, музыка животворящего слова звучала в нем, и, будто настроенную на ту же ноту струну, заставляла она отзываться и звучать что-то в груди Яковенко.

Находившиеся в комнате тоже были захвачены чтением Щорса.

Было тут не так много народу — человек десять, может, двенадцать: комбаты Кащеев и Зубов, политком Барабаш и другие близкие Щорсу люди — его товарищи по большо-

му и трудному делу, что поручила им в тяжкий час молодая Республика Советов.

В выдавшееся изредка вечером свободное время собирались они здесь. Пели «Варшавянку», «Смело, товарищи, в ногу», «Слезами залит мир безбрежный» и другие, зажигающие душу огнем, зовущие на смертный бой с врагом революционные песни. И украинские, протяжные, полные то буйной силы, то вековой тоски по воле, то любовной грусти, пели они. Рассказывали о виденном и пережитом, так как, хотя и молоды были все, каждому уже довелось немало повидать в жизни и не раз взглянуть в глаза смерти на крутом и опасном пути к заветной мечте своей, — том пути, который нельзя измерить ни верстами, ни годами.

Всех этих людей знал Яковенко, но осталось в его памяти в этот вечер только одно лицо смуглой черноволосой девушки, с глубокой нежностью смотревшей на Щорса широко открытыми, горячими и тревожными, как грозовая туча, глазами. Была это товарищ Фрума, девятнадцатилетняя председательница Унечской чрезвычайной комиссии, девушка-портниха из Речицы, ставшая солдатом революции, чья дорога сошлась здесь с дорогой Щорса, чтобы в дружбе, любви и верности сопутствовали они друг другу. Обо всем, казалось, забыла эта девушка, всей силой души своей стремясь запечатлеть в памяти лицо Николая Щорса таким, каким виделось оно ей в эту минуту.

И понял тогда Яковенко, глядя на Щорса и его подругу, что таились за суровой внешностью командира Богунского полка нерастраченные богатства простых теплых человеческих чувств и желаний.

Представил он себе, как по-мальчишески дурачится и шутит в домашнем кругу друзей своих этот человек. Как в обнимку гуляет по лесу с любимой, слушая робкие трели малиновки. Как, сидя посреди комнаты на полу, сам превратившись в дитя, забавляется с кудрявым ребенком. Наверно, хорошо, от души получалось бы все это у Щорса, если бы оставляла время для мирных человеческих радостей боевая жизнь командира-большевика, создавшего по приказу партии из партизанской стихии спаянный железной дисциплиной полк Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

И еще подумал он, что Щорсу всего-навсего двадцать три года и что командир полка не так уж намного старше его — Гриши Яковенко.

И голос Щорса нарастал и креп, наливался упрямой силой, звоном кованого металла наполнял комнату:

Меня могила не страшит,
Там, говорят, страданье спит
В холодной, вечной тишине,
Но с жизнью жаль расстаться мне.
Я молод, молод... Знал ли ты
Разгульной юности мечты!
Или не знал, или забыл,
Как ненавидел и любил,
Как сердце билося живей
При виде солнца и полей...

Щорс замолчал, словно выдерживал паузу. И вдруг удивленно улыбнулся, развел руками:

— Не припомню дальше, товарищи... А ведь знал. До самого конца знал... Честное слово.

— То Щорс? — услышал у себя над ухом Яковенко, совсем забывший о человеке, которого привел с собой. Смущенный, отступил назад, плотно закрыв дверь. — Ну да, Щорс... — сказал он, досадуя, что по его неосторожности увидел неизвестный человек такое, чего не следовало видеть постороннему взгляду.

Торопясь и путаясь, он начал разъяснять, что сейчас тут идет репетиция к спектаклю, который будут ставить для бойцов на той неделе в железнодорожном пакгаузе, и что это Щорс показывает любителям-артистам, как надо исполнять роль.

— Не трепись! — перебил неизвестный, дружески толкнув его под бок локтем. — Ты что думаешь — я чурка? Божий дар от яичницы отличить не сумею?

В это время к ним вышел Щорс, полный какого-то неуловимого сразу, светившегося в одних лишь глазах оживления и задора.

— В чем дело, друзья? — промолвил он таким тоном, словно вместо деловых разговоров хотелось ему обнять за плечи Яковенко и, озорничая, спросить как бы по секрету: «А ведь, правда, недурно писал Михаил Юрьевич?..»

— Товарищ комполка, из Клинцов человек перебежал до нас. Срочное дело лично к вам имеет, — начал докладывать Яковенко про своего поднадзорного, но тот, не дожидаясь, когда он кончит, сам выступил вперед:

— Шпака вчера варта забрала, товарищ Щорс...

— Якова Петровича? — переспросил, сразу темнея, Щорс. — Вы это точно знаете?

— Своими глазами видел. Должно быть, какая-то сволочь донесла...

— Жаль старика... — сказал в раздумье Щорс. — Нежданно это для него было?

— Нет, товарищ Щорс, видно, подозревал Яков Петрович, что дело неладно. Незадолго до ареста велел мне, коли с ним что случится, немедля пробираться к вам в Унечу и сказать, что сберег он все концы и находятся они, как было условлено, у Лариона...

Наступило молчание. Нахмурясь, вглядывался Щорс в лицо незнакомца, решая вопрос, можно ли ему верить.

— Ваша фамилия не Добья ли?

— Добья...

— Товарищ Яковенко, позаботься о нем, как о своем друге. А завтра проводишь ко мне в штаб. Точно к одиннадцати.

5

На другой день привел Яковенко Добью в штаб полка. Ждать пришлось недолго. Вскоре Добью вызвали к Щорсу.

Здороваясь, командир полка поднялся со стула, и Добья невольно полюбовался, как ловко сидит на нем простая суконная гимнастерка, перехваченная солдатским ремнем, — каждая складочка на месте, будто влитая.

Темная бородка оттеняла бледность смуглого от природы лица Щорса, придавая ему выражение суровой мужественности.

Долго беседовал Щорс с Добьей. Расспрашивал, что делается в Клинцах, много ли там сейчас немцев, что было написано в последних приказах военной комендатуры, какое настроение у рабочих Глуховской фабрики. Заставил Добью по порядку рассказать про арест Шпака, про то, как ему самому удалось уйти из-под носа у немцев, как и где переходил демаркационную линию. Похвалил Марусю и даже адрес ее записал, пообещав передать ей весточку от Добьи. Любопытствовал насчет Паперного — что за человек и какое у него занятие.

На прощание сказал, что определяет Добью во второй батальон к комбату Зубову, к которому ему и надлежит явиться сегодня же для зачисления в полк.

— Ну, какие дела? — спросил Добью дожидавшийся на крыльце штаба Яковенко.

— Послал к Зубову, — сказал Добья.

— То хорошо, — обрадовался Яковенко. — Лучший батальон в полку. Щорс сам туда людей отбирает. Просись

до нас, в четвертую роту. Хочешь, я с Зубовым поговорю?

— По мне — все одно, что к Зубову, что к беззубому,— пробурчал Добья.

— Ты что задираешься? — удивился Яковенко. — Какая тебя муха укусила?

— Такая! — отрезал Добья и стал по своей привычке насвистывать «Гей, пумо, хлопцы, славны молодцы».

И только, когда отошли они уже шагов за сто от штаба, сказал, как бы размышляя вслух:

— Не пойму что-то я того Щорса...

Но сколько ни бился с ним Яковенко, так и не дознался, чем же не понравилась ему беседа с командиром полка.

Смутно было на душе у Добьи. Иного ждал он от своего разговора со Щорсом. Думал, что, услышав про арест Шпака и про недавние расстрелы в Клинцах, поднимет тот свой славный Богунский полк и, как орел с неба, ударит на оккупантов. Отомстит за кровь казненных товарищей, выручит попавших в беду, сурово покарает Паллеца и прочих отщепенцев, продавшихся врагу.

Однако похоже было, что близится к концу беседа, но ни словом не обмолвился Щорс о своих намерениях. Спрашивал о том, о сем, порой записывал что-то на листочке бумаги. Некоторые из вопросов Щорса показались Добье вовсе пустяковыми. Большой, подумаешь, интерес знать ему, по-прежнему ли бывают в Клинцах по четвергам и воскресеньям базары, не подешевело ли жито и можно ли купить в посаде соли.

Хотя и горел Добья, как в огне, от обуревавшего его нетерпения, но крепился и на все вопросы отвечал обстоятельно. Сказал, что базары бывают по-прежнему, но торговли особой нет, так как не хотят люди брать марок и гривен, а ездят в город больше из любопытства, посмотреть, как и что. Жита либо там муки на базар вовсе не возят, и потому приходится клинцовским жителям самим ходить по окрестным селам и выменивать хлеб на всякое барахло. Соли тоже достать трудновато. Когда, случается, и привозят ее спекулянты из Бахмута, то дерут за нее три шкуры.

Сказал и, не выдержав больше, спросил:

— Как Шпака будем выручать, товарищ Щорс?

Щорс несколько помедлил с ответом.

— Все, что возможно, мы для Шпака сделаем, — сказал он.

— Когда ж это будет? Скорей надо...

— Сперва выясним причины провала. Иначе глупостей наделать можно.

— Так это я хоть завтра в Клинцы смотаюсь, все разузнаю, — предложил Добья.

— Нет, вам нельзя. И сами попадетесь, и, чего доброго, еще кого-нибудь из наших людей провалите.

Щорс нахмурился, и Добья испугался, что комполка совсем оборвет разговор.

— Знаете, что я вам скажу, товарищ Щорс? Немедля ударить по Клинцам надо. Так, чтобы немец и не очухался, — в открытую брякнул он то, что давно уже было у него на уме.

Щорс откинулся на спинку стула и внимательно посмотрел на Добью горячим взглядом серых, обведенных густой синевой глаз.

— Есть у нас обычай в Богунском полку, — сказал он, раздельно произнося каждое слово, — товарищей в бою не бросать — сам умри, а товарища из беды выручи. И еще есть у нас святой закон, точнее сказать — присяга для каждого из нас: превыше всего ставить интересы революции и беспрекословно подчиняться самими же нами установленной дисциплине. Выполняют этот закон у нас все — от командира полка до любого рядового бойца, ставшего под Красное знамя.

Щорс замолчал, и Добья не сразу нашелся, что ответить, потому что было ему не по себе от прямого, испытующего взгляда командира полка. Однако собрался с духом и, упрямо мотнув головой, сказал:

— Коли вы опасаетесь чего, товарищ Щорс, дайте мне сотню надежных хлопцев, и я все дело сам сделаю.

Щорс усмехнулся, чуть приподняв свои черные, стремительно изогнутые брови.

— Горячее у вас сердце. Это хорошо. Только видели вы, должно быть, сами не раз, что порох сгорает на воздухе, не оставляя следа, а засыпанный в патрон с сокрушительной силой бьет пулей в цель и разит врага наповал.

Он снова помолчал, присматриваясь к Добье, и добавил:

— Впрочем, может, вам не нравится наша дисциплина? Тогда подумайте: по пути ли вам с нами?

Добья, насупясь, ответил, что думать ему нечего и что дорога у него с богунцами одна. Щорс написал записку комбату Зубову и, подавая ее, мягко сказал:

— Ступайте, товарищ Добья, осмотритесь; привыкнете к нашим порядкам, — тогда легче будет вам разбираться в том, что делается вокруг.

6

Вот и нашел себе Гриша Яковенко приятеля. Как-то сразу потянуло их с Павлом Добьей друг к другу. Может, потому, что однолетки были и имели сходные привычки, так как оба выросли в рабочих семьях. А может, и потому, что слишком разные были характерами, — это тоже сближает людей.

Узнав, какое у Добьи горе, Яковенко всячески старался отвлечь товарища от тяжелых, беспокойных дум и заставить поверить в благополучный исход клинцовской истории. Однако плохо удавалось это ему.

Очень огорчало Яковенко то затаенное в самой глубине души недоверие, с каким смотрел Павло Добья на командира полка. С первой встречи поверил Яковенко в Щорса, и еще ни разу не рождалось у него сомнения в том, что говорил и делал этот человек. У Добьи же получалось по-иному. Чувствовал это Яковенко, хотя ни словом больше не обмолвился с ним Павло о своем разговоре со Щорсом.

Меж тем шел день за днем.

Не сразу дознался Павло Добья, какая она такая боевая жизнь. Спервоначалу пришлось ему свыкаться со строгими воинскими порядками, какие были заведены Щорсом в Богунском полку: вставать до рассвета, не жалея ног приниматься за маршировку, изучать стрелковый и штыковой бой, с полной выкладкой делать по двадцать, а то и по тридцать верст, не считаясь с тем, хлюпает ли грязь под ногами или сечет лицо ледяной осенний ветер. А если пришел черед, то нести еще и ночной караул по всем правилам гарнизонной службы.

Не из ленивых был Добья. И холода и голода не боялся он. Только с сердцем своим поделать ничего не мог и потому без охоты, насилуя себя, выполнял все то, что приказывали командиры. Казалось ему, ни к чему сейчас вся эта шагистика, стрельба по деревянным мишеням, подробные разборы действий роты после тактических занятий...

Рукой подать до Клинцов, а вот нет туда дороги, словно надвое раскололась земля и бездонная пропасть легла между ним и теми, к кому рвалось его сердце.

Тоска томила Добью. По-сыновнему любил он старого

Шпака, и нестерпимо было ему думать, что беззащитен и одинок тот перед лицом врага и не в силах он, Добья, протянуть ему руку помощи. А когда вспоминал о Марусе, горячая кровь ударяла в голову и вдруг с болью отливала в сердце, — столько опасностей окружало ее в занятых немцами Клинцах.

Не умел таиться Добья, и начистоту выложил Щорсу все, что накипело на душе.

Случилось это неделю спустя после прихода в полк.

Перепали холодные дожди. На смену им снова пришла ясная погода. Но уже хрустела под ногами звонкая, как стекло, ледяная корочка, затягивая по утрам лужи; поблекла и далекой сделалась синева холодного неба; немолчный шорох падающей листвы стоял в попросторневшем, будто раздавшемся вширь лесу.

Щорс отдал поводья сопровождавшему его конному разведчику Савченко и, присев на замшелый пенек, смотрел, как решает боевую задачу четвертая рота.

Должно быть, на осеннем хмеле был настоен в тот день лесной воздух. Молодая сила переполняла Добью. Казалось, нет для него на всем свете никакой преграды,— захотеть только, и все будет по-твоему.

Рота цепью наступала на поросший березняком пригорок, где окопался условный противник. И когда поднял командир взвода матрос Василий Кочетков своих бойцов в штыковую атаку, вырвался вперед саженными скачками Павло Добья и, точно на крыльях, взлетел по крутому склону на самый гребень холма, где среди белых стволов рдела на солнце огненными кистями молодая калина.

Крепко и молодо стучало сердце, жаркое дыхание распирало грудь, и радостно было сознавать, что ты — первый, и глядеть, как карабкаются на пригорок отставшие от тебя товарищи.

— Ну и длинноногий ты черт, Добья. Не угонишься за тобой, — сказал, отдуваясь, Кочетков.

Он перевел дух и, приложив ко рту ладони, крикнул протяжно:

— О-о-отбо-ой!..

Подошел Щорс. Выслушав рапорт командира роты Клименко, спросил, оглядывая разгоряченных бойцов:

— Как оно, хлопцы, — не трудно было брать высотку?

— И не такую возьмем, товарищ Щорс. Только бы до врага добраться, — ответил Гриша Яковенко.

Щорс одобрительно посмотрел на него.

— Нетерпится мастеровому, — сказал он.

«Да что он на самом деле — смеется, что ли?» — подумал Добья, чувствуя, как в груди у него что-то загорелось от таких слов.

— Разрешите сказать, товарищ начальник! — промолвил он, выступая вперед.

— Давайте, — ответил Щорс и, будто не замечая горячности бойца, добавил, обращаясь к командиру роты: — Я думаю, полчас можно будет провести тут — подходящее местечко.

— Детскими игрушками занимаемся, товарищ Щорс! — все больше горячась, выкрикнул Добья. — А под боком, в Клинцах, оккупанты людей мордуют, в могилу безвинно сводят...

И сам удивился, как вдруг стало тихо кругом.

Крылатые брови Щорса дрогнули не то от гнева, не то от сдерживаемой усмешки.

— Так. Значит, считаете вы, что пустым делом мы здесь занимаемся. Кто еще так думает, товарищи?

Бойцы молчали, но чувствовалось, что слова Добьи задели всех за живое. Кочетков хмурился, широкие скулы его медленно двигались под изрытой мелкими оспинами кожей, будто он силился разжевать что-то твердое, застрявшее в зубах.

— Может, еще кому-нибудь из вас охота не воевать, а на кулачках биться? — сказал Щорс, пристально оглядывая притихших бойцов. — Наложил вражескому солдату по шее, выгнал за свои ворота, лежи на печи, плюй в потолок... А что тот с соседа штаны снимает, то дело мое маленькое... Вот, например, товарищи, Добье очень не по душе, что в Клинцах бесчинствуют немецкие оккупанты. Кто будет спорить — лучше бы этой сволочи там сроду не было. Справедливо и то, что хочет Добья сполна заплатить незваным гостям за все обиды. Но вот похоже, что только на этих самых Клинцах для Добьи свет клином сошелся. Не хочет он знать, что в Чернигове, и в Киеве, и в Гомеле, и на Волыни тоже оккупанты. Почему же только о Клинцах помнит Добья? Да потому, что друг у него в Клинцах в переделку попал, да еще, скажем, между нами, дивчина у него, вроде как бы невеста, там осталась. Что ж, пожалуй, выбить немцев из Клинцов силы у нас хватит. Как думаете, товарищи, — может, положив половину полка, заберем Клинцы да оженим Добью?..

Краснел и бледнел Добья, слушая безжалостные слова Щорса.

А по рядам бойцов уже пробегал смешок, и всего

обидней было сознавать Добье, что иди речь о ком-нибудь другом, он сам бы первый посмеялся вместе со всеми.

— Так вот, товарищи, — продолжал Щорс, — выходит, не у нас с вами детские игрушки, а всего-навсего — у Добьи детские разговоры. Не в Клинцах решается вопрос о нашей победе, а на всем бескрайнем просторе родной земли, от Десны до Прута, где таких Клинцов не одна тысяча. И повсюду, везде в этих Клинцах со слезами ждут нас матери наши, жены и невесты и каждодневно льется праведная кровь наших отцов и братьев. По всей Украине разгорается под пеплом огонь, ни на минуту не стихает жестокая борьба. Летят под откос немецкие эшелоны с награбленным хлебом. Растут и зреют наши резервы. Близок час, когда мы неудержимой лавиной хлынем из Унечи до самых Карпатских гор, сметая всю контрреволюционную нечисть с родной земли и устанавливая рабоче-крестьянскую советскую власть. И, как растет лавина, катясь с высокой горы, так будет расти наша сила... Готовьтесь же к этому великому и страшному часу, овладевая воинским искусством, чтобы ни одна минута не пропадала у вас даром. Вам назначено превратить стихию в организованную силу. Вы — будущие командиры миллионного войска народных мстителей!.. И пусть никто из вас не забывает, товарищи, что лишь рука об руку с русским рабочим классом добьются победы трудящиеся Украины. Всякий иной путь — это путь измены и предательства революции. От укрепления советской власти в России зависит наша победа. Каждый успех русских товарищей — и наш с вами успех. Их враги — наши враги. Знайте, друзья, что еще много боев ждет нас впереди. Не с одними немцами и жовто-блакитной[1] контрреволюционной сволочью предстоит драться нам. Уже тянутся к нашей земле жадные руки империалистов Антанты. Еще не добит на Дону Краснов, а уже снаряжаются на Кубани на деньги английских и французских банкиров новые белогвардейские полки, одинаково жаждущие крови и русских, и украинских рабочих и крестьян.

Так говорил Щорс. А Добья стоял, до крови закусив губу, и не было у него сил разобраться в своих мыслях и чувствах.

7

Никак не думал Павло Добья, что в тот же вечер будет сидеть один на один со Щорсом и, как равный, вести с ним беседу.

[1] Жовто-блакитный — желто-голубой.

— Обижаетесь на меня, товарищ Добья? — спросил командир полка.

— Нет, — сказал Добья, подумав, — обида моя не на вас, товарищ Щорс.

— Не кривя душой говорите?

— Я не из таких...

Щорс с чуть приметной усмешкой рассматривал его. Была это совсем особая усмешка, и нельзя было сразу сказать, где рождалась она. Как обычно, серьезным было лицо Щорса, упрямо сжаты твердые, по-молодому свежие губы, пристален взгляд широко поставленных серых глаз. Но где-то в самой глубине их, точно искорка, вспыхивало насмешливое дружелюбие, будто Щорс и посмеивался, и сочувствовал, и чего-то ждал от Павла Добьи.

— Думаю, слову вашему можно поверить, — сказал он. — Только на кого же вам тогда обижаться?..

Добья не нашелся, что сказать Щорсу, — ведь еще и самому себе не дал он ответа на этот вопрос. Не мог он, по доброй воле вступивший в Богунский полк, чтобы сражаться за дело, за которое погиб отец, за которое, быть может, с часу на час расплатиться своей жизнью старый Шпак, спорить против того, что говорил на тактических занятиях Щорс. Прав был Щорс в каждом своем слове, и горько было Добье сознавать, что по справедливости заслужен жестокий урок, полученный сегодня... Но разве не было правоты и в тех думах, что растревожили, истерзали его душу? Разве не сыновний долг звал его на помощь Якову Петровичу Шпаку? Разве не приказывало ему сердце жизнь свою не щадить, чтобы никакая беда не коснулась его Маруси? Как же вместить в одно все это?..

Вот потому и молчал Добья. Хотелось ему быть до конца правдивым и перед самим собою и перед Щорсом.

А Щорс, подождав немного и побарабанив пальцами по столу, вдруг спросил:

— Скажите, Добья, вы стихи любите?

— Доводилось порой читать, — признался Добья и, сам того не ожидая, густо покраснел.

— Да вы не смущайтесь, — сказал Щорс, — плохого в этом ничего не вижу. Я ведь сам любитель поэзии. Многое когда-то даже заучивал наизусть. Не знаю, как вам, а мне стихи большую радость приносили.

Он снова подождал — не скажет ли чего Добья.

— «Кобзаря», конечно, читали? Помните поэму «Гайдамаки»:

Проходят дни, проходит лето,
А Украина, знай, горит.
По селам горько плачут дети —
Отцов не стало. Шелестит
Листвою желтою дуброва;
Гуляют тучи; солнце спит;
Не услыхать нигде и слова;
Зверь только воет на селе,
Терзая трупы...

Как мог не помнить Павло Добья это бессмертное творение Тараса Григорьевича, если целые главы отсюда повыучил от строки до строки и не раз до слез волновала его печальная судьба Яремы и Оксаны.

И, как бы угадывая его мысли, Щорс спросил:

— В голову не приходило сравнивать себя с Яремою?

Снова пришлось Добье покраснеть. Чьи же слова расставания, как не Яремы, повторял он тогда, запертый в товарном вагоне, думая о Марусе. А разве здесь, в Унече, не страшные Яремины клятвы мести звучали у него в ушах, помогая излиться тоске и горю?

— Сдается мне, похожа моя судьба на Яремину, — тихо промолвил Добья и невольно сжал в кулаки лежавшие на столе руки.

Горячая, сильная Щорсова ладонь легла поверх Добьиной руки.

— А вы не со стороны сходства, а со стороны различия присмотритесь, товарищ Добья.

— О том я не думал...

Подумайте, многое для вас яснее станет.

Так еще раз загадал Щорс загадку Павлу Добье и, прощаясь, сказал:

— В безнадежность не впадайте. Тому поверьте, что не меньше, чем вам, дорога мне жизнь Якова Петровича Шпака...

Не мог уснуть Добья в ту ночь, раздумывая над словами Щорса. Порой, погружаясь в полузабытье, видел он перед собой убогого сиромаху Ярему с неистовыми глазами, горящими неутолимой яростью мести. «Почему я не сторукий?» — хрипло спрашивал Ярема, и зажатый в его кулаке нож сверкал наподобие молнии. Сотрясая Добьину душу своими проклятиями, требовал Ярема такой страшной кары для панской своры, чтобы сомлело от ужаса само пекло.

Еще тяжелей становилось на сердце у Добьи. Видел он, что печатью обреченности мечен Ярема, ибо не может одна лишь стихия ненависти вести к победе человека...

Только перед самым рассветом забылся Добья сном. И хотя пришлось проспать ему не больше часа, проснулся отдохнувшим, с тем удивительным ощущением возросшей силы, какое бывает у человека, одержавшего трудную победу над самим собою. Понял Павло Добья, что побеждать врага революции сможет лишь тот, кто стал хозяином и любви и ненависти своей.

8

Два дня спустя, рано поутру был нежданно, по тревоге поднят в ружье второй батальон и вместе с приданной ему пулеметной командой форсированным маршем двинут в поход. Вел его сам Щорс.

Дорогой бойцам было объявлено, что большой немецкий отряд с двумя орудиями перешел демаркационную линию и производит реквизицию хлеба и скота в селах, расположенных в нейтральной зоне.

Немцев перехватили верстах в пяти от села Лыщичи, когда они уже возвращались обратно. Бой был стремительным и коротким. Немецкие артиллеристы, не успев отцепить от передков орудия, попали под губительный огонь Щорсовых пулеметчиков. Четвертая рота, развертываясь, обходила противника со стороны тянувшегося справа от дороги леска, грозя отрезать путь к отходу.

Оккупанты бежали, бросив награбленное добро, артиллерию и убитых...

Собрав бойцов, Щорс сказал:

— Всыпали мы врагу, товарищи, неплохо. Спеси с него посбили. Помнить будет. Объявляю вам революционную благодарность и на завтрашний день освобождаю от всех нарядов. Отдыхайте. А чтобы не было у нас перерыва в боевой учебе, будем считать, что провели мы с вами сегодня практические занятия по тактике на быстроту обходного маневра.

Бойцы развеселились.

То добра практика, товарищ Щорс!..

— Почаще бы такую!

— Смотри не напасется тогда оккупант штанов...

А Василий Моисеевич усмехнулся в жесткие седоватые усы и подмигнул стоявшему рядом с ним Яковенко:

— Хитер наш Микола Александрович. Ох, и политик!..

Назад возвращались с трофеями. Шли стройно, подтянуто, без команды ровняли ряды.

Впереди колонны везли отбитые у врага орудия.

Ехавший верхом рядом со Щорсом комбат Зубов оглянулся на бойцов и крикнул:

— Что так тихо, хлопцы? А ну, давай песню!..

И тотчас же Мишка Кононенко, лучший стрелок четвертой роты, высоким, мягким тенором затянул:

Ой, у поли три дороженьки...

И тихо, вполголоса, откликнулись ему другие запевалы:

Любил казак три дивчиноньки...

Тогда мощно и дружно вступили басы:

Белявую да чернявую,
Третью руду, препоганую...

Многоголосая песня росла, набиралась силы, свободно плыла над полями.

Лишь Добья шел молча, стиснув зубы.

Только одну обойму успел он выпустить по врагу и в душе жалел, что быстро кончилось первое сражение, которого так нетерпеливо ждал он.

9

Перед вечером в расположение Богунского полка прибыл немецкий легковой автомобиль с откинутым назад верхом. Сидевший рядом с шофером унтер-офицер держал в руках длинную палку, на которой был нацеплен белый флажок. Дав продолжительный гудок, машина остановилась у штаба. Сопровождавший ее от заставы боец соскочил с подножки и, взбежав по ступенькам крыльца, скрылся за дверью.

— А ну, пошли, ребята, гостей встречать! — сказал, поднимаясь на ноги и нахлобучивая на лоб бескозырку, Василий Кочетков.

Вместе с Яковенко и другими бойцами четвертой роты предавался он заслуженному отдыху, сидя на сложенных неподалеку от штаба дубках и наигрывая на балалайке «барыню» с вариациями.

Из автомобиля вышел пожилой офицер с петлицами майора. Поправил на коротком мясистом носу пенсне в золотой оправе и, брезгливо оттопыривая тонкую нижнюю губу, оглядел обступивших его богунцев.

Кочетков отдал свою балалайку Яковенко и протолкал-

ся вперед. Лихо взяв под козырек, он с готовностью выкатил на майора светло-серые озорноватые глаза, словно ожидая его распоряжений. Офицер вопросительно посмотрел на сопровождавшего его переводчика.

— Вы хотите что-то сказать господину майору? — поспешно спросил тот.

— Так точно, — выпалил Кочетков. Позвольте узнать у их высокого благородия: чем это ваши егеря пятки сегодня смазывали? На что у меня во взводе длинноногие ребята, и те угнаться не смогли.

Бойцы рассмеялись, а переводчик, растерянно заморгав, счел за лучшее не переводить начальству сказанное матросом.

Но, видно, немецкий майор и сам кое-что кумекал по-русски. Лицо у него пошло красными пятнами, он резко отвернулся и, спесиво задрав голову, зашагал к штабному крыльцу.

Щорс не сразу принял немецких парламентеров, а с полчаса проманежил их в штабной канцелярии под насмешливыми взглядами писарей. Лишь когда гонор с приезжих немного спал, комполка велел провести их к себе.

Встретил он непрошеных гостей стоя, садиться не пригласил и предложил покороче изложить суть дела, за каким они приехали.

Процедив сквозь зубы несколько слов, майор дал знак переводчику. Оказалось, что командир немецкой части, расположенной в пограничном районе Кустичи — Лыщичи, предъявляет Щорсу целый ультиматум:

«Немедленно вернуть артиллерию и все прочее оружие и воинское имущество, захваченное богунцами во время утреннего боя;

выдать лиц, виновных в нападении на фуражиров, для предания их немецкому военно-полевому суду;

в течение трех дней разоружить и вывести из нейтральной зоны Богунский полк».

— Все? — спросил Щорс, и в глазах его запрыгали бесенята.

Майор пожевал сухими дряблыми губами и приказал переводчику добавить, что в случае невыполнения этих требований германское командование применит вооруженную силу.

Спокойно выслушав и это, Щорс взглянул на своих командиров, присутствующих при разговоре.

— Как посоветуете, товарищи? Может, принять нам ультиматум?

В ответ заговорили все сразу, и возмущенный гул голосов был так единодушен и угрожающ, что майор, попридержав на носу дрогнувшее пенсне, придвинулся ближе к Щорсу, как бы ища у него защиты.

Подняв руку, Щорс потребовал тишины.

И тогда за всех ответил ему Кащеев:

— Разреши, товарищ Щорс, взять в плети эту нахальную сволочь и гнать ее до самых Лыщичей, чтобы в другой раз не было повадно.

— Вполне справедливо твое желание, товарищ Кащеев, — промолвил Щорс. — Но законы войны требуют уважать белый флаг.

Обращаясь к парламентерам, он сказал, отчеканивая каждое слово:

— Передайте вашему начальству: во-первых, что виновниками утреннего инцидента были не мы, а ваши фуражиры, нарушившие своими грабительскими действиями условия мирного соглашения; во-вторых, орудий ваших вы не получите, мы их направим в Почеп для передачи советским властям как вещественное доказательство вашей провокации. Что же касается вооруженной силы, то я бы лично не советовал больше соваться к нам. Дела ваши и без того с каждым днем становятся хуже, а что драться мы умеем, в том вы сами могли убедиться сегодня.

Помолчал и добавил:

— Убитых ваших можете забрать и похоронить по своему усмотрению. С мертвыми мы не воюем.

Немецкий майор заметно посбавил тон и об ультиматуме больше не заговаривал, а стал жаловаться на большевистскую агитацию среди солдат оккупационной армии. Но Щорс резко оборвал разговор, сказав:

— Ступайте и помните: незваными пришли вы на русскую землю, и не на кого вам пенять, что разверзается наша земля у вас под ногами.

Обо всем этом, ликуя, рассказывал Яковенко Павлу Добье, который, как повалился на койку после похода, так и не вставал с нее до самого вечера, охваченный новым приступом тоски по дорогим его сердцу людям.

— Так Щорс майора отделал, что аж лихорадка его ударила, чуть окуляров своих не потерял. А тут еще наши хлопцы ему на прощанье в машину гарбуза подсунули, здоровенного, пуда на полтора — где только взяли? Майор говорит: «Вас ист дас?» А хлопцы объясняют через переводчика: «Это не кислый квас, а самый, что ни на есть, настоящий, без всякой подделки, гарбуз. У нас еще с дедов-

ских времен обычай заведен — провожать с таким гостинцем сватов, которые не ко двору пришлись». Так с гарбузом тот и уехал.

Не в силах сдержать свой восторг, Яковенко с размаху хлопнул ладонью по плечу повеселевшего приятеля:

— Живем, Павло! По всему видать — скоро в наступление переходить будем!..

МИССИЯ ЛАРИОНА ПЕТРОВИЧА

1

В посаде стало неспокойно. Каждый день было слышно о новых арестах. Оккупанты нервничали, — видно, дела их становились все хуже и хуже. Забирали людей без всяких улик, по пустяковому подозрению, а то и просто для проверки. Случалось и такое: увела из дому человека варта, а в тюрьме передачу не принимают — знать ничего не знаем и ведать ничего не ведаем. Сгинул человек, и следов не найдешь...

Три дня ходила Маруся сама не своя. Одна мысль заслонила от нее все вокруг: «Как Павло? Удалось ли ему миновать вражьи заставы?..»

Истосковалась вся, зная, что никто не может сказать ей этого.

А тут еще, как назло, полили дожди, — носа на улицу не покажешь.

На третий день, в субботу, под вечер, когда ушли дед и бабуля ко всенощной, постучал к Гнатенкам в калитку прохожий человек.

— Похоже, вы будете Мария Григорьевна? — спросил он, исподлобья оглядев Марусю зоркими, острыми глазами.

— Я... — ответила Маруся, сразу по самые уши заливаясь краской.

— Тогда получайте гостинец, — сказал он, и сняв с головы каракулевую шапку, извлек из-под ее подкладки скатанный в трубочку листочек бумаги. — По дороге передать попросили.

— А от кого же это? — будто недоумевая, спросила Маруся, хотя сердце уже подсказало ей, чье письмо держит она в руках.

— Про то сами узнаете, — сказал нежданный почтальон, которого, видно, забавляло смущение Маруси.

Усмехаясь, он нахлобучил на самые брови шапку и пошел по направлению к Клинцам, сутуля свои широко поставленные плечи.

Маруся же, на радостях даже позабыв поблагодарить его, убежала в хату читать письмо. Было там всего три строчки:

«Передаю вам, Мария Григорьевна, низкий поклон. Пребываю живой и здоровый. Собираюсь до вас в гости, да только жду, когда приглашение от начальства выйдет.

Известный вам Павло».

Показалось Марусе, что в ясное утро превратились сумерки пасмурного осеннего дня. Подсев к окошку, снова и снова пробегала глазами Добьину писульку, словно надеялась вычитать из нее еще что-то, не замеченное сразу.

Насилу расслышала, что опять колотят в калитку.

— Нет дома деда! — выпалила она, увидев, что это буфетчик со станции.

Торопясь, хотела задвинуть засов.

— Я не до Ивана Федоровича, — сказал буфетчик, так порывисто и шумно потянув в себя воздух, как будто его разбирала икота.

«Приперся, чертяка!» — ругалась про себя Маруся, никак не желая приглашать его в хату.

— Вот беда! И бабули дома нет...

Буфетчик обиженно моргнул, но тотчас же его толстые, будто припухшие губы зашевелились, и от них по лицу, как круги по воде, поплыла улыбка.

— Ай-ай-ай! Такая молодая и такая неприветливая! — сказал он. — А может быть, у меня лично до вас дело имеется, Мария Григорьевна?..

— До меня? — спросила Маруся, стараясь выказать побольше удивления. — Вот уж не угадаю, на что я вам сдалась...

И, как бы спохватясь, добавила:

— Вы извиняйте, что в хату не зову. Темно у нас, керосину, сами знаете, нет. Может, тут около ворот постоим?

— Это как вам больше понравится, — согласился буфетчик, без особого, впрочем, удовольствия.

— Что ж оно за такое дело у вас? — торопила его Маруся. — Простите, не знаю, как вас по батькови...

— Фрол Сергеевич,— сказал буфетчик и замолчал, уставив на нее свои рыбьи глаза.

Расстегнул и застегнул пуговицу на подбитом ватой бобриковом пиджаке, поправил картуз с лакированным козырьком, потер двумя пальцами переносицу...

— Дело очень деликатное... Надо бы с Иваном Федоровичем. Так сказать, с главою семейства... Но, зная ваш характер, решил первоначально с вами...

— Не пойму я вас что-то... — теперь уж по-настоящему удивилась и даже обеспокоилась Маруся.

Буфетчик переступил с ноги на ногу и вдруг сразу вспотел.

— Полюбились вы мне, Мария Григорьевна. Хочу просить вас оказать мне честь.

— И что вы такое придумали, Фрол Сергеевич!.. — даже рассердилась Маруся. — Пустое говорите...

— А вы все же таки разъясните, почему? — сказал, не смущаясь, буфетчик.

Было похоже, что иного ответа он и не ждал.

— Почему... Почему... Потому что засватана я уже!.. — неожиданно для самой себя объявила Маруся, чувствуя, как согревает ее руку Добьина записка.

Буфетчик подергал носом, полез в карман за платком, но доставать его раздумал и сказал со вздохом:

— Об этом я и сам догадывался, Мария Григорьевна, но поверьте — для меня ваше прошлое не составит значения в семейной жизни.

— А может, для меня составит?..

— И для вас нет, Мария Григорьевна... Все одно не свидитесь с ним больше...

— И это вы знаете? — сказала Маруся, которую позабавили такие слова Фрола Сергеевича.

— Потому что не придется ему сюда вернуться...

— Да ну?..

— Без шуток говорю, Мария Григорьевна. Я в делах политики побольше вашего разбираюсь.

И, осмелев, придвинулся к ней совсем близко.

— И про некоторые ваши поступки, Мария Григорьевна, кое-что знаю.

Смотрела Маруся в его неподвижные, тусклые и вязкие, как серая глина, глаза, и холодок вползал в ее грудь.

— Вот то-то и оно! — назидательно сказал буфетчик.— Большие неприятности и для вас и для Ивана Федоровича могут выйти. Так что вы еще подумайте, Мария Григорьевна. Я вас с вашим согласием не тороплю...

С минуту молчали.

— Не будет этого! — крикнула вдруг Маруся и с размаху захлопнула калитку, чуть не прищемив калошу своему ухажеру.

Навалилась грудью на засов и стояла так, тяжело ды-

ша, слушая, как звонко колотится встревоженное сердце. Одного желала она в эту минуту: увидеть своего Павла, обнять, прижаться к нему, раскрыть перед ним всю свою душу, чтобы никогда больше не пришлось разлучаться им.

2

Нельзя сказать, чтобы Наум Абрамович Паперный удивился, когда в сумерках субботнего дня кто-то легонько подергал за ручку звонка у парадного крыльца его квартиры. Маклерские дела, которые вершил Паперный, были сопряжены порой с весьма щекотливыми разговорами, и иные клиенты предпочитали для этого тихий вечерний час.

Но, повернув ключ в замке, Наум Абрамович из осторожности цепочку с запора не снял и приоткрыл дверь лишь настолько, чтобы можно было разглядеть клиента.

Стоял на крыльце человек средних лет, широкоплечий, сутуловатый, одетый в чимерку, крытую синим сукном, и в черной каракулевой шапке. По виду крепкий хуторянин, из таких, кто за смутные годы войны сумел не только не растерять, а еще и приумножить свое хозяйство.

— Дозвольте побеседовать с вами, Наум Абрамович,— сказал он.

— А почему так поздно? — поинтересовался Паперный. — Прежде чем звонить к незнакомому человеку, вам следовало бы подумать, что и Наум Абрамович имеет право отдохнуть.

— Вы уж на меня не гневайтесь,— сказал хуторянин.— Мы без образования. Думал засветло обернуться, да разве управишься тут. Будто побесились люди, никто тебе толком не расскажет, где нужного человека взять. Кабы не Рыдин, разве нашел бы я вас?..

— Вы знаете адвоката Рыдина?

— А как же,— сказал хуторянин.— Достойнейший человек.

— Ну, если вас сам Семен Семенович направил ко мне, придется сделать для вас маленькое исключение.

Паперный снял с двери цепочку и пригласил клиента войти.

— Садитесь, прошу вас,— сказал он, выдвигая на средину комнаты стул. — С кем имею удовольствие беседовать?

— Зовут меня Ларионом Петровичем, — сказал гость, не спеша усаживаясь на стул и распространяя от своих

добротных сапог такой густой запах дегтя, что у Паперного заскребло в носу и он дважды оглушительно чихнул, чем крайне встревожил свою супругу, подслушивавшую за дверью соседней комнаты.

— Ты, Наум, опять выходил без калош? — сказала она, заглядывая к ним. — Сколько раз я тебя просила не делать этого!

— А сколько раз я просил вас, Софья Артуровна, иметь такт и не вмешиваться в серьезные мужские разговоры,— раздраженно прогудел Паперный и прикрыл дверь перед носом супруги.

— Жинка. Разве ж она понимает! — посочувствовал Ларион Петрович.

— Итак, перейдем к делу, — поспешно сказал Наум Абрамович, не любивший, чтобы люди замечали опеку, которой он был подвержен в семейной жизни.

— Дело у меня, можно сказать, хозяйственное,— веско начал Ларион Петрович.— Хочу у себя на хуторе паровую мельницу завести с вальцовым поставом. Так вот, может, вы мне, Наум Абрамович, комиссию составите? Не доводилось ли вам, часом, слышать про что-либо подходящее?

— Очень даже доводилось, и не далее как вчера, — сказал Наум Абрамович, хотя ничего ровным счетом у него на примете еще не было.— Думаю, что это вас вполне могло бы устроить. Однако прежде разрешите поинтересоваться: какими средствами вы располагаете? Я вижу, вы человек неглупый и должны понимать, что никакие бумажки, даже радужного цвета с портретом императрицы Екатерины Второй, настоящей цены сейчас не имеют.

— Да боже ж мой! — укоризненно сказал Ларион Петрович. — Будто я совсем без понятия. Стал бы я людям голову морочить, когда бы платить было нечем.

Новый клиент определенно нравился Науму Абрамовичу. По всему чувствовалось, что это человек солидный, обстоятельный, а главное, он понимал Наума Абрамовича с полуслова и ему не приходилось втолковывать по десять раз одно и то же, чего при своем живом характере до смерти не любил Паперный.

Наум Абрамович засветил маленькую лампочку с усовершенствованной бензиновой горелкой — подарок управляющего с чугунолитейного завода, которому он не раз оказывал существенные услуги при сделках (разумеется, об этих подарках и услугах он никогда не упоминал в отчетах, направляемых хозяину в Чернигов).

Ясный, без копоти, огонек озарил комнату, словно бы

отделив ее и людей, в ней сидящих, от осеннего сумрака, сгущавшегося за окном, и всего того тревожного и опасного, что могло подстерегать человека в этот час на пустых и темных улицах посада. Он как бы сближал собеседников, располагая их к доверию, и теперь уже разговор между Паперным и Ларионом Петровичем протекал совсем гладко, при полном взаимном понимании.

Правда, насчет комиссионного процента взгляды их разошлись: Наум Абрамович хотел получить пять процентов куртажа ото всей сделки, Ларион же Петрович давал по три рубля со ста карбованцев, обещая накинуть лишь в том случае, если удастся что-либо выторговать от покупной цены. Помирились на четырех процентах, и Наум Абрамович заверил своего гостя, что на будущей неделе можно будет пить магарыч.

— Имею до вас еще дельце,— сказал Ларион Петрович, когда с этим было покончено. — Нет ли у вас на примете такого человека, который бы пошел до меня за механика?

— Конечно, есть и даже, могу вас заверить, не один,— сказал Наум Абрамович, никогда не говоривший своим клиентам «нет».

— Вот это хорошо! — обрадовался Ларион Петрович.— Только требуется мне человек степенный и сурьезный, чтобы дело свое знал и если когда и зашибал, то лишь по маленькой. Говорили мне люди про какого-то Шпака, что у Баксанта когда-то работал, однако слух идет, будто заарестовали его. Проворовался, что ли?..

— Ну, кто же теперь не ворует? — снисходительно усмехнулся Наум Абрамович.— Разве такими пустяками будет заниматься державная варта? Тут, я вам скажу по секрету, дело политическое.

— Против власти бунтовал, выходит?

— Донос на него поступил, что ведет агитацию за большевиков и подозрительных людей у себя принимает.

— Смотри-ка! — удивился Ларион Петрович. — И все-то вы, Наум Абрамович, знаете.

— Что вы хотите — такая моя профессия, — скромничая, отвечал Паперный. — При моем обширном круге знакомств ко мне за один день стекается столько новостей, сколько за месяц не приснится самому редактору «Киевской мысли».

— То ж и я говорю, голова у вас, Наум Абрамович, поистине министерская. А не знаете вы, часом, что этому Шпаку будет? Засудят, видно?

— Слышал я от лиц вполне официальных, что при обыске у него улик не нашли. Однако если будет слушаться дело полевым судом, то здесь и одного свидетеля может оказаться достаточно.

— А что это люди болтают, Наум Абрамович, будто вы обещались вызволить того Шпака и полфунта золота с его жинки за это взяли? — спросил Ларион Петрович, придвигая свой стул поближе к хозяину.

Паперному вдруг стало не по себе от хитрого прищура глаз гостя, который на деле оказывался вовсе не таким простым, как можно было подумать вначале.

— Вот уж не люблю, когда люди дают веру всяким сплетням, — горячо запротестовал он.— Что может сделать такой маленький человек, как я? Просто по доброте сердечной я предложил супруге Якова Петровича Шпака свое посредничество между ней и адвокатом Рыдиным, который является общепризнанным столпом законности у нас в Клинцах. И если при этом пришлось кое-чем поблагодарить Семена Семеновича, то стоят ли серьезного разговора такие мелочи.

— А за что же его было благодарить, когда ничего не сделал ваш Рыдин?

— Ну, этого не скажите. Вы себе представить не можете, сколько неприятностей и расходов было у Семена Семеновича по делу Шпака. Но ведь он тоже, в конце концов, человек, а не бог.

— Так-то оно так,— согласился Ларион Петрович,— однако скажу вам по дружбе, в поганую историю вы влипли, Наум Абрамович.

— Я?.. Почему? — растерялся Паперный, сразу утратив свое обычное многословие.

— Да ведь если не сегодня, то завтра Щорс в Клинцах будет. Сами же видите, Наум Абрамович, мечется оккупант, как черт перед заутреней. Нет у него прежней силы.

— Но при чем тут могу быть я?..

— Да при том, что теперь Щорс голову с вас снимет, когда, упаси боже, расстреляют немцы Шпака.

— Что вы говорите?.. — простонал Паперный, с таким ужасом глядя на своего гостя, словно перед ним сидел сам Щорс.

— Да вы успокойтесь, Наум Абрамович, — попытался образумить его Ларион Петрович. — То ж я к примеру...

— Боже ж мой! Боже ж мой! — жалобно гудел Паперный, раскачиваясь на стуле. — Разве я не сделал все, что было в человеческих силах? Откуда я мог знать, что госпо-

дин Паллец окажется бессовестным человеком? Получив сполна все, что требовалось за освобождение Шпака, он гонит меня в три шеи и грозится спустить с меня шкуру, если я попадусь еще на глаза. Вы, может, подумаете, что я действительно что-нибудь заработал на этом паскудном деле? Побей меня гром, если я не остался в чистом убытке, — и все только потому, что у меня доброе сердце и я не могу спокойно видеть женских слез.

Ларион Петрович свернул собачью ножку и, покуривая, с интересом слушал причитания Наума Абрамовича.

— Наум Абрамович! — сказал он наконец. — Что я у вас спросить хотел: признайтесь начистоту, как перед богом, — то вы сами додумались выкуп за Шпака брать, либо кто вас надоумил?

— И вы меня еще спрашиваете об этом? Я честный коммерсант, и зачем мне путаться в эту собачью политику. Но что я мог сделать, когда приходит ко мне Семен Семенович Рыдин и говорит: «Наум, сейчас господин поручик Паллец поехал на Низовую улицу забирать Якова Шпака, а тебе велел передать, чтобы вечером ты разыскал Шпакову жену и сказал ей, что за деньги все возможно еделать».

— Не брешете, Наум Абрамович?

— Чтоб мне не дождаться завтрашнего дня, когда я хоть слово неправды сказал! — с чувством произнес Паперный.

Ларион Петрович пыхнул цигаркой и философски заметил:

— Может, оно и вправду так было, Наум Абрамович, только поверит ли вам Щорс?.. А там смотрите сами, мое дело — сторона.

Губы Паперного задрожали.

— Слушайте,— зашептал он, хватая Лариона Петровича за рукав чимерки,— я же не маленький мальчик, я же вижу, с каким человеком имею дело. Посоветуйте мне — как быть?

— И впрямь жалко мне вас, Наум Абрамович,— сказал Ларион Петрович. — А чем вам помочь — и сам не знаю. Вот кабы могли вы через Рыдина, а то еще через кого, все новости про Шпака узнавать, может, пока я буду торговать вальцовой постав, мы с вами что и придумали бы.

— Господи боже мой! Какой может быть разговор! — облегченно воскликнул Паперный, который всегда легко переходил от уныния к новым надеждам и планам.— Вы бы сразу так и говорили.

Прощаясь, Ларион Петрович сказал:

— Смотрите, Наум Абрамович, уговор дороже денег. Не вздумайте на двух хозяев работать либо что лишнее болтать. Человек я сурьезный, и, коли вы нашкодите, разговор у нас с вами будет недолгий.

Паперный заверил, что скорее проглотит свой язык, чем позволит себе какую-либо нескромность, и Ларион Петрович посоветовал ему совсем уже дружески:

— Особливо, Наум Абрамович, с жинкой об этих делах ни полслова. Не ей перед Щорсом ответ держать, а вам.

3

С часу на час ожидала Маруся своего Павла, помня обещание, данное им в письме. И не раз досадовала на Щорса: почему тот медлит брать Клинцы?

Проходили дни. От Павла известий больше не было. И начинало казаться Марусе, что забыл он думать о ней. Разве редко так бывает — пошутковал хлопец с дивчиной, поточил лясы у ворот, а как с глаз долой, то и из сердца вон. Может, уже с другой милуется. Все они, хлопцы, на одну колодку шиты...

От таких мыслей делался Марусе не мил белый свет...

Совсем не стало слышно ее в доме старых Гнатенко, не засмеется, слова громко не скажет.

Особенно тревожило бабусю, что стала вдруг внучка во всем послушной: как ей прикажешь, так и сделает. Нет чтобы по-прежнему заупрямиться, обязательно поставить на своем.

— Сидим тихосенько, хоть мак сей, — жаловалась старуха.

— Вы чего хотели, бабуля? — откликается Маруся.

— Говорю дождалась спокою на старости лет...

— Не то вам плохо, бабуля? — скажет Маруся и опять молчит.

И на улицу редко теперь показывалась Маруся, — все больше дома и дома...

Но вот однажды пришел с дежурства старый Гнатенко и принес необычные новости. Будто бы взбунтовался стоявший в помещении высшего начального училища немецкий саперный батальон. Говорили люди, что случилось это из-за задержки жалованья солдатам. Так ли оно было, а может, и иначе, Иван Федорович, ясное дело, знать не мог. Однако набили саперы морды своим офицерам, посрывали

с них погоны и посадили под арест. А сами стали требовать немедленной отправки домой — нах хаузе. Толку, впрочем, у них из этого не вышло. Пригнало немецкое командование солдат ландверного[1] полка, окружило тех саперов с четырех сторон, и часа два шла перестрелка. Настрелявшись вдоволь, саперы вывесили из окна белый флаг. Ландвер поотбирал у них ружья и погнал на станцию, где их погрузили в товарный порожняк и повезли под конвоем в Новозыбков.

— Ну, пошла у оккупанта заваруха, — заключил свой рассказ старый Гнатенко.

— Дай боже, чтоб скрутило супостата,— истово перекрестилась старуха.

А Марусе вдруг сделалось так радостно, что схватила она бабушку за руки и закружила по комнате, отбивая каблуками дрибушечки и приговаривая:

— Скрутит, бабуля, скрутит...

— Пусти, оглашенная! — говорила, притворно сердясь, та. — Ровню себе нашла... Тоже... Да пусти же, говорю...

А прошло еще несколько дней — и стало известно, что в Германии революция. Не выдержав тягот войны, скинули немцы своего кайзера — по-нашему то же, что царя. А как дальше у них будет, то пока еще никому не известно.

На клинцовских улицах появились объявления за подписью образовавшегося в посаде немецкого гарнизонного совета солдатских депутатов, в которых говорилось, что германские войска не хотят больше вмешиваться во внутренние дела Украины, что в дальнейшем они будут придерживаться строгого нейтралитета и что главной задачей их теперь является возвращение на родину.

И в будний и воскресный день на улицах Клинцов можно было видеть много немецких солдат без винтовок. У них на шинелях были пришиты красные ленточки. Нередко случалось, что, повстречав своих офицеров, проходили солдаты мимо, не козыряя, будто не замечали их.

Передавали люди из уст в уста, что в Лыщичах и Кустичах, расположенных у самой демаркационной линии, беспрерывно идут митинги, на которых перед немецкими солдатами выступают представители Богунского полка, призывая их повернуть оружие против гетмана и гайдамаков.

---

[1] Ландвер — резервные воинские формирования в германской армии из числа военнообязанных, отбывших срок действительной службы.

Слышно было, что кое-кто из немецких офицеров уже просился у уездного старосты на службу в державную варту, так как одолевал их страх перед своими же солдатами.

Со вновь воскресшей надеждой на скорую встречу с Павлом ловила Маруся каждое такое известие. Верилось ей, что теперь уже ничто не сможет стать поперек дороги их счастью.

4

Никогда еще Наум Абрамович Паперный не переживал за один день столько неприятностей.

Началось с того, что Софья Артуровна разбила стоявший на буфете фарфоровый молочник от голубого сервиза, который он очень удачно купил на аукционе у отъезжавшего из Клинцов фабриканта Машковского.

— Ты всегда, Наум, кладешь вещи так, что они сами падают на пол,— сказала Софья Артуровна, поражая мужа уничтожающим взглядом.

— Но, Сонечка, ты же сама поставила его там... — миролюбиво начал Паперный.

— Да помолчи ты хотя бы раз в жизни! — нервно закричала Софья Артуровна.— У тебя, Наум, стал совершенно невозможный характер. Тебе нельзя слово сказать!..

Паперный молча оделся, торопясь убраться из дому, так как по долголетнему опыту знал, что все равно выйдет побежденным из словесной схватки со своей дражайшей супругой.

Он решил навестить зубного врача Браза, которому давно уже обещал подыскать подходящий особнячок в центре посада, где бы Браз мог успешно бороться с нахальной конкуренцией «этого коновала» Рыбаковича, переманивающего к себе пациентов только потому, что некоторым людям лень пройти каких-нибудь лишних четыре квартала.

— Я хочу вас порадовать приятным известием,— сказал Паперный, пожимая руку Браза.— Домик на Гоголевской улице — это просто картинка, я бы сказал — находка, именно то, что вам нужно. Хотя я и очень занят сегодня, но из уважения к вам мы могли бы сейчас же пройти прямо туда.

Однако Браз не выразил на своем отечном лице никаких признаков восторга и скучным голосом сообщил, что, к сожалению, у него сейчас неотложные дела в связи с предстоящим завтра семейным торжеством — днем рож-

дения тещи, которая, как всем известно, является совладелицей фирмы Баксанта. Поэтому будет лучше отложить разговор о покупке дома до другого раза.

— Но зачем же мы будем откладывать, когда дело можно закончить буквально в два счета? — бодро воскликнул Наум Абрамович.— Раз вам Паперный говорит — все в порядке, вы можете, даже не глядя, ударить по рукам и внести задаток.

Тогда Браз сказал прямо, что он раздумал покупать дом и, видимо, вообще на некоторое время откажется от мысли о приобретении недвижимости.

Все на этом свете имеет свою меру и свой предел. Нервы Наума Абрамовича наконец не выдержали, и он в несколько повышенном тоне объяснил Бразу, что отнимать попусту в течение целого месяца время у делового человека является верхом нахальства и что поступить так мог бы какой-нибудь прожженный аферист, но никак не солидный человек, дорожащий своей репутацией среди пациентов и имеющий, кроме того, тещу из столь почтенного семейства, как фирма Баксантов...

Вполне понятно, что после такого разговора Науму Абрамовичу уже было трудно сохранять на своем лице привычное выражение деловой жизнерадостности.

Дома Софья Артуровна встретила его с заплаканными глазами.

— Я не понимаю, о чем ты думаешь, Наум! — закричала она, мгновенно приходя в состояние ярости при виде мужа.— Ты обо всем узнаешь из самых последних рук. Умные люди уже давно уложили свои чемоданы, а ты разгуливаешь где-то по городу, как жених, и не желаешь смотреть дальше своего носа. Тебе, очевидно, надоело видеть меня живой?..

— Но почем же я знаю, о чем ты говоришь, Сонечка? — жалобно спросил Наум Абрамович.

— Я говорю о том, что Рыдины завтра уезжают в Одессу, если ты такой болван, что сам не можешь догадаться об этом. Ступай немедленно к Семену Семеновичу и проси его оказать нам протекцию у коменданта станции...

У парадного позвонили, и Софья Артуровна, наскоро обмахнув пуховкой покрасневший нос, пошла отворять.

— Я же вам говорю, что Наум Абрамович тяжело болен! — донесся до Паперного ее раздраженный голос. — У него явно выраженная испанка. Врачи строго запретили ему деловые разговоры.

— Да я ж только на минуточку до Наума Абрамовича,

отдам деньги и обратно. Не то ему это повредит? — рассудительно доказывал ей кто-то в передней.— Скажите, будьте ласковы, что Ларион Петрович задаток принес.

— Наум, клиент принес задаток!.. Можно его пустить к тебе? — крикнула, смягчаясь, Софья Артуровна.

— Ну, конечно, Сонечка! Я же тебе говорил, что Ларион Петрович всегда желанный для нас гость, — поспешил ответить Паперный.

Войдя в комнату, Ларион Петрович покосился через плечо на Софью Артуровну и плотно закрыл дверь.

— Ну, Наум Абрамович, скоро будем перед Щорсом ответ за Шпака держать,— сказал он, хотя и не громко, но так, что Паперного мороз подрал по спине.— Слух идет, что сдают немцы Красной Армии посад.

— Прошу вас, не говорите мне больше ни слова, иначе у меня на ваших глазах произойдет разрыв сердца!.. — простонал Наум Абрамович и, по-карасиному открыв рот, стал ловить воздух.

— Вот не думал, что вы такая баба!.. — говорил, поспешно наливая из графина в стакан воду, Ларион Петрович, обеспокоенный, чтобы с хозяином и впрямь не случилось чего плохого.— Выпейте, Наум Абрамович, оно зараз полегчает.

Паперный послушно схватил стакан и, пролив половину воды из него на свою холеную бороду, умоляющими глазами уставился на Лариона Петровича.

— А теперь, Наум Абрамович, наберитесь духу и будем с вами плановать, как бы вызволить нам от немцев Шпака, — сказал гость, поудобней усаживаясь на стул.— То правда, что Рыдин в Одессу уезжает, где, как слышно, французы высадили десант?.. Не вздумайте и вы, Наум Абрамович, стрекача задать. Живого я вас из Клинцов все равно не выпущу, пока не будет на свободе Яков Шпак.

— Но что же я могу сделать? — с полной безнадежностью спрашивал Паперный, тщетно пытаясь унять правую коленку, которая вдруг сама собой начала дрожать и подпрыгивать.

— Об этом и разговор,— безжалостно сказал Ларион Петрович.— Думайте, Наум Абрамович!..

Наступившее молчание было невыносимо для Паперного. Он ежился под тяжестью испытующего взгляда своего гостя, понимая, что должен говорить — и притом немедленно. Но каждое слово, которое он скажет, могло вести его и к спасению и к гибели. От сознания этого ужас охватывал Наума Абрамовича, язык прилипал к зубам, а в голо-

ве начинался такой кавардак, в котором сам черт сломал бы ногу. Нельзя было отыскать в ней не только что-либо порядочное, но даже поймать за хвост какую ни на есть завалящую мыслишку.

А гость сидел как каменный, не сводя с Паперного прищуренных глаз. Мутный свет осеннего дня сочился в окошко, и в тишине дома, казалось, жили одни только стенные часы. Стук их маятника становился все чаще и громче, будто торопил Наума Абрамовича: ско-рей, ско-рей, скорей!..

И вдруг Паперного осенило.

— А что вы скажете,— торопливо заговорил он,— что вы скажете, если я назову вам адрес одного человека, который знает о деле Шпака несравненно больше, чем я?..

— Что же то за человек, Наум Абрамоич? — спросил гость.

— Конечно, вам покажется странным: какое отношение может иметь станционный буфетчик господин Скрынька к державной варте и к этому ужасному делу Якова Шпака? Но минуточку терпения, и все сейчас же станет ясным. Дело в том, что домовладение, которое весной приобрел Шпак, расположено по соседству от усадьбы Скрыньки. Последний уже совсем было сторговал его по дешевке у вдовы колесных дел мастера Заовражного, которая находилась после смерти мужа в бедственном положении, как вдруг явился Шпак и дал настоящую цену...

— Говорите прямо, без обиняков, Наум Абрамович, что донес Скрынька на Якова Шпака! — сказал Ларион Петрович так, будто гвоздем прибил к стенке слово «донес».

— Упаси бог! Я не сказал ничего подобного. Откуда я могу это знать?.. Просто я слышал однажды от Семена Семеновича, будто того, что показал на следствии Скрынька, вполне достаточно, чтобы немедленно расстрелять Шпака, и если варта не сделала этого до сих пор, то лишь потому, что надеется узнать имена Шпаковых сообщников.

Ларион Петрович с минуту размышлял над услышанным, потом сказал:

— Вот что, Наум Абрамович,— Скрынька есть Скрынька, а Паперный есть Паперный. То, что рассказали вы мне, не избавляет вас от вашей вины. Хотели вы, как блудливый пес, поживиться от чужого несчастья, да не вышло. И коль дорога вам жизнь, будете вы теперь делать все так, как я вам прикажу. Немедля пойдете к Рыдину, покуда он не уехал, и скажете ему вот что: обещала, мол, Шпакова

жинка хороший гостинец, если устроит он передачу ее мужу кожуха и одеяла. Очень беспокоится она, что холодно старому по зимнему времени сидеть в тюрьме в своем пиджачишке на рыбьем меху. А все, что Рыдин вам ответит, до слова мне передайте...

Рыдин был уже одет по-дорожному, и весь разговор между ним и Паперным шел на ходу, пока тащили возчики по лестнице тяжелый, окованный железом сундук.

Сообщил Рыдин Науму Абрамовичу, что давно уже мечтал вернуться на свою родину, в Одессу, где его старший брат имеет перешедшую от покойного отца нотариальную контору, и что, наконец, представился благоприятный случай, так как провожает в том же направлении свою супругу добродий Паллец.

— К тому же сейчас всякий разумный человек должен позаботиться о своей безопасности... — многозначительно заключил Семен Семенович.

А когда завел Наум Абрамович речь о Шпаковом кожухе, обозвал его Рыдин идиотом и сказал следующее:

— Завтра нужен будет Якову Шпаку тот кожух, как мертвому припарка. Неужели думаешь ты, Наум, что отдадут оккупанты живым Щорсу такого человека? Не путайся ты больше в это дело. Если хочешь знать, то ходил утром пан Паллец в комендатуру, и решено было там передать завтра утром кое-кого из арестованных, содержащихся под немецким караулом, прибывшей в Клинцы из Чернигова сердюцкой[1] сотне. А там мало ли что может случиться... За то немцы не в ответе.

5

Еле приковылял домой с работы Иван Федорович Гнатенко и, как сел в углу за стол, положив на руки седую голову, так и сидел, не двигаясь и не видя ничего вокруг, пока не поставила перед ним бабуля миску с галушками. Тогда очнулся от забытья, посмотрел с душевной болью на внучку и, собравшись с силами сказал, что передавал ей Фрол Скрынька нижайший поклон и велел сказать, что придет сегодня под вечер за ответом по уже известному Марусе деликатному вопросу. Думает он не откладывать дела в долгий ящик и, поскольку завтра воскресный день,

[1] Сердюцкие полки — гетманская гвардия — формировались из сыновей шовинистически настроенного украинского кулачества, главным образом из детей хуторян-отрубников.

перевенчаться с нею, о чем уже договорился с протоиереем Никольской церкви отцом Финогеном.

— Чтоб ему ни дна ни покрышки, вашему Фролу собачьему!.. — крикнула Маруся и, бросив есть, убежала в холодные сени...

А когда, поостыв, с искусанными губами вернулась в хату, увидела, что плачет у печки бабуля, дед же понуро сидит за столом и ковыряет ложкою кашу. Был он такой старенький и несчастный, что Марусе стало совсем невмоготу.

— Ну, а вы еще чего? — спросила она, и сердясь и болея за них душой.

Бабуля только всхлипнула, а Иван Федорович положил на стол ложку и сказал, не глядя на Марусю:

— Не пойдешь за него, доченька, — сживет он тебя со света...

— Да за что же?

— Не то сама не знаешь?

Маруся ничего не ответила деду. Разрывалось от жалости к одиноким старикам ее сердце, но твердо знала она: чем бы ни грозил ей Фрол Скрынька, никогда не будет того, чего он хочет.

6

Не верил Фрол Скрынька, что могут отдать гайдамаки Клинцы Красной Армии. И мысли такой себе в голову не допускал, потому что порушило бы это его заветные планы, которые вынашивал он основательно, не спеша, с расчетом на долгие годы жизни. А планы у него были большие, и хватка была крепкая,— что попадет в руки, того уже обратно не отдаст и на землю не уронит.

Не раз виделось Скрыньке во сне, как ломает он высокий деревянный забор, что отгораживал его усадьбу от Шпаковой, и полновластным хозяином входит в опустевший дом соседа. А наяву уже и распланировал все, как оно будет в новом домовладении. Старый вишневик, где любил после обеда полежать в тени на рядне часок-другой Яков Петрович, решил Скрынька выкорчевать под корень. Что от него толку? Лишь место попусту занимает. Давно уже отслужили свой век и родили с пятого на десятое корявые, с кривыми узловатыми стволами, вишни. Собирался Фрол Скрынька вырыть здесь копанку, напустить в нее красноперых карасей да завести утиное стадо, так как лю-

бил пищу мясную и жирную. А перед домом посыплет он землю желтым песочком, разобьет круглую клумбу и поставит на ней точеный столб с хрустальным шаром наверху, в котором бы отражались всего его, Скрынькины, владения.

Позади же дома, напротив стеклянной галерейки, выстроит голубятню.

Очень по душе была Фролу Скрыньке красивая, отливающая на солнце радужным блеском перьев, птица. Нравилась она ему и за вкусное, сочное мясо и за избыток любовной нежности, которую не уставали расточать своим подругам сизокрылые кавалеры. При виде их брачных игр томление овладевало Скрынькой и мысли одна слаще другой лезли на ум. Такое видел он в своих мечтах, что дух перехватывало, испарина проступала на одутловатом лице, а рыбьи глаза еще больше мутнели и подплывали салом. И то сказать — до сорока лет прожил на холостом положении человек, излишества себе не позволял, женского пола сторонился и по зернышку, как хомяк, наполнял свою скрытую от чужих глаз кладовую, пока не увидел, что хватит ему накопленного добра еще на такой же век, какой по упущению господа бога уже просмердел он на этом свете.

На чужом горе строил свое благоденствие Фрол Скрынька, тайком отдавая в рост деньги и принимая в залог всякие ценные вещи, которые нередко совсем оставались у него, так как трудно впавшему в нужду человеку собраться с силами и выкупить обратно отданное ростовщику... Потихоньку да полегоньку, неприметно для людей, богател Фрол Скрынька, мало кому известный буфетчик со станции Клинцы Московско-Брянской железной дороги. С детства привык он считать, что движут человеком во всех поступках две непреоборимые силы: страх за свою шкуру и жадная, не знающая ни совести, ни чести, корысть.

В субботу, когда зазвонили ко всенощной, вышел из дома Фрол Скрынька, спустив с цепи степного овчара-волкодава и закрыв на секретный запор дубовую калитку. Направлялся он в Стодолы, к Гнатенкам, уговориться обо всем, что касалось завтрашнего венчания, нисколько не сомневаясь на этот раз в Марусином согласии. Поэтому пребывал он в отличном настроении, чему способствовала и добрая чарка рябиновой настойки, которую позволил он себе выпить на дорогу ради такого торжественного случая.

Однако не прошел Скрынька и десяти шагов, как от неожиданной тревоги засосало у него под ложечкой. На

скамье у открытой калитки в Шпаково подворье сидел человек в синей чимерке и черной каракулевой шапке, надвинутой на брови. Сразу заприметил Скрынька, что сидел он не как случайный прохожий, примостившийся отдохнуть у чужих ворот, а по-хозяйски прочно, закинув ногу на ногу и удобно привалясь спиной к забору. Лениво смотрел по сторонам и покуривал толсто завернутую цигарку.

— А, сосед! — воскликнул он, завидев Скрыньку.— Добрый вечер! И далеко это вы собрались?..

Скрынька еще раз оглядел человека в синей чимерке и, убедившись, что видит его впервые, ответил с обидой на его бесцеремонность.

— Не имею чести быть знакомым с вами.

— Так то не беда! Коли не знакомы, давайте познакомимся,— дружелюбно сказал тот.— Зовут меня Ларионом Петровичем. А вы, когда не ошибаюсь, Фрол Сергеевич будете?.. Да вы садитесь рядком, потолкуем по-соседски. А то я человек у вас новый, ни бесовой души тут не знаю.

— Да вы кто будете? — спросил Скрынька, с изумлением уставясь на него.

— Так я же вам говорю — сосед ваш. Сегодня только на новоселье перебрался.

— На новоселье?.. — задохнулся Скрынька.

— Эге ж, на новоселье,— объяснял, не замечая его растерянности, новый сосед.— Я же Шпаков шурин. Усадьба эта Яковом Шпаком за мои деньги куплена. Либо он вам не говорил об этом?

— Что-то я не припоминаю такого, — промямлил Скрынька и, чувствуя, как слабеют от волнения ноги, присел на скамью.

— Ишь ты какой! — добродушно сказал Ларион Петрович. — Хотел, видно, чтобы люди его за хозяина считали. Эх, пропащая душа! Сколько раз я говорил ему: «Смотри, Яков Петрович, не доведет тебя до добра твое пустозвонство». Вот оно по-моему и вышло. А все ж таки жаль человека. Должно быть, не увижу я его больше живым.

Из дальнейшего рассказа словоохотливого соседа Фрол Скрынька узнал, что живет тот постоянно в местечке Семеновке, где у него имеется кожевенный заводик на пять чанов. В прошлом году уговорил его Яков Шпак дать денег на покупку этого подворья, да, видно, напрасно он послушался. Переезжать в Клинцы нет расчета, да и не уживется он со староверами, которых здесь полным-полно. А без надежного присмотра пойдет прахом домовладение. Не хозяйкой уродилась сестра, а такой же раззявой, как и ее

благоверный супруг Яков Шпак. Время же, сами знаете, какое...

Чем больше говорил новый сосед, тем легче становилось на душе у Фрола Скрыньки. Начинал Скрынька понимать, что не горевать ему надо, а радоваться этому негаданно подвернувшемуся случаю.

— Сдается мне, переплатил ваш деверь за это подворье,— сказал он.— Однако чему же тут удивляться, раз были у него в руках не свои деньги, а чужие...

— Золотые слова! — сокрушаясь, воскликнул Ларион Петрович.— То я и сам теперь вижу. В такой убыток ввел меня Яков — хуже, чем от пожара. Да кабы я своими глазами это подворье видел, я бы за него и половины той цены не дал.

— Сочувствую,— сказал Скрынька, прикидывая, с какого бока подъехать к Лариону Петровичу, чтобы за счастье свое счел тот его намерение купить Шпаково подворье.

Но, видно, совсем не богат был умом новый сосед, сам полез туда, где Скрынька собирался ставить свою вершу.

— А не знаете ли вы, Фрол Сергеевич, какого-либо человека при деньгах, который, может, польстился бы на эту усадьбу? — заискивающе спросил он и даже по коленке погладил Скрыньку.— Я бы вам за то хороший комиссионный процент дал.

Тут уж ясно стало Скрыньке, что боится Ларион Петрович, как бы задаром не оттягала у него варта клинцовское домовладение, а потому торопится за любую цену сбыть с рук.

— Сразу такие дела не делаются,— важничая, начал он.

Но Ларион Петрович не стал слушать дальше, торопясь высказать мысль, которая, как видно, только сейчас пришла ему в голову:

— А то купили бы вы сами эту усадьбу, Фрол Сергеевич? А?.. По-соседски... Если денег под рукой нет, то я бы вам рассрочку на год дал...

— С рассрочкой, пожалуй, можно подумать,— сказал Скрынька, понимая, что пришел случай, когда покрепче надо хватать за хвост удачу.

— Да боже ж ты мой! Почему не уважить хорошему человеку?.. — радуясь, говорил Ларион Петрович. — Однако, что же мы тут сидим? Пойдемте до хаты, сестра нам что-нибудь выпить и закусить приготовит...

— Уж и не знаю как быть,— сказал Скрынька, у которого не лежала душа встречаться сейчас с женою Якова Шпака.

Справедливо полагал он, что лучше будет договориться о цене один на один с ее братом, чтобы не было какой лишней помехи с ее стороны.

— Ну, так как же?.. — настаивал сосед.— По сухому разве до чего договоришься? А то б сегодня, может, и поладили...

«Не следует терять времени», — подумал Скрынька и вслух сказал:

— Тогда пойдемте лучше ко мне. И у меня, бог даст, закусить кое-что найдется...

Ларион Петрович не дал себя упрашивать и уже минут через пять, сняв чимерку и шапку, сидел, поглаживая усы, за столом в комнате у Скрыньки. Хозяин, решив не будить стряпуху, спавшую во дворе в летней кухне, сам возился у приземистого орехового буфета, доставая оттуда графинчик с рябиновой настойкой, оставшуюся от обеда половину заливного судака и пирог с грибами.

Когда выпили они по первой чарке, Скрынька сразу приступил к делу:

— Ну, говорите свою цену, Ларион Петрович. Только заранее скажу вам: мне ваша усадьба все равно как без надобности. Если и куплю я ее, то только из сочувствия и уважения к вам.

В ожидании сходного ответа он посмотрел на своего гостя.

Но тот молчал. Сидел, положив на стол могучие жилистые кулаки, и в упор смотрел на Скрыньку тяжелым ненавидящим взглядом.

Обмер Скрынька. Ничего еще не было сказано, а уже понял он, что это сидит перед ним его смерть, которую он сам, влекомый жадностью, привел к себе в дом.

7

Тяжкой была последняя ночь, проведенная Яковом Петровичем Шпаком в клинцовской тюрьме. Долго измывался над ним на прощание начальник варты, новоявленный гайдамак — их благородие поручик Паллец со своими доморощенными заплечных дел мастерами. Вывернув руки за спину, толкали старого человека кулаками под вздох, били по спине скрученным вчетверо электрическим кабелем, сшибали с ног внезапным ударом под коленки. Но молчал Яков Петрович.

Взопрело от трудов их благородие, однако так и не до-

зналось главного, что не давало покоя его хозяевам: имен людей, с кем держал связь Шпак в Семеновке, Городне, Чернигове и других городах и селах оккупированной, но непокоренной Украины.

— Черт с ним! — сказал наконец Паллец, вытирая платочком руки. — Хватит. Отведите его в камеру. Завтра ему сердюки покажут, какого цвета у него с изнанки шкура...

С открытыми глазами встретил Яков Петрович холодный ноябрьский рассвет, тусклой полосой обозначившийся в окошке, пробитом у самого потолка. Не боль, сковавшая все тело, мешала заснуть ему, а думы, тесным кругом обступившие его, как любящие дети, пришедшие проститься со своим батьком. Не было сомнения у старого, что начинается его последний день, так как на исходе были уже силы. О прожитой жизни думал Шпак, заново познавая и радость и горечь того, что довелось ему видеть за полсотни с лишком лет с той поры, как стал он помнить себя. Была это трудная жизнь русского рабочего человека, которому не оставили отец с матерью никакого иного имущества, кроме пары крепких умелых рук. Половину России — от Ижевска до Екатеринослава и от Юзовки до Гомеля исколесил Шпак, ища свою долю, пока не осел на жительство в Клинцах. Везде было одно и то же: рабочий день от темна до темна, произвол мастеров, подобных цепным хозяйским псам, штрафы за всякий пустяк, заплеванные казармы, где по углам и щелям густо плодились клопы. А что до еды, так недаром людьми и поговорка на этот случай сложена: «Жинка, а где же тот хлеб, что мы вчера съели?..»

Конечно, и в Клинцах был не мед, но не по своей воле и забрел сюда Яков Петрович. Определено было ему здесь жительство под надзором полиции, после того как отбыл он трехлетнюю ссылку в Сольвычегодске.

Все-таки нашел Яков Петрович Шпак и долю свою и свое счастье. Были они в борьбе за справедливое дело рабочего класса, и дала их ему Российская социал-демократическая партия большевиков, членом которой состоял он с 1905 года.

Надо ли говорить, что не стал колебаться и долго раздумывать Яков Петрович, когда было предложено ему партийным комитетом остаться для подпольной работы в Клинцах, до которых докатилась весной 1918 года кровавая волна оккупации.

Вот какой человек был Яков Петрович Шпак, и вполне

понятно, что было ему о чем подумать, чему порадоваться и о чем погоревать в ожидании смерти.

Когда послышались за дверью гулкие шаги, звяк металла и сердито заворчал отпираемый замок, сказал себе мысленно Яков Петрович:

«Что ж, старина, не подличая, прожил ты свой век, так сумей же и смерть встретить по-честному, как подобает большевику».

Несложными были формальности у начальника немецкого караула при выдаче арестанта на расправу сердюкам. Здоровенный усатый казачина в серой чимерке подмахнул бумажку, в которой значилось, что принял он подследственного Шпака Якова Петровича для доставки на освидетельствование в больницу по причине проявления у него признаков помрачения рассудка.

И вот уже шел Яков Петрович по клинцовским улицам, тяжело переставляя отекшие ноги и зябко ежась от утреннего морозца в своем легоньком пиджачке. Впереди него шагал тот самый усатый казачина, что расписался в приеме арестанта, а позади два сердюка с обнаженными шашками.

— Кузьма! Пан сотник не казал — до казармы старичка поведем, либо дорогой «при попытке» израсходуем?

— Казал — там видно будет...

Услышав эти слова, Яков Петрович невольно поглубже вдохнул свежий морозный воздух и подумал: спереди или сзади ударят его. «Лучше бы спереди»,— промелькнуло у него в голове.

Не доходя до базара, свернули конвойные в узкий безлюдный переулок, выходивший на Туросненскую дорогу. По правой стороне шел высокий дощатый забор баксантовского фабричного двора, а по левой — возвышалась глухая кирпичная стена шерстомойки.

«Если здесь не кончат, значит, поведут к себе в казарму»,— снова подумалось Якову Петровичу.

Не было странным ему, что может он в эти последние минуты почти спокойно размышлять о своей неминуемой смерти.

Черпал он для себя силы в отчетливом сознании, что где-то совсем близко отсюда, быть может, всего за несколько верст, накапливаются для удара красные полки, и не по силам будет откормленным палачам, которые сейчас исполосуют шашками его тело, сдержать их стремительный, победоносный натиск. А раз так, значит, не попусту жил на этом свете Яков Шпак...

Шедший впереди сотник вдруг остановился и злобно выругался. Навстречу им, словно пробкой затыкая выход из узкого переулка, въезжал запряженный волами воз, тяжело нагруженный сеном.

— Куда прешь, дьявол! Повылазило тебе, что ли. Вертай обратно! — орал сотник на возницу, который с насмешливым любопытством глядел на него с травяной горы.

— Как же его теперь поворотить, пане добродию? — рассудительно сказал тот, когда сотник замолчал, чтобы перевести дух.— Сами видите, тут тебе ни цоб, ни цобе.

Хоть сотник был до крайности взбешен неожиданной помехой, однако трудно было спорить против справедливости этих слов. В этом чертовом переулке не то что поворотить воз, но даже разминуться с ним было немыслимо.

Уразумев это, сотник погрозил кулаком вознице и, добавив несколько отборных слов, приказал сердюкам поворачивать обратно.

Однако не тут-то было. Второй воз, груженный сеном, точно такой же, как и первый, громко скрипя несмазанными колесами, въезжал в переулок с другого конца.

— Да вы что, сукины сыны, шутки шутить вздумали! — вскричал сотник, хватаясь за кобуру нагана.

Но было поздно. На баксантовском заборе во весь рост встал человек и, ловко прыгнув сотнику на плечи, свалил его наземь. На сердюков тоже навалилось несколько дюжих хлопцев, и те пикнуть не успели, как уже лежали ничком с заткнутыми ртами.

Один из хлопцев уперся головой в забор, выгнув дугою спину, другой легко подсадил на нее Якова Петровича, и старик опомниться не успел, как очутился на той стороне, в заброшенном дворе баксантовской фабрики.

Здесь его принял в свои объятия Ларион Петрович.

— Ну, Яков Петрович, еще поживем, друже,— говорил он, целуя Шпака в растрепавшиеся усы.— Сдается мне, гладко вышло. Жаль только волов бросать, добрые волы были. Да бог с ними, терять время нам не приходится...

8

Так и не пришел Фрол Скрынька в субботний вечер к Гнатенкам. Не довелось ему услышать ответ, который был уже готов у Маруси для него.

Лишь в понедельник узнала Маруся о том, что случилось с буфетчиком.

Рассказал об этом Иван Федорович за обедом, вздыхая и крестясь для порядка, а в душе радуясь и ликуя. Утром в воскресенье вошла в дом к Скрыньке бабка-стряпуха и увидела такое, что чуть было на месте не померла от страха: лежал мертвый Фрол Скрынька под столом, на котором стояло блюдо с заливным судаком, грибной пирог и две чарки с рябиновой настойкой. А в доме все было цело, ни на одном сундуке замок не сбит. И еще говорила бабка, что ни разу не забрехал в ту ночь во дворе спущенный с цепи степной овчар-волкодав.

— Помилуй бог! — сказала бабуля. — Хоть и вредный был тот Скрынька, однако царствие ему небесное.

— Ты, старая, не заговаривайся,— возмутился Иван Федорович. — За что ему царствие? За то, что кровь из людей, как паук, сосал? Не царство ему, а котел с кипящей смолой в геенне огненной!..

— Все ж таки человек...— сказала бабуля.

А Маруся молчала. После пережитых волнений спокойствие вошло в ее душу, и ни чуточки не было ей жалко Фрола Скрыньку.

Иван Федорович, вдруг что-то вспомнив, ободряюще посмотрел на внучку и сказал:

— А еще я слышал, доню, что сдают завтра немцы без боя Клинцы Щорсу...

9

Вот и свиделись Павло и Маруся.

С песнями, с распущенными красными знаменами вступал Богунский полк в Клинцы. Ликованием были переполнены сердца бойцов.

С головокружительной быстротой развертывались события последних дней. 13 ноября ЦИК принял постановление об аннулировании грабительского Брестского договора, военной силой навязанного германскими империалистами молодой Республике Советов. А 17 ноября по инициативе Ленина был создан Реввоенсовет Украинского фронта. 19 ноября Щорсом был получен приказ о наступлении на Киев для поддержки восставших рабочих и крестьян Украины.

Сплошным праздником были первые дни продвижения вперед. Революционно настроенные немецкие солдаты укрепленного участка Лыщичи — Кустичи — Бряново, где особенно сильна была большевистская пропаганда, сами сняли проволочные заграждения у демаркационной линии,

освобождая дорогу Богунскому полку. Без боя были заняты Кореневка, Богородское, Черенецкая, Ардон. Измученное население со слезами радости встречало красных бойцов. Наплыв добровольцев в Богунский полк был так велик, что иные роты за первую же неделю марша удвоили численность своего состава.

Несколько дней продолжались переговоры штаба полка с немецким Советом солдатских депутатов Клинцовского гарнизона. Первым своим условием ставил Щорс арест немцами чинов варты и освобождение всех пленных и арестованных, находившихся в тюрьме.

Готовы были делегаты немецких солдат принять все условия Щорса, только бы заручиться его обещанием, что он не будет чинить им препятствий при отходе на запад, в Германию. Они обещали разоружить гайдамацкие отряды, передать богунцам интендантские склады, в полной сохранности оставить на пути своего отхода телеграф, телефон, мосты и прочие железнодорожные сооружения. Но каждый раз делегаты начинали колебаться, когда речь заходила о том, как поступить с офицерами. Германское офицерство в своем подавляющем большинстве было настроено явно контрреволюционно. Только в немедленном аресте офицеров видел Щорс гарантию, что немцы действительно выполнят свои обязательства. Солдатские же делегаты то давали на это согласие, то брали его обратно. Чувствовалось в этом скрытое влияние шейдемановцев[1], которые хотя открыто выступать не решались, но вели исподтишка по казармам свою пропаганду, доказывая, что отстранение от командных постов офицеров, а тем более их арест, якобы умалит национальное достоинство немецких войск и лишит их организованности на тысячеверстном пути в Германию...

Тем временем богунцы подошли вплотную к окраинам Клинцов, и 28 ноября гарнизонный совет дал согласие на мирную передачу посада красным частям.

...Четвертая рота двигалась впереди других, выделенная Щорсом для поддержания порядка.

На станцию вступили без особых происшествий. Все шло спокойно. Немцы вывесили из окна комендатуры белый флаг и на перроне не показывались. Державной варты и духу не было.

Но когда проверяли помещение вокзала, откуда-то вы-

---

[1] Шейдемановцы — социал-шовинисты — являлись наиболее реакционной частью германской социал-демократии в этот период.

рвался начальник станции Бжозовский и, бестолково стреляя из «бульдога», побежал искать защиты у немцев.

— Стой, псюга! — закричал Добья и со всех ног кинулся за Бжозовским, потому что никак не считал оконченным свой ночной разговор с начальником станции.

И тут увидел Марусю.

Она стояла в дверях служебной комнаты, испуганными, но сияющими глазами глядя на него.

От радости Добья замешкался, и Бжозовский, воспользовавшись этим, выскочил через открытую дверь на перрон.

— Я сейчас, Маруся! — крикнул Добья, круто поворачивая за ним.

Но так и не довелось Добье высказать Бжозовскому все, что думал о нем. Хлопнул выстрел, и, когда выбежал Добья из вокзала, начальник станции уже лежал поперек перрона, грузный и сразу обмякший. Только нафиксатуаренный ус его острым, как шило, концом торчал кверху.

Сам наскочил на свою смерть старый скаженный пес, от которого отвернулись его случайные хозяева...

— Первый взвод, становись! — в боевом запале командовал Васька Кочетков, пряча в кобуру кольт.

Оглянулся Добья, но не увидел Маруси. Вот это, называется, свиделись!..

«Ничего, вечером наговоримся вдосталь»,— утешал он себя, занимая свое место правофлангового.

Однако не пришлось им свидеться ни в тот вечер, ни в следующий...

СМЕРТЬ ВАСИЛИЯ КОЧЕТКОВА

1

Яковенко скинул шинель и на полосы изорвал свою новую, еще не обношенную гимнастерку.

Лицо Василия Кочеткова то бледнело, то бралось багровыми пятнами.

— Будто давно воюю, а кровь еще есть,— сказал он и трудно улыбнулся, не разжимая зубов.— Гляди, как из кабана течет...

Яковенко жгутом перетянул ему ногу повыше колена.

— Туже! — сказал Кочетков. — А ну, еще туже...

За перелеском прокашлялся и стих пулемет. Винтовоч-

ные выстрелы вспыхивали и гасли, мгновенно сгорая, как сухой хворост.

— Сволочи, ах, сволочи... — пробормотал Кочетков.

Он сдернул с винтовки Яковенко штык и, подсунув под жгут, повернул, закручивая повязку.

Лицо его потемнело, губы будто кто присыпал золой.

— Вот так... — с натугой выговорил он. — Некогда с бинтами возиться.

Яковенко надел шинель и помог ему подняться.

— Обопрись на меня,— сказал он, берясь за хобот пулемета.

Кочетков упрямо мотнул головой и, налегая всем телом на винтовку, запрыгал к кустам.

— Держись правее! — крикнул Яковенко и побежал следом за ним, волоча «максима» по осклизшим мерзлым кочкам.

У канавы Кочетков пошатнулся и сел на землю.

— Ты что?.. Ослаб?.. — спросил Яковенко, наклоняясь над ним.

— Иди, я нагоню, — сказал, запаленно дыша, Кочетков.

Он пошарил у себя на груди, расстегивая пуговицы бушлата.

— Крови у меня много ушло,— сказал он тихо, будто удивляясь своим словам.

Где-то неподалеку послышалась команда. Яковенко сполз в канаву, таща за собой пулемет. Между деревьями замелькали люди в касках и серых папахах.

— Ах, суки, — сказал, припав к земле, Кочетков. — Хоть бы еще одна лента...

Минут пять они лежали молча.

Мохнатые снежинки медлительно кружились в неподвижном воздухе, казалось выбирая место, где прикоснуться к мокрой земле. С голых кустов боярышника падали редкие капли...

Голоса стихли. Потом впереди ударил выстрел, и кто-то закричал пронзительно и страшно, захлебываясь, без слов. И вдруг сразу оборвался, замолк.

— На штыки взяли, — выдохнул Яковенко и зябко вздрогнул, только сейчас почувствовав холодную сырость земли, забравшуюся под сукно шинели.

— Молчи, — сказал Кочетков. — Суки, ах, суки проклятые!..

Он лежал с закрытыми глазами, и судорога тенью пробегала по его щеке.

Яковенко потянулся к брошенной им винтовке.

— Молчи... Говорю, молчи, Гришка...— повторил с угрозой Кочетков и открыл глаза, бледно-голубые, словно подернутые холодным речным туманом.

У него начинался озноб. Он попробовал сесть, опираясь на руки.

— Не могу больше... Отпустить надо...

Яковенко выдернул из повязки штык.

— Видно, пуля кость тронула,— сказал, морщась, Кочетков.

Мертвый кленовый лист, втоптанный в землю у его ног, зарозовел, подплыв кровью.

— Обойми меня за шею, может, донесу,— сказал Яковенко.— Версты две, и наши будут...

Руки Кочеткова вяло сомкнулись у него на груди.

Яковенко пополз по канаве, задевая коленями жесткие корни деревьев, то там, то здесь выступавшие из рыхлой земли.

Кочетков дышал порывисто и часто. Его подбородок тяжело давил на плечо Яковенко. По лесу шел шорох от падавшей с веток капели, и порой Яковенко казалось, что кто-то осторожно крадется рядом, прячась в невысоком осиннике.

Потом снова послышались голоса. Они раздавались совсем близко, за кустами справа, и Яковенко отчетливо разобрал, как один из гайдамаков спросил у товарищей закурить.

— Табачок ваш, бумажку дашь, то и покурим, — ответил кто-то с издевкой...

Пока отлеживались в канаве, Кочетков был тих. Он бережно подбирал палые листья, стараясь донести до рта дрожавшие на них капли влаги.

— Двигаем?.. — спросил его Яковенко, когда кругом стало спокойно.

Кочетков ухватился рукой за торчавший возле него корень, изогнутый, словно бараний рог, и, приподнявшись, беспокойно огляделся по сторонам.

— А пулемет? — сказал он, звонко стуча зубами. — Про пулемет... мы с тобою... забыли?

Губы его пожелтели и запеклись.

— Вертайся за пулеметом, Гришка, — выговорил он, сдерживая одолевшую его дрожь...

Яковенко пополз обратно. Он думал, что они уже далеко от поляны, где был ранен Кочетков, но она оказалась тут же, шагах в ста, не больше. Пулемет лежал в

канаве набоку, зарывшись дулом в прошлогодние листья. Яковенко зацепил его ремнем за хобот. Ползти было трудно. Цепляясь за корни, пулемет упирался, словно живой...

Кочетков сидел, привалясь плечом к молодой березе, и в руке его, отброшенной в сторону, чернел вынутый из кобуры тяжелый плоский кольт.

— Хороши бы мы с тобой были, товарищ Яковенко,— сказал он, усмехаясь своей всегдашней широкой и жестковатой улыбкой.

Яковенко шумно вздохнул, отирая рукавом шинели пот. Ему показалось, что Кочеткову лучше.

— Погоди, Вася... Сейчас, только пулемет листьями укрою,— сказал он, и от сердца у него отлегло.

Васька исподлобья следил за ним открытыми настежь сумрачными глазами.

— Ты что, товарищ Яковенко, шутки шутишь?.. — заговорил он, тяжело двигая скулами. — Богатый нашелся.

Яковенко в недоумении посмотрел на него.

— Я же вернусь еще,— сказал он.

— А если нельзя будет?.. Ты о том подумал? Да знаешь ты, что значит сейчас пулемет для Щорса?

— Ты чего кричишь? — спросил Яковенко, тоже теряя спокойствие. — Двоих я вас, думаешь, скоро допру... Кровью изойти хочешь?..

Кочетков угрюмо слушал его.

— Вот что, Гришка,— сказал он, играя кольтом.— Бери пулемет и айда. Ясно?..

— А если нет?

— Заставлю...

Он скрипнул зубами, отгоняя вновь подступивший озноб, и щелкнул предохранителем.

— Пойдешь?

— Нет, — сказал упрямо Яковенко, — не пойду... Что я — шкура, чтоб тебя на смерть кинуть?

— Помолчи, Гришка!..

Черный глазок кольта в упор взглянул на него.

— Ну?

— Так вот ты как! — сказал с обидой Яковенко. — На испуг взять хочешь?.. Что же, стреляй, коли на то дело пошло!..

С минуту они молча, не уступая, смотрели друг на друга.

— Ладно, поиграли — и хватит,— промолвил наконец с какой-то блуждающей улыбкой Кочетков, убирая руку с кольтом. — Я тебе дело говорю, Гришка. Оттащишь пу-

лемет, за мной вернешься. До вечера как-нибудь продержусь.

— А если застукают?

— То и с тобой может быть...

Снег пошел чаще. Он уже не таял, ложась на ржавую траву и рыбьей чешуей покрывая прелые листья...

— Нет. Будем вместе выбираться, товарищ Кочетков,— сказал Яковенко, прислушиваясь к перестрелке, которая теперь перебросилась к самому Ардону.— И пулемет потянем... Осилю как-нибудь. Только бы через железнодорожную насыпь перемахнуть...

— Не справишься, Гриша,— сказал Кочетков, и в потеплевшем голосе его что-то дрогнуло.— Кабы я хоть чуточку мог...

Он закусил губу, пробуя привстать, но тотчас же откинулся назад. Лицо его напряглось, стало злым и неприступным:

— Ступай, Гришка... Не тревожь мне душу...

И видя, что тот медлит, вдруг весь передернулся, снова поднимая кольт.

— Ты что, зануда?.. Смерти моей дождаться хочешь?..

— Брось, Васька! — крикнул Яковенко, подаваясь к нему, и осекся, поняв по его виду, что еще движение — и он всадит себе пулю в висок.

— Бери пулемет и двигай, товарищ Яковенко! — твердо сказал Кочетков, забирая над ним власть. — Не бойся, свидимся еще...

2

Василия Кочеткова хоронили на другой день. На лесной поляне за Ардоном, меж двух могучих сосен, зарыли его товарищи. И рядом с ним в просторную братскую могилу положили двадцать молодых бойцов Богунского полка, нашедших себе под Клинцами смерть от предательской белофицерской пули и злого гайдамацкого штыка...

Гневно полоскалось и хлопало по ветру над желтой песчаной могилой червонное полковое знамя.

Сила народу собралась на похороны из Ардона и окрестных сел. То там, то здесь серели в толпе германские шинели. Немало пришло из Клинцов революционно настроенных немецких солдат-спартаковцев, чтобы выразить свое сочувствие и показать, что не хотели они этой крови. Вместе со всеми без шапок слушали речь Щорса солдаты

германской оккупационной армии, жадно ловя знакомые русские слова.

Яковенко стоял в первом ряду богунцев, у самой могилы. Потрясенный Щорсовой речью, вспоминал он в эти короткие прощальные минуты все, что знал о своем командире и товарище Василии Кочеткове.

...Гнилая весна шла с полесских болот, и вместе с ней затопляли Украину полки кайзера. Второй день перед Речицей бился, изнемогая, красногвардейский отряд гомельских рабочих. А мимо медленно ползли на восток один за другим эшелоны, битком набитые вооруженными фронтовиками. Безудержно стремились домой толпы солдат, одуревших от проклятого окопного сидения. Скорей бы добраться до своего села, до своей хаты... И вот, когда гомельцы, сберегая последние патроны, отбросили штыковым ударом атаку вражеских цепей, подбежал к такому эшелону молодой красногвардеец, весь залитый своей и чужой кровью.

— Вы... Вы люди или нет? — закричал он, в ярости потрясая винтовкой. — Не видите разве, что ваши братья умирают?

Лязгая буферами, прополз мимо эшелон, но спрыгнуло с него человек тридцать, в ком не заснула совесть, — и был среди них Василий Кочетков, матрос эскадронного миноносца «Свобода». После тифа на побывку домой, в Ярославскую губернию, ехал Кочетков, но переломился здесь, у Речицы, его путь...

— Эх, Вася, Вася... — беззвучно прошептал Яковенко, и предстал перед ним Кочетков таким, каким запомнился при первой встрече, месяца полтора назад.

— ...Пойдете к Зубову, — сказал тогда Щорс, опросив Яковенко вместе с другими новоприбывшими. — Отборный батальон, вы не сомневайтесь...

И пошел Яковенко разыскивать комбата Зубова, радуясь своей удаче, но и чуть робея.

Во дворе, у дощатого забора, там, где землю уже пригрели ранние лучи сентябрьского солнца, сидели на вялой, побитой утренником траве три человека: красивый чернявый парень с обветренным солдатским лицом и суровым взглядом карих глаз, худой сутулый еврей в защитной гимнастерке и длинных, выше колен охотничьих сапогах и матрос-черноморец — плечистый, чубатый, с редкими рябинками на скуластом лице.

Чугунный казанок дымился перед ними густым белым паром.

— Не скажете ли вы, товарищи, где мне найти комбата Зубова? — спросил их Яковенко и невольно хватил носом смачный запах пшенного кулеша, на совесть заправленного салом.

— А за какою тебе надобностью тот Зубов? — отозвался, усердно дуя на деревянную ложку, чернявый.

— Послан в его распоряжение командиром революционного Богунского полка товарищем Николаем Щорсом,— ответил, как ему казалось, по-военному Яковенко, больше всего боясь, чтоб не подумали те, будто он совсем новичок.

Чернявый хлебнул кулеша, отер ладонью губы и спросил:

— Грамотный, верно?

— Грамотный, — ответил, удивляясь вопросу, Яковенко, не собиравшийся вступать с ним в долгие разговоры.

— В писаря пойдешь?

— Смеетесь! — вскипел Яковенко. — За тем я сюда ноги бил?

— Алеша, ша! — сказал матрос, с хрустом пережевывая крупными белыми зубами горбушку паляницы. — Возьми полтона ниже...

И он озорновато скосил на Яковенко светлый ястребиный глаз.

«И впрямь, не стоит для начала ссориться»,— подумал Яковенко и сказал миролюбиво:

— Так не знаете, где товарищ Зубов?

— Может, и знаем, а тебе не скажем, — усмехнулся чернявый.

— Это почему же?

— А ты зачем серьезный такой? — сказал молчавший до той поры еврей и подмигнул матросу.

«На пушку, черти, берут», — решил Яковенко.

— Не хотите сказать и не надо, без вас обойдется,— буркнул он, поворачиваясь к ним спиной и высматривая, кого бы еще спросить насчет Зубова.

— Стоп! Задний ход!.. Заворачивай обратно, братуха!.. — крикнул матрос.

В голосе его не было насмешки, и Яковенко решил оглянуться.

— Ну чего еще? — спросил он через плечо.

— Садись с нами кулеш хлебать!..

— Спасибо, я покушал...

— Врешь, по глазам вижу.

— Ничего там не видно, — сказал Яковенко, подходя, однако, поближе.

— Серьезный парень, — снова промолвил еврей, качая головой. — С огоньком...

Он, все время посмеиваясь, смотрел на Яковенко, но черные, глубоко запавшие глаза его были печальны.

«Видно, вдосталь хлебнул человек на своем веку горя, — с невольной симпатией подумал о нем Яковенко.

— Так тебя вправду комполка к Зубову послал? — спросил чернявый.

— Что же я, брехать буду? — обиделся Яковенко. — Такой привычки не имею...

— Придется мне этого хлопца в помощники взять, — сказал, скаля зубы, матрос. — Как, уступишь, а, товарищ Зубов?

И широкой загорелой рукой он хлопнул по колену чернявого...

...За какую-нибудь минуту снова пережил все это Яковенко, и прозрачная чистота воспоминаний новой болью наполнила его сердце.

— Эх, Вася... Вася...

А Щорс меж тем говорил о черном предательстве, вырвавшем из рядов богунцев матроса-большевика, боевого командира взвода Василия Кочеткова и еще двадцать других молодых товарищей. Не было оправдания тому, что произошло накануне.

...С оркестром впереди, стройными рядами поротно вступали в посад богунцы. Всем было известно, что, подчиняясь требованию своего гарнизонного солдатского совета, подписало немецкое командование соглашение о мирной передаче Клинцов частям 1-й Украинской советской дивизии. Там, где кончался лес, на мосту через реку Московку с красными знаменами встретили богунцев рабочие клинцовских фабрик. Праздник был, радость была такая, что даже Васька, забыв держать морской фасон, хлопнул о землю бескозыркой и, широко распахнув руки, по русскому обычаю обнялся и трижды расцеловался со старым ткачом, у которого на седых усах дрожали пролившиеся из глаз светлые, как утренняя роса, слезы...

И вдруг началось... Ударили в спину богунцам скрытые в засаде немецкие пулеметы, и с двух сторон пошли в обхват гайдамацкие цепи...

— Не мы хотели лишней крови, так пусть же на себя пеняет остервенелый враг, проливши ее! — слышал Яковенко звенящий голос Щорса. — Отныне будет у нас один

закон для тех, кто не сложит перед нами оружия: за око — два ока, за зуб — все зубы!..

Яростным гулом отозвались слова Щорса в рядах бойцов.

— А где же были в это время вы, революционные солдаты Германии? — гневно спрашивал Щорс. — Почему до сих пор не арестованы вами негодяи, нарушившие честное солдатское слово? Или вы не в силах обуздать свое контрреволюционное офицерство?.. Сегодня в его руках оставляете вы пулеметы и орудия. Помните же, что завтра против вас самих, против германской революции будут повернуты они.

Щорс замолчал. Молчали все... Только ледяной ноябрьский ветер, тревожно трубя, раскачивал верхушки вековых сосен, да салютовало мертвым бойцам тяжелое, золотом прошитое полковое знамя.

И тогда встал рядом со Щорсом худой, изможденный солдат ландверного полка.

— Геноссе!.. Товарищи!.. — голосом сдавленным и резким сказал он и умолк, прижав к груди сорванную с головы фуражку, словно стремясь унять внезапно подступившую к сердцу боль.

— Пельг... Пельг... — пронеслось по рядам.

Яковенко слышал об этом человеке. За организацию революционной спартаковской группы в частях ландвера был Пельг приговорен военно-полевым судом к расстрелу, и только пришедшее в ночь перед казнью известие о революции в Германии спасло его.

Стоя на краю широкой могилы, Пельг обвел лихорадочно горящими глазами лица пришедших на похороны немецких солдат, и не каждый выдерживал его тяжелый, ответа требующий взгляд.

— Говори же, Пельг! — крикнул кто-то, больше не в силах вынести такое молчание.

— Да, я скажу... Я скажу вам суровое слово правды, солдаты оккупационной армии, ставшие на путь революции!.. — заговорил Пельг, тотчас же слова его, полные горечи и гнева, были громко повторены выступившим вперед переводчиком. — Чем смоем мы наш позор? Чем заплатим за братскую кровь, пролитую по нашей вине?.. Сегодня утром пришли ко мне двадцать отличных стрелков егерского полка и сказали: «Пельг! Передай Щорсу, что мы хотим встать на место бойцов, погибших в результате вчерашней провокации, чтобы сражаться до полной победы революции на Украине». Разве не от души гово-

рили они? Но перед лицом своей совести я им сказал — нет! Какую цену для великого дела революции может иметь ваш благородный порыв? — спросил я их. — Даже пожертвовав своей жизнью, не сможет каждый из нас в отдельности искупить зло, которое мы причинили русским и украинским рабочим и крестьянам. Лишь немедленными революционными действиями для освобождения Украины можем мы смягчить свою вину. Для этого прежде всего надо сломить силы контрреволюции в наших собственных рядах. Мы должны поднять ярость солдатских масс против тех, кто сделал Германию жандармом капиталистической реакции в Европе, а нас, немецких рабочих, одетых в солдатские шинели, — душителями свободы и социализма... Нам предстоит жестокая борьба!.. Немецкие рабочие должны взять власть в свои руки, иначе через несколько лет нас снова погонят на бойню. Русская революция указывает нам путь!..

3

Кончились похороны, разошелся народ, но Яковенко не трогался с места. Стоял и глядел на крутой холм братской могилы, на котором шевелилась под порывами ветра темная зелень еловых веток, перевитых красными лентами, — последняя ласка товарищей...

С тихим шорохом сыпался к ногам Яковенко мелкий чистый песок.

— Вот и все... Больше ничего не будет. Прощай, Вася...

Ощущал Яковенко какую-то вялость и нудьгу во всем теле. После бессонной ночи все вокруг виделось ему с такой несносной отчетливостью, что было больно глазам, — хотелось прислониться к дереву, зажмуриться и так стоять, ни на что не глядя, ни о чем не думая.

Сумрачно и бесприютно было в лесу. Как погорелые, чернели стволы сосен, и низко шли над их вершинами дымные облака, гонимые непогодой.

Еще сумрачней было на душе Яковенко. Нарочно остался он в лесу, чтобы не встречаться ни с кем, но разве от самого себя уйдешь? И от мыслей своих не уйдешь никуда и от того, что слепо бережет память.

Всеми силами гнал Яковенко одно давнее воспоминание, но оно неотступно было тут, рядом, и стоило ему только на мгновение забыться, как тотчас же всплывало оно перед его глазами.

Опять видел Яковенко, как вскипает частою рябью

свинцовая гладь широкого озера, жмется на пригорке старый город, придавленный к земле такими же тяжелыми тучами, как сегодня. По намокшему настилу моста глухо стучат копыта лошадей, хлюпает жидкое месиво под колесами скрипучих возов, на которых везут крестьяне в город, на базар, дремлющих кур со связанными ногами, крупную розовую картошку и лоснящиеся желтые гарбузы. Подоткнув широкие спидницы так, что видны заляпанные грязью голые икры, бредут по мосту женщины с четвертными бутылями молока в перекинутых через плечо холщовых саквах. И женщины, и возчики в потертых серяках, и ребята, что, сидя на возу с поджатыми ногами, лузгают прямо из подсолнуха сырые семечки, — все продрогли, и никто не смотрит на слепого лирника-нищего, который примостился прямо на мокрых досках у самых перил моста.

Дряхл и немощен был старик. Он сидел понурый, склонив набок оголенную временем усталую голову, и в рваной шапке, лежащей перед ним, виднелась только одна медная копейка, еще ранним утром брошенная туда каким-то сердобольным прохожим. Надорванным голосом тянул он под аккомпанемент воловьих жил, натянутых в грубо сколоченном деревянном ящике, слова старой, вроде как бы церковной песни. Тряслась рука его, густо оплетенная набухшими венами, медленно крутя ручку нищенского инструмента, словно в насмешку названного лирой, и ветхое дерево скрипело и плакало заодно с хозяином...

Но не псалом Давидов и не про многострадального Иова пел старик. О том, как бежали с турецкой каторги три брата-казака, рассказывала сложенная народом в стародавние времена песня, и, зачарованный, стоял десятилетний Гриша Яковенко, стараясь разобрать в унылом пении старика суровые слова ее.

...Выжженной летним зноем степью бежали из Азова от турецкой погони братья-казаки — два конных и один пеший-пешаница. В кровь посек ноги о белые камни младший, догоняя братьев своих, хватил их за стремена, просил не бросать его среди дороги, а посадить позади седла и довезти до родной земли. Но лишь о себе думали неразумные казаки. Не смилосердились они над меньшим братом, бросили его одного на погибель в бескрайной степи. На Осавур-могиле справили ему похороны чернокрылые орлы и волки-сиромахи... Но не увидели родного дома и старшие братья. У речки Самарки настигли их

турки-янычары — постреляли, порубали и бросили истлевать на чужой стороне, среди дикого поля.

В первый раз слышал тогда Гриша Яковенко кобзарскую думу, и глубоко поразило его, что обернулось вдруг живое гневное слово ее в устах слепца смирением молитвы:

— Рассказано сие не в осуждение, грешным душам во спасение, людям добрым в поучение... А слава не умрет, не поляжет отныне и до века, — заключил свое пение невнятной скороговоркой нищий, перекрестился и, нащупав у себя на коленях яблоко, брошенное с проезжавшей мимо подводы, стал медленно жевать его беззубым ртом.

Так и осталась у Яковенко обида на старого слепца. За что? Трудно было бы ответить тогда. Должно быть, за то, что, растревожив детскую душу, не проклял он навечно страшными словами тех, кто мог бросить брата и товарища своего в смертельной беде...

Немало лет минуло с того дня, но, видно, хранила память где-то в своем тайнике воспоминание о нем, чтобы теперь, словно судья, спросить Яковенко перед лицом совести:

«Как же ты бросил на смерть своего товарища?..»

— Неправда это. Не мог я... — сказал себе Яковенко, но ему не стало легче от этих слов.

Знал Яковенко, что никогда не забудет прощального взгляда светлых, будто холодным речным туманом подернутых глаз Кочеткова, без страха открытых навстречу смерти.

Нет, не слова оправдания нужны были ему сейчас...

Позади хрустнула ветка, — Яковенко вздрогнул. К нему подходил комбат Зубов.

— Это ты, Яковенко? — спросил Зубов таким тоном, словно никак не надеялся увидеть его здесь. — Да, брат, вот она жизнь наша какая...

«Меня искал», — подумал Яковенко и промолчал. Не то чтобы ему был неприятен в эту минуту Зубов, — просто нечего было сказать в ответ.

— А ты, Гриша, вроде меня: кремневые глаза имеешь. Я вот и рад порой поплакать, да нет слез... Плохо это — на сердце все ложится.

Яковенко молчал. Зубов повернулся спиной к ветру и стал закуривать... Искры, будто огненные мухи, взмывали от плохо скрученной цигарки и гасли на лету, не достигнув нависших над головой мокрых ветвей сосен.

— Задувает сегодня, — промолвил Яковенко, лишь бы сказать что-нибудь.

— Как? — переспросил Зубов.

— Ветер, говорю. Задувает...

Разговор не клеился.

— Ну, я пошел, — сказал, помолчав, Зубов. — Смотри не простынь тут, Яковенко...

Сделал несколько шагов и остановился.

— Да, чуть не забыл. Щорс велел передать, чтобы зашел ты к нему вечером, когда ваша рота на караул заступит. Разговор у него есть к тебе...

4

В ту ночь пропускали богунцы через свои передовые посты надежных товарищей для политической работы в тылу врага. Одетые кто под сезонного рабочего, кто под зажиточного хуторянина, а кто и под торговца всяким мелким товаром, шли и ехали подпольщики на Семеновку, где была первая явка, чтобы, получив там маршрут, свернуть к Чернигову и Киеву, а то и на Волынь или Подолье.

Часов после одиннадцати, когда стала на караул четвертая рота, пришел Яковенко в помещение штаба. Там было тихо и пусто.

— Пройдите по коридору в крайнюю комнату, — сказал хмурый, казалось всегда чем-то озабоченный комендант штаба Гофман, так пристально оглядев Яковенко, словно видел его впервые.

В маленькой комнате, где низкое окно было занавешено чьей-то шинелью, было немного людей. Они сгрудились вокруг стола, на котором мигал в блюдце заправленный смальцем дымный каганец. Беспокойные тени ползали по потолку, колебали стены, наполняя комнату неуловимым тревожным движением.

Осторожно прикрыв за собой дверь, Яковенко остался стоять у порога, прислушиваясь к беседе, которую вел с отъезжающими Щорс:

— Надо, товарищи, чтобы про манифест Временного рабоче-крестьянского правительства Украины как можно быстрее узнали в каждом городе, в каждом селе и местечке, потому что сила его в нашей борьбе с врагом во много раз большая, чем сила штыков и винтовок. В сердце своем несите его народу, чтобы в любой час — и при свете дня, и во тьме ночи — могли наизусть повторить его

слова: «Пробил час смерти господству буржуазии на Украине. Все фабрики, заводы, банки, торговые предприятия, рудники, каменоломни объявляются собственностью украинских трудящихся масс и должны быть сданы органам советской власти. Все земли помещиков должны быть немедленно отобраны безвозмездно и переданы крестьянам... Все права крестьян и рабочих, установленные советским правительством, приобретают полную силу...» Вот это и есть, товарищи, наша политика, и любой, даже самый темный селянин поймет и поддержит ее.

Щорс сидел напротив двери, прочно положив на стол локти, чуть подавшись вперед, к своим слушателям. Неровный свет ложился снизу на его волевое лицо, бросая тени на лоб и углубляя морщины между сурово сдвинутыми бровями, отчего выглядел сейчас командир полка намного старше своих лет.

— Нигде... ни при каких обстоятельствах... не забывайте об организующей силе нашей партии, — четко и отрывисто говорил Щорс, словно разрубая каждую фразу на части коротким ударом ладони о стол. — Бездну унижений претерпел наш народ. Революционный пожар разгорается повсеместно. Значит, и большевистские организации должны расти и крепнуть день ото дня...

Упрямым движением головы он отбросил назад каштановую прядь волос, нависшую над крутым лбом, и, заметив Яковенко, кивнул ему, давая знак обождать. Желтый огонек каганца замерцал в его глазах, как лунный свет на дне колодца.

— Сила народной ненависти — святая и страшная сила, — продолжал Щорс. — Любого врага сокрушит она. Однако найдется немало охотников загребать жар чужими руками. Сейчас и куркуль[1] против оккупанта идет. А Петлюра, так тот прямо в спасители Украины вылезть хочет. Думает, у народа короткая память, забыли люди, как он нашу батьковщину и оптом и в розницу германским империалистам продавал... Селянин должен узнать, кто друг ему и кто враг... В работе своей опирайтесь на бедноту. Куркулям ходу не давайте...

«Зачем он меня позвал?.. — гадал Яковенко, прислонясь к косяку двери и слушая Щорса. — Может, в разведку послать хочет?»

И он подумал, что, верно, хорошо было бы сходить в разведку. Казалось, что любая опасность сейчас нипочем,

[1] Куркуль — кулак.

лишь бы можно было хоть на время забыть случившееся вчера, отогнать мучительные мысли, разобраться в которых не хватало сил.

Открылась дверь. Гофман внес добытую им где-то лампу «молнию» без абажура. Ровный белый свет озарил комнату.

— Совсем ослепил, — покосился на коменданта Щорс, щуря глаза.

Резкость теней над его густыми бровями исчезла, лицо вдруг стало открытым, молодым и немного усталым.

Сидевшие у стола зашевелились. Кто-то звучно плюнул на пальцы и погасил каганец.

— Итак, еще одно последнее сказание, — промолвил Щорс и посмотрел на часы, которые носил на запястье в кожаном браслете. — Доводилось мне, товарищи, встречать иных умников, для которых все, что было до них на белом свете, — вроде как бы пустое место, выеденного яйца не стоит. По их выходит, что отвернуться от своих отцов и дедов — очень революционное дело. Однако если толком разобраться, то никакая это не революционность, а либо невежество, либо прямая вражеская провокация. Вот поэтому я и говорю вам: поднимая людей в бой за будущее, не отдавайте врагу наше прошлое. Спокон века была история нашего народа историей борьбы трудящегося люда против панов и всяческих эксплуататоров, а также против хищных иноземцев, что тянулись окровавленными когтями с юга и с запада к нашей земле. И нельзя о том ни забыть, ни умолчать, что не одиноки мы были в этой борьбе, что в самые тяжкие годины нашей истории подпирал нас своим могучим плечом наш кровный брат — русский народ. Так не давайте же Грушевским, Ефремовым [1] и иже с ними обряжать в бархат и аксамиты истлевшие кости гетманов, не давайте этим прожженным иезуитам отравлять молодые умы ядом шовинизма. Нам, большевикам, принадлежит славная история украинского народа, а не Скоропадскому и Петлюре... Помните, что недаром полк наш носит имя славного сподвижника Богдана Хмельницкого — народного героя Ивана Богуна.

Щорс помолчал, словно давая возможность своим слушателям получше уяснить сказанное им, и коротко закончил свою речь:

— К часу ночи быть готовыми без опоздания. Через

---

[1] Украинские историки-националисты — идеологи петлюровщины.

посты вас проводит товарищ Яковенко. Рекомендую.

Люди шумно поднимались из-за стола. Толпились около Щорса, задавая последние вопросы.

— А, старый знакомый!..

На Яковенко глянули печальные глаза веселого еврея, которого он не видел больше в полку после памятной встречи в день своего прихода. Только теперь был его знакомец не в болотных сапогах, а в штиблетах и старых галошах. Потертое демисезонное пальто едва доставало ему до колен, и весь он, худой и сутулый, был в точности похож на какого-нибудь забитого, задавленного нуждой местечкового портного.

«Видно, на подпольной работе все время был человек, да и теперь, может, прямо на смерть идет...» — подумал Яковенко и, взволновавшись, крепко пожал его холодную костлявую ладонь.

— Серьезный парень, — говорил еврей Щорсу. — Я его знаю, — о-очень серьезный...

«А про Кочеткова он, верно, не слыхал еще, — решил почему-то Яковенко. — Сказать?»

И сам себе ответил:

«Не надо...»

5

— Товарищ Яковенко! Задержитесь на минуту! — окликнул его Щорс, когда комната начала пустеть. — Садитесь сюда — поближе...

Лицо командира полка снова потемнело, стало суровым и замкнутым.

Яковенко опустился против него на стул.

«Проверяет, — мелькнуло у него в голове. — Ну и пусть», — с неожиданным для себя спокойствием подумал он. Знал Яковенко, что не будет для него на всем свете более строгого и безжалостного судьи, чем он сам.

— Как это случилось? — спросил Щорс и, словно отдыхая, откинулся на спинку стула.

Яковенко потупился. Ему казалось, что он все равно не сумеет рассказать так, чтобы кто-нибудь другой понял до конца то, что пережил он.

— Кочетков с пулеметом прикрывал отход... — начал он, медленно подыскивая слова.

— Это я знаю, — прервал его Щорс. — Как его ранило?..

Рассказывая, Яковенко все время чувствовал на себе

упорный и, как ему казалось, недоверчивый взгляд Щорса. Он несколько раз хотел убедиться — так ли это, но самолюбие удерживало его. «Смотрит... И пусть смотрит!..» И он говорил, не щадя себя, испытывая стыд и злобу, когда вдруг срывался голос и что-то, что было сильней его, удавкой перехватывало горло...

— А как по-вашему, товарищ Яковенко, — вдруг спросил Щорс, — правильно поступил Кочетков?..

Яковенко медлил.

— Не стесняйтесь... Говорите, как думаете...

В доме стояла тишина. Взвизгивая, пробегали под старыми половицами крысы, да ворчал ветер в холодной печной трубе. И еще было слышно, как медленно прохаживается взад и вперед по коридору комендант Гофман, должно быть поджидая Щорса.

Яковенко сказал, с вызовом подняв глаза:

— Я хотел бы, чтобы и мне довелось так...

Щорс не принял его взгляда и медленно перевел глаза на яркий огонь лампы.

— Это не прямой ответ на вопрос.

— Иначе не могу... Нет у меня других слов...

Щорс встал из-за стола и прошелся по комнате.

— Вы знаете, Яковенко, — сказал он, останавливаясь у двери, за которой прохаживался Гофман, — что такие люди, как матрос Василий Кочетков, дороже мне всяких пулеметов?..

— Знаю, — тихо ответил Яковенко и тяжело поднялся со стула.

Щорс взялся за ручку двери.

— Подумайте над этим... — сказал он и пристально посмотрел на Яковенко. — Относительно вас у меня был разговор с комбатом Зубовым. Завтра вы примете взвод Кочеткова. А сейчас собирайтесь. Время. Указания и пропуск получите у товарища Гофмана...

МАРУСИНЫ ЗАРУЧИНЫ

1

Выпал снег. За один день навалило его столько, что погнулись у сосен ветви и дремотная тишина заполнила лес, неузнаваемый в своем новом, празднично чистом убранстве.

Вечером видела Маруся, как прошел из Клинцов по

дороге на Туросну отряд не то гайдамаков, не то юнкеров — в длинных шинелях и с погонами. Следом за ними везли на санях чудную куцую пушечку, засматривавшую дулом в небо, и деревянные ящики — должно быть, снаряжение к ней...

И с тоской подумала Маруся, глядя на проходивший мимо отряд, что и впрямь может она не увидеться со своим Павлом, сидя в Клинцах.

Стягивались сюда отборные гайдамацкие части, да и немцы, видно, решили во что бы то ни стало удерживать за собой железную дорогу на Гомель до полной эвакуации своих частей.

А что, если Щорс, видя все это, решит не тратить больше времени и, обойдя Клинцы стороной, повернет прямо на Киев через Семеновку и Нежин?..

Всю ночь не спала Маруся и к утру решилась. Будь оно что будет, а должна она повидать Павла и сказать ему перед долгой разлукой, что любит его всей душой и, когда и он вправду любит ее, то будет ждать его до самого конца похода, хотя бы год или даже два. Пусть знает он все это и не тревожит себя думами о ней. Что с ней может статься плохого теперь, когда избавила ее сама судьба от той петли, что готовил ей Фрол Скрынька. Много было и других мыслей в ту ночь у Маруси. И сомнения были, и страх, и жалость к своим старикам, что изойдут тревогой о ней, когда увидят завтра, что своевольно ушла она из дому в такое неспокойное время. Но твердо было ее решение. Встав до рассвета, тихонько, чтобы не было лишних разговоров, собралась и, оставив на окошке писульку для деда и бабули, ушла в Ардон, где жила ее тетя Тася — младшая сестра покойной матери.

Стремительны были боевые действия тех дней, и редко успевала определиться сплошная линия фронта между войсками противников. Не было ее и между Клинцами и Ардоном. Однако, чтобы вернее было, немалый крюк сделала Маруся, обходя лесные места, где располагались гайдамацкие заставы, и только после полудня пришла в Ардон.

Тетя Тася была дома. В маленьких комнатках у нее, как всегда, было тепло и уютно. На вымытом до блеска желтом полу лежали узорчатые половички, у окон стояли в кадках фикусы и филодендроны, пахло геранькой, пирогами и еще чем-то сухим, тревожно знакомым, полынным.

Перекусив с дороги, Маруся скинула валенки и забралась с ногами на лежанку отогреваться после своего похода, а тетя Тася с тихой улыбочкой, будто по секрету, принялась рассказывать ей свои новости. Пожаловалась, что совсем не видит дядю Игната, который теперь днюет и ночует у себя на обозном заводе, где по заказу самого главного начальника срочно делают для Красной Армии две сотни легких саней с подрезами. И еще сказала, что красноармейцами довольна, потому что они не безобразят и если что и берут, то исправно платят. У нее вот тоже стоит на квартире один начальник, не главный, а так, немного поменьше...

— Из наших, клинцовских, — никого не видели? — как бы между прочим спросила Маруся, скромненько подбирая под себя ноги.

— Да ходит до нашего квартиранта один, сдается мне, — встречала я его в Клинцах. Как же его, лешака, звать?.. Забыла, деточка, хоть убей, забыла...

— Кто ж такой? — сказала нетвердым голосом Маруся и зевнула для виду. — Какой он из себя?

— Длинный такой — хоть заместо журавля к колодцу ставь, — ответила тетя Тася, не замечая смущения племянницы. — Да ты погоди, скоро сам квартирант придет, он тебе про все расскажет.

2

И верно, не успела еще Маруся по-настоящему отогреться, как заявился тетин постоялец.

— Начальник мой идет, — сказала с усмешечкой тетя Тася, глянув в окошко. — Ты его не бойся, он у меня смирный. Гришей зовут.

«Какой же это начальник, коли Гриша?..» — подумала Маруся, и ей стало весело.

Насилу усидела она на лежанке, пока постоялец топал в сенях, обивая сапоги от снега, — так не терпелось ей поскорее услышать что-нибудь о Павле.

Однако, когда постоялец вошел в комнату, оробела и застеснялась. Не то чтобы вид его внушал ей какие опасения, — не будь на нем длиннополой шинели, выглядел бы он, наверно, совсем безусым хлопцем. Просто стыдно стало ей: как это она вдруг начнет расспрашивать его про Павла...

— Ну, вот и зима, тетя Тася, — сказал постоялец, снимая на пороге фуражку и оправляя спадавший на лоб

темно-русый чуб. — Дождались, слава богу. Скоро и мы по снежку двинем...

— А у нас гости, — сказала тетя Тася. — Знакомьтесь, товарищ Яковенко. Племянница моя.

Он мимоходом тряхнул руку Марусе, обдав ее свежим запахом морозного воздуха, которым, казалось, насквозь пропахла его шинель, и, не раздеваясь, присел к столу.

— Может, покормите чем, тетя Тася? А то теперь до утра к вам не выберусь. Дежурить мне сегодня.

Оказалось, что обед у тети Таси уже готов, и постоялец с таким усердием заработал ложкой, что Маруся диву далась: худощавый собой, а ест, смотри-ка, за четверых.

— Прижал, я вам скажу, Щорс оккупантов так, что ни вздохнуть им, ни охнуть. Сидит в Гулевке батько Боженко со своими таращанцами, ухватился за разъезд Святец и ни одного эшелона ни на Клинцы, ни из Клинцов не пропускает. Попляшут теперь у нас, чертовы дети. Узнают, как после мирного соглашения нам в спину стрелять, — рассказывал Яковенко, пока тетя Тася наливала ему вторую тарелку.

— Вы, значит, у самого Щорса служите? — решилась наконец заговорить Маруся, когда он, осилив две тарелки борща, взялся за вареники.

— Угу... — сказал постоялец с полным ртом.

— Что же, и клинцовские хлопцы у вас есть?

— Есть и клинцовские, — сказал он, не отрываясь от миски.

— А не приходилось ли вам, часом, слышать про Добью? Сосед наш, Павлом Ивановичем Добьей зовут...

— Павло Добья? — переспросил постоялец и только теперь как следует посмотрел на нее. — Да вы не Маруся ли будете?

— Маруся...

— И давно вы из Клинцов?

— Сегодня утречком вышла...

— Смотри, какая храбрая! И гайдамаков не побоялась?

— Поначалу страшновато было, а как дошла до Коржовки, то уже ничего, — чистосердечно призналась Маруся.

— Разве вы племянницу мою видели где, товарищ Яковенко? — удивлялась, слушая их, тетя Тася.

— Видеть не видели, а про подвиги ее и до нас молва дошла, — сказал постоялец и опять замолк, торопясь добить вареники.

— Да толком же расскажите!.. Вредные какие! — приставала к ним тетя Тася, которой обязательно надо было все знать. — Маруся, про что это он?..

— То его спросите, — говорила в смущении Маруся, и радуясь и досадуя на Павла Добью: «Понаговорил уж, видно, приятелям, и что было и чего не было...»

— Ну, хорошего понемножечку, — сказал Яковенко, с сожалением покосившись на пустую миску. — Будем собираться, Маруся.

— Куда это? — разом спросили Маруся и тетя Тася.

— Про то Маруся знает, — усмехнулся Яковенко. — Земляка ее тут одного проведаем...

3

— Думаете, глупенькую нашли? — напустилась Маруся на Яковенко, разобрав, что привел он ее не к Павлу Добье, а прямо в штаб, до самого Щорса.

— Тише!.. — сказал Яковенко, делая страшные глаза, и отступил немного назад, чтобы не вздумала она ускользнуть обратно в открытую дверь.

Ох, и рассердилась Маруся!

«Тоже — заарестовал! Хитрый какой нашелся... Ну, постой же!..»

В комнате было порядочно народа, но Щорса она угадала сразу, так как еще в Клинцах понаслышалась о нем. Только ожидала Маруся, что собой он будет покрупнее, и в одежде его думала увидеть какое-нибудь особое отличие. Он же ростом оказался пониже Павла, а одет, как и другие, обыкновенно, в военном.

Но хотя и простой был с виду Щорс, а какой-то сразу заметный. Такая уж повадка была у человека...

Перед Щорсом стоял ординарец, плечистый, широкоскулый, рябоватый. Лицо помятое, будто переспал лишнее, а глаза острые, волчьи.

— Пакет передать лично Боженку, — говорил Щорс.— Если есть у него какие новости, внимательно выслушай и запомни.

— Будешь к Святецу подъезжать, ворон не лови, левей забирай, а то в два счета перехватят, — сказал, поворачиваясь от окна, человек в черном романовском кожухе. —

Кидаются на людей, как осенние мухи, а мы с ними цацкаемся...

Он покосился на Марусю, сдержав готовое сорваться крепкое словечко, и, отвернувшись, забарабанил пальцами по стеклу. Видно, разбирала его злость, что не может он найти себе другого занятия.

«Отчаянный» — решила Маруся, с опаской поглядывая на его смуглое лицо.

Щорс тоже взглянул в его сторону и слегка сощурился.

— Замечание Кащеева учти, товарищ Савченко, — сказал он ординарцу, чуть повышая голос. — Минуя Туросну, держись начеку.

— Будет в порядке, товарищ Щорс!..

Звякая шпорами, боец прошел мимо Маруси. Щорс подошел к Кащееву и положил ему на плечо руку.

— Расскажу я тебе, товарищ Кащеев, одну присказку. Возьми да поставь перед самым дулом винтовки вершковую доску и пальни по ней. Хотя пробьет пуля ту доску, однако потеряет свою ударную силу, потому что не набралась еще должного разгону. А за двести шагов она и через три таких доски легко пройдет. Так и немецкий заслон в Клинцах для нас сейчас все равно, что та доска. Как боевая сила — немногого стоит, а увязнуть в нем можно. Кому это было бы наруку, ты, я думаю, сам не хуже меня понимаешь. Стравить нас с вышедшей из повиновения солдатской массой, у которой уже назрел дух протеста против империалистического разбоя и войны, но еще мало настоящего революционного сознания. Сделать рядового немецкого солдата из союзника нашего снова нашим врагом. Слепцами были бы мы, если бы не разглядели этого. Недаром указывает нам товарищ Ленин, что теперь крайне важно, чтобы революционные солдаты Германии немедленно приняли действенное участие в освобождении Украины[1]. Политической мудрости и стратегии революционной борьбы учит нас партия большевиков, товарищ Кащеев...

---

[1] В ответ на совместное приветствие представителей революционных немецких солдат и бойцов Богунского полка В. И. Ленин прислал следующую телеграмму:

«Унеча — председателю Унечской РКП Иванову.

Москва, 13 ноября 1918 г.

Благодарю за приветствие всех. Особенно тронут приветствием революционных солдат Германии. Теперь крайне важно, чтобы революционные солдаты Германии приняли немедленно действенное участие в освобождении Украины. Для этого необходимо, во-первых, арестовать белогвардейцев и власти украинские, во-вторых, послать делегатов от

4

— Разрешите доложить, товарищ комполка! — начал Яковенко, выступая вперед. — Только сегодня из Клинцов дивчина...

— Нет, уж я сама скажу! — не дала докончить ему Маруся.

Она так и кипела возмущением.

«Ишь ты, прикинулся тихоней, воды не замутит, и вдруг — на тебе, в плен захватил и по начальству представил, будто неприятеля какого».

— Что же это за порядки у вас такие, товарищ Щорс? Заарестовали и не говорят даже, за что...

— Не то я вас арестовывал? — искренне изумился Яковенко. — И в мыслях такого не было!

— Постойте, постойте, — сказал, хмурясь, Щорс. — Что это за дивчина?

— Да вы, видно, слыхали про нее, товарищ комполка. За то сало, что она Добье на дорогу дала, он у смерти отсрочку выменял... Да то еще не все — из-под замка его выпустила. Герой дивчина...

Крылатые брови Щорса усмешливо дрогнули и разошлись.

— Так это та самая! Маруся, когда не ошибаюсь?..

— Та или не та, а под арест меня брать не за что, — никак не могла успокоиться Маруся. — Не заслужила еще!..

— Как же это вы, товарищ Яковенко, дивчину так обидели? — сказал, сдерживая улыбку, Щорс. — Разве можно?

— Кавалер! Под конвоем дивчат в гости водит, — подал голос от окна Кащеев.

— Ладно, вы его на первый раз не казните, Маруся,— сказал Щорс. — Он у нас благородным манерам еще не обучен.

Маруся скосила глаза на покрасневшего не хуже нее Яковенко, и гнев ее сразу поостыл. «Тоже мне начальник!.. Сказано — Гриша...»

революционных войск Германии во все войсковые германские части на Украине для быстрого и общего их действия за освобождение Украины. Время не терпит. Нельзя терять ни часа. Телеграфируйте тотчас: принимают ли это предложение революционные солдаты Германии.

Предсовнаркома ЛЕНИН».

Совсем прошло у нее стеснение. Никак не думала она, что Щорс такой обходительный.

Щорс усадил Марусю в соседней комнате на табуретку, стал расспрашивать про Клинцы, — и она постаралась припомнить все, что видела и слышала за последние дни. И то, что по дороге из Займища, у разгороженной халупы, стоит гайдамацкий пост при четырех пулеметах, и что по левую сторону от станции, в березняке, накопаны какие-то ямы и понагорожено колючей проволоки, и что на Туросненском мосту с вчерашнего дня поставлено орудие и при нем бессменно дежурят шестеро солдат при полной амуниции...

Должно быть, Щорсу многое уже было известно. Слушая Марусю, он ничего не записывал, только постукивал по бумаге карандашом, на котором вместо наконечника был насажен стреляный патрончик от нагана. Но когда она рассказала, как прошли этой ночью на Туросну юнкера, сразу поднялся и заходил по комнате. Маруся сперва подумала, не на нее ли рассердился Щорс за что-либо. Даже голос у него стал не такой, как прежде, словно не спрашивал он теперь, а приказывал. Заставил Марусю прикинуть, сколько их могло быть, по многу ли человек шло в ряд и длинной ли выглядела колонна.

— Ну, спасибо, — сказал он наконец. — Посидите тут, отдохните...

— Я лучше домой до тети пойду, — промолвила Маруся, подхватываясь с табуретки.

— Чего вам спешить? Мы сейчас вашего земляка сюда пришлем...

Щорс ободряюще кивнул Марусе и вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь.

5

Словно подменили Павла Добью с того часа, как после кровавой вражеской провокации пришло известие, что перебили гайдамаки всех заключенных в клинцовской тюрьме. Не сомневался он, что одним из первых пал от рук палачей Яков Петрович Шпак, лучший друг его, почти что отец. Рвался опять в посад, готовый на все, но настрого запретил Щорс отпускать его куда бы то ни было.

Ожесточился Добья.

Даже о близком свидании с Марусей не мог теперь

думать без горечи он. Разве возможно для него счастье, когда болью исходит сердце и нет и не будет для него покоя?

Почитал за свое спасение Добья, что в эти мучительные дни не оставляла ему свободного времени работа. Собирая силы для стремительного марша на Киев, спешно изготовлял Щорс на ардонском обозном заводе две сотни легких подрезных санок, чтобы обеспечить своим отрядам быструю маневренность по зимнему бездорожью. Рабочих на заводе не хватало. Многим бойцам пришлось вспомнить свое старое ремесло и на время сменить винтовку на пилу, рубанок, а то и кувалду. Стал к верстаку и Павло Добья — слесарь-монтажник с Глуховской ткацкой фабрики.

Легко работать сегодня Добье по первому морозцу. Видно, заскучали руки по привычному делу. Силой и крепостью наливались плечи, когда, ворча и повизгивая, вгрызался драчовый напильник в полосовое железо и мягко брызгали на верстак тяжелые, утратившие блеск металла опилки. С неохотой оторвался Добья от работы, услышав, что спрашивает его какой-то человек.

Не сразу узнал он своего гостя. Озябший, с поднятым воротником, стоял у ворот Наум Абрамович Паперный, держа под мышкой объемистый узел. Видно, немалый путь по сугробам пришлось совершить ему: были густо забиты снегом полы его пальто и даже заледенели по краям.

— Какая встреча!.. — прочувствованно воскликнул Паперный, завидев Добью, и двинулся к нему, казалось готовый принять его в свои объятия.

— Довелось свидеться, — сказал Добья и, отступив на шаг, поглубже засунул руки в карманы.

Но не так-то легко было смутить Паперного.

— Представьте, я знал, что обязательно разыщу вас,— рокотал он, пугая своим басом прыгавших на дороге у конских кизяков воробьев. — Нет, не говорите мне, что вы не верите в предчувствия...

— Что будем делать, Наум Абрамович? — перебил Добья, тяжело глядя на него.

— Да, да... Нам есть о чем побеседовать, — сказал Паперный с некоторым беспокойством в голосе. — Но прежде всего я обязан исполнить маленькое поручение моего соседа, портного Хейфеца...

Он присел на корточки, положил на колени свой узел и, осторожно развернув старую ситцевую занавеску, из-

влек на свет божий гимнастерку и галифе из хорошо знакомого Добье синего шевиота.

— Носите на здоровье! — сказал он, встряхивая их, чтобы расправить замявшиеся складки.

— Слушайте, Наум Абрамович! — сказал Добья, отстраняясь от него. — Смотрю я на вас и не знаю — то ли поклониться вам в ноги за то, что остерегли вы меня тогда в Клинцах, то ли отвести вас прямехонько в чека...

Паперный тревожно повел глазами на стоящего в заводских воротах часового и заговорил торопливо, словно боялся, что ему не дадут досказать до конца:

— Вы упомянули про чека?.. Но разве я — киевский миллионер господин Добрый или министр внутренних дел Кистяковский, чтобы мне стыдиться за себя перед советской властью?.. Может, кто-нибудь вам скажет, что у моих родителей было графское поместье или собственный завод усовершенствованных сельскохозяйственных орудий «Эльворти»? Зачем же мне, пролетарию умственного труда, бояться чека?..

Он судорожно глотнул воздух и придвинулся к Добье, снижая голос до шепота.

— Но я пойду... Я сам пойду туда. Я скажу им все, о чем меня спросят. Но вас я умоляю, как честного человека: подтвердить письменно известный вам разговор, за который прохвост Паллец мог бы повесить меня на заборе, как первую попавшуюся собаку.

Из-за угла показался Яковенко.

— Эй, Добья! — крикнул он. — Давай быстренько к Щорсу... На носках!..

— Иду! — с облегчением откликнулся Добья, которому невмоготу было слушать Паперного. — Вот что, Наум Абрамович, ступайте в чека и начистоту расскажите все про себя и про свои шуры-муры с вартой. Без утайки... Другой дороги для вас нет. Хоть и не люблю я вас, но хотелось бы мне, чтобы за вами и вправду не было других грехов, кроме вашего поганого маклерского ремесла...

И, не взглянув больше на Паперного, он пошел следом за Яковенко.

6

Очень не хотелось Марусе оставаться одной в пустой комнате, где, кроме стола, двух табуреток и шкапчика в углу, ничего больше не было, — совсем как под аре-

стом... Но делать было нечего, раз Щорс велел тут подождать.

Сидела на краешке табуретки, готовая вскочить каждую минуту, и настороженно слушала, что делается в доме. Похоже было, что принесенные ею известия и впрямь оказались серьезными. Гремели за дверью быстрые шаги, срывались возбужденные голоса. Горячился Кащеев. Маруся разобрала, что он советует послать на разъезд Святец пулеметы и подрывную команду. Что-то коротко и отрывисто приказал Щорс. Потом у крыльца затопала лошадь, и куда-то наметом поскакал верховой.

Маруся вдруг озябла — видно, устала и перемерзла в дороге. Захотелось на теплую лежанку в маленькой уютной спаленке тети Таси. И тут же подумала, что сейчас придет Павло. Сделалось радостно и беспокойно. Не усидела на месте, подошла к окну. Выходило оно во двор, где дымила походная кухня и у коновязи лошади жевали овес, насыпанный в холщовые торбы. Двор уже затянуло голубыми тенями, но на крышах домов и сараев еще розовел в последних лучах солнца снег, и смотреть на него нельзя было без того, чтобы не щуриться и не улыбаться...

Стояла Маруся у окна и думала, что первое скажет она Павлу при встрече? «А что говорить? Если войдет в комнату один, обниму и поцелую... Вот и все разговоры!» И ей стало хорошо от такого решения...

Меж тем крыши начали бледнеть, и в комнате сделалось опять серо и неприютно. И так же померкла Марусина радость при мысли: наверное, еще не знает Павло о том, что произошло в клинцовской тюрьме. Неужели ей первой придется рассказать ему об этом?..

Тяжело стало ей. Легло поверх ее счастья большое непоправимое горе. Не чужое оно. Свое, людское...

То было холодно, а теперь горела вся Маруся. Прижалась лбом к стеклу и так стояла, ожидая, пока станет легче...

Даже вздрогнула, когда открыл кто-то дверь.

Оглянулась — Павло!.. Как же он похудел, бедный... Или это в сумерках так кажется...

Шагнули навстречу друг другу и в смущении остановились.

Видела Маруся, как дрогнули у Павла губы, когда он сказал приглушенным голосом:

— Откуда вы тут, Мария Григорьевна?

И она ему ответила, тоже тихо:

— До тети Таси пришла погостить...

Оба замолчали, сами не зная почему сказав не те слова, какие были у них на сердце...

— Как там мать? — промолвил наконец Добья.

— Ничего, поживают... Здоровы... Я их позавчера видела...

Кто-то карьером подскакал к крыльцу, и они опять помолчали, слушая торопливые шаги и звон шпор за дверью.

— А еще я вам что хотела рассказать... — начала Маруся, но не сдержала себя, и голос ее оборвался.

Увидев слезы у нее на ресницах, бросился к ней Добья, сразу забыв о всяких церемониях.

— Не надо... Не надо... Помолчи, Марусенька... — в волнении говорил он, гладя ее вздрагивающие плечи.

А она, припав головой к его груди, никак не могла успокоиться...

Открылась дверь. Вошел Яковенко. Он кашлянул и, сделав вид, что ничего не заметил, отвернулся к окну.

— Быстро как темнеет, — сказал он, будто разглядывая что-то во дворе. — А у меня, брат Павло, новостей полный карман. Завтра вступаем в Клинцы. Теперь уже точно...

Оказывается, прискакал во весь дух с разъезда Святеца конный разведчик Савченко и привез от батька Боженка такое известие: шел крупный немецкий отряд при артиллерии на Святец с приказом оттеснить оттуда таращанцев и восстановить сообщение с Новозыбковом. Однако, не дойдя до разъезда, арестовали немецкие солдаты своих офицеров, повернули орудия и пулеметы на Туросну и потребовали от засевших там гайдамаков и юнкеров немедленно сложить оружие.

— Говорит Савченко, — возбужденно рассказывал Яковенко, — что закоперщиком у них тот самый Пельг, который, помнишь, на похоронах Васи Кочеткова с речью выступал. Разогнали будто бы немецкие солдаты свой соглашательский совет и избрали спартаковца Пельга своим председателем. С часу на час делегаты их к нам должны прибыть...

— Дождались, слава богу, — сказала Маруся, украдкой утирая рукавом глаза.

— То еще не все, — продолжал Яковенко. — Для тебя, Павло, у меня особая новость есть. От Лариона известие получено...

И, видя, с какой болью и надеждой глядят на него Павло и Маруся, торопливо сообщил:

— Вызволил он таки Шпака. Ну и хитер, я вам скажу! Уж совсем тому крышка была, а он такое учудил, что и посейчас варта не разберется, куда Шпак девался...

Павло и Маруся встретились глазами, и оба разом подумали, что теперь уж, наверно, скажут они друг другу про свою любовь.

Яковенко посмотрел на них и виновато усмехнулся.

— Вы уж извиняйте меня... Помешал я вам, видно...

Взгрустнулось ему вдруг, что нет на белом свете дивчины, которая бы ждала его вот так и искала с ним встречи...

В комнату вошел Щорс.

Хотя были уже сумерки, Маруся разглядела, что глаза у него ясные и веселые, точно светятся изнутри.

— Вижу — не наговорились, — сказал он. — Ничего, в Клинцах у вас еще будет время...

— Не то правда, что выступаем, товарищ Щорс? — спросил Добья, смущаясь и с беспокойством поглядывая на Марусю.

— Сейчас по полку объявят приказ.

Маруся заторопилась, стала собираться к тете Тасе. Попрощалась за руку со Щорсом, с Яковенко и в нерешительности остановилась перед Добьей.

— Доброй ночи, Павло Иванович...

— До свиданья, Мария Григорьевна, — ответил Добья, чувствуя себя так, будто ему вдруг связали и руки и ноги.

Щорс взял под руку Яковенко и повел к двери.

— Да хоть поцелуйтесь на прощанье, — сказал он, оглянувшись через плечо на Павла и Марусю. — Вот еще какие... характерные...

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТЕРЕХОВА

1

Удивительный человек был Степан Терехов. Яковенко долго присматривался к нему. Собою мужчина что надо — и роста хорошего, и летами не старый, а вот же имел такую странность: не терпел разговора о сердечных делах.

Была у него любимая поговорка: «не верь бабе дома, а кобыле в дороге». И повторял он ее и к случаю и без случая, как только не надоест человеку.

Порой на ночевке не спится хлопцам. То-се, пятое-десятое. Пойдут всякие россказни. У этого молодая жена дома осталась, другому дивчина обещала ждать, пока не вернется, третий начнет похваляться любовными удачами. А Терехов только попыхивает своей черешневой трубочкой-самоделкой да все чаще пускает дым из-под пушистых, насквозь прокуренных усов. Потом выбьет о подошву золу, прокашляется, смачно сплюнет и скажет что-нибудь в таком роде:

— Ворона летает, а дурень голову задирает — думает, паву увидел...

И завернется с головой в шинель — спать.

— Да вы, дядько, не то вовсе неженатый? — спросит кто-либо из новичков помоложе.

— Ты, хлопче, в чужое просо не суй носа! — отрежет Терехов. — Вижу я, хоть на губе у тебя и взошло, а в голове еще не посеяно.

Все. Больше не подступайся.

А после Клинцов вдруг заскучал Терехов.

Пробыли в Клинцах богунцы недолго. Наведя в посаде революционный порядок, спешно двинул Щорс свой полк дальше, так как другие города и села тоже жаждали мира и свободы.

Надо ли говорить, что у всех бойцов Яковенкова взвода было легко и радостно на душе и что тем непонятней было, почему с каждым днем сумрачней становился Терехов.

— Неладное, как я погляжу, творится с тобою, товарищ Терехов. Смутной ты какой-то ходишь, — решился наконец заговорить с ним Яковенко на дневке в Кузьминичах, улучив время, когда остались они с глазу на глаз в отведенной им для постоя хате.

Терехов сощурился, прихватил зубами конец пшеничного уса и так посмотрел на Яковенко, что тот пожалел о своем вопросе, ожидая услышать одну из его небезобидных для собеседника присказок. Однако на этот раз ошибся.

— Есть на то причина, товарищ комвзвода. А к тому же и хлопца мне жалко, — промолвил Терехов, и, хотя голос у него от природы был грубоват, понял Яковенко, что от сердца говорит человек.

— Да ты про кого это?..

— Ясное дело, про Добью... И к чему только оженили его?

— Нашел кого жалеть, — удивился Яковенко. — Подай бог такое каждому...

Терехов с сомнением подергал усом и некоторое время молча глядел на забранное ледяными узорами окошко.

— Я к тому, что Маруся в Клинцах осталась, — сказал он.

— Ну так что же? Милей будет... Зато дивчина какая!..

— То ж и я говорю, — словно бы согласился Терехов. — Беда, когда жинка бледна, однако лихая година, когда она, как калина...

«С придурью человек», — решил Яковенко, и ему стало скучно.

— Чудное ты городишь, Терехов. Не был ли ты, часом, в баптистах, что постного духу набрался? — сказал он и накинул на плечи шинель, собираясь идти в штаб батальона, узнать, какие новости.

— Поди ты к черту со своими баптистами! — рассердился вдруг Терехов. — Я, брат, насчет баб — во какой ученый! Сам таким, как Добья, был.

И тут прорвало человека, открыл он перед Яковенко душу.

— Большие нелады вышли у меня с фельдфебелем, товарищ комвзвода, — говорил Терехов, придерживая Яковенко за пустой рукав надетой внакидку шинели, будто боялся теперь, что не дослушает тот его до конца. — По злобе он, шкура, так подвел, что три года я в отпуске не был. И сам не пойму, как у него получалось, — иные из нашей роты раза по два домой на побывку ездили, а мне — ни в какую... Так я и проскрипел до конца империалистической, пока самодемобилизация не вышла. А надо тебе сказать, что женился я в треклятом четырнадцатом году, в мясоед — перед постом, так что и полгода мне пожить с моей Мотрей не довелось. Вот и соображай, что со мною творилось, когда шел я прошлой зимой со станции в свои Подборовичи... Каждая верста за пять ложилась. Спасибо, дядько под дорогу попался с соседнего хутора, подвез. Разговорились. «Женатый?» — спрашивает. «Женатый», — говорю. «То-то, домой приедешь — ревизию наведи...» — «А разве что слышно?» — «Чего там слышать, — говорит, — дело известное, солдатка. К примеру, твою бабу не Мотрей зовут?..» Стало у меня погано на душе: угадал ведь, проклятый. Однако я виду не подал, говорю как бы между прочим: «Нет, Дарьей». — «Это хо-

рошо, — говорит, — что Дарьей, а то гляжу, не Мотрин ли муж вернулся. Дай, думаю, остерегу, чтобы сгоряча плохого чего не сделал...» — «А что же, — спрашиваю, — с той Матреной приключилось?» — «Грешна, — говорит, — перед мужем, с Костей-цыганом черт спутал...» Не стерпел я, тряхнул легонько дядька за холку. «Ты что, сдурел? Соображай, что говоришь... Откуда в Подборовичах цыгану взяться?..» Перепугался мой дядько насмерть, однако все рассказал. И ты смотри, товарищ комвзвода, какая хреновина получилась. Объявился, оказывается, у нас в Подборовичах на втором году войны по весне хромой цыган. Вроде как на поселение его к нам прислали. В тюрьме он сидел до этого, что ли... «Конокрад?» — спрашиваю я дядька. «Нет, — говорит, — плохого за ним не замечали». — «А за что ж сидел в таком разе?» — «За разговоры. Людей разговором смущал. А так — ничего, работящий цыган. Кузню себе край дороги поставил. А по вечерам на скрипке к людям ходит играть, когда кто-либо позовет...» И случилось же так, что приняла его к себе на квартиру моя Мотря. Как уж они там поладили, не знаю, только пошли о них по селу разговоры, что живут они, как муж с женой... Едем дальше молча. Дядько на меня с опаской поглядывает, а я — ничего. Легкость такая в голове, словно водки хлебнул. И мысли пустяковые на ум идут. Смотрю на дядькову сивую кобылу и соображаю: вот бы ей уши, как у зайца, а хвост лисий, — скорей бы бежала... А рука нет-нет да и пощупает наган, что был засунут у меня под шинелью за пояс. Знаю одно: приеду — кому-то из нас троих не жить... Вот уже и поворот с шоссе на Подборовичи. Солнце заходит, прямо из-за леса в глаза бьет... И кажется мне, что на версты кругом кровавою юшкой снег залит. Нудно мне так стало, мочи нет... «Стой, — говорю, — дядько! Зажигалку обронил...» — «Что ж, — отвечает, — вернись, поищи, а я шагом поеду. Схочешь — догонишь». — «Ладно, езжай», — говорю.

Терехов замолчал, силясь усмехнуться, но глаза его смотрели диковато, будто он спросонья озирался вокруг.

На хозяйской половине застучали. Кто-то спрашивал командира взвода.

— Сейчас! — крикнул Яковенко, приоткрыв дверь. — А потом? — повернулся он к Терехову. — Да не тяни, бога ради.

— Не был я в Подборовичах... — хрипло сказал Терехов, нахлобучивая шапку.

2

От Злынки на юг до самой Городни шел Богунский полк почти без боев, очищая села от мелких петлюровских банд и устанавливая власть Советов. От каждого богунца требовал Щорс быть не только бойцом, но и агитатором.

— Да я же не ученый, — скажет иной.

— А ты, где ходишь, там и учись, — ответит Щорс с тою покорявшей бойцов озорной усмешкой, когда не поймешь — шутит ли он или говорит всерьез.

Много хлопцев было в Богунском полку с Черниговщины. Иной, взяв на день-другой отпуск, завернет в родное село и приведет оттуда целое отделение своих земляков, а его за это Щорс поставит над ними командиром. Так росли люди.

Зима в том году выдалась бешеная. Такой неровной погоды не помнили давно. То зарядит снегопад, закрутит метель, навалит сугробы — по пояс человеку, по брюхо лошади. А потом вдруг надвинется тяжелый зимний туман, за один день поест снег, и на дорогах по-весеннему нальются ржавой водою выбитые полозьями глубокие колеи.

Вот в такое бестолковое утро, когда не разберешь — не то на мороз, не то на распутицу собирается повернуть погода, опять заговорил Терехов с Яковенко:

— Товарищ комвзвода, отпусти меня в лазарет...

— Либо вправду заболел? — встревожился Яковенко, разглядев, как пожелтело за последние дни его лицо. — Смотри, Терехов, когда б не тиф...

— Нет, — сказал Терехов, избегая взгляда Яковенко.— Тиф меня не возьмет. На румынском фронте всеми тремя подряд переболел... Душа у меня горит, товарищ комвзвода...

— Ну, с такой болезнью в лазарет не примут...

— Средство я знаю... На неделю в постель уложит. Сам Щорс не разберется... Отпусти, товарищ комвзвода...

Яковенко нахмурился. «Мудрит человек, не надо потакать».

— Нет, не пущу, — сказал он, стараясь придать своим словам побольше строгости. — Кто иной, может, и пустил бы, а я не пущу. Нельзя так, товарищ Терехов. Подтянуться надо, — через час нам выступать с тобою...

Терехов ничего больше не сказал и вышел из хаты,

а Яковенко достал и перечел лежавшую в кармане гимнастерки сложенную вчетверо бумажку.

«Приказываю продвинуться со вверенным вам взводом в оставленное противником село Подборовичи и, разъяснив населению революционные задачи, произвести выборы органов советской власти. Маршрут на соединение: Круговец — Лемешовка...»

Прочел и будто споткнулся глазами на слове Подборовичи:

Так вот оно в чем дело! Не те ли это самые?..

И только тогда по-настоящему почувствовал Яковенко горе Терехова. Раньше казалось ему, что все это уже позади — прошло и не вернется, и нечего о нем думать. Да и один, что ли, на свете Терехов, у кого жизнь переломилась надвое?..

А тут вдруг ожило тереховское горе, легло поперек пути, и нельзя ни обойти его, ни объехать.

«Пожалуй, зря не отпустил человека», — подумал Яковенко.

Но спустя каких-нибудь полчаса, надевая шинель, снова повеселел он. Да и как можно поддаваться унылым мыслям, когда тебе всего девятнадцать лет и ты впервые в своей жизни получаешь адресованный лично тебе пакет с приказом самого командира полка за всеми надлежащими подписями и печатью.

3

Среди улицы лежала палая лошадь. Из ее раздутого, как бочка, брюха вылезла рябая собака и, воровато оглядываясь, заковыляла в сторону, к плетню.

— Гудча-а! — крикнул на нее кто-то из бойцов.

Собака села на поджатый хвост и, задрав кверху окровавленную морду, хрипло завыла. Тоскливый захлебывающийся звук с минуту висел в воздухе, тревожа сердца бойцов. Но нигде не скрипнули ворота, никто не выглянул на улицу.

— Вот тебе и Подборовичи, — сказал Добья. — Эй, хлопцы! Подбирай животы, обеда сегодня не будет.

— Скажи, Гриша, бойцам, чтобы без приказа никто не отлучался, — проговорил вполголоса Ларион Петрович Плахотнюк, шедший рядом с Яковенко, в голове отряда.— Бывает, что от такого спокоя сами ружья стрелять начинают.

Был Ларион Петрович на особом положении в Богун-

ском полку. Числился при штабе второго батальона, и, хотя командной должности не занимал, относились к нему бойцы с уважением, как к старшему. Выполнял Плахотнюк поручения самого Щорса, чаще всего в тех случаях, когда дело требовало особой дипломатии, дерзости и сноровки. В остальное же время, и в боях и в походе, держался с Яковенковым взводом — первым в четвертой роте.

Яковенко взглянул на Терехова, который понуро шагал в заднем ряду, подняв воротник шинели, словно совсем не интересуясь тем, что делается вокруг.

— Терехов!

— Ну? — отозвался тот, не поднимая головы.

— Куда заворачивать?

— К церкви, на площадь...

На крыльце стоявшего особняком просторного дома показался старик. Стянутая внизу медным кольцом деревяшка заменяла ему ногу.

— Здорово, дед! — крикнул Яковенко.

— Здравия желаем, — по-солдатски, без всякого выражения, ответил старик.

— Кто будешь?

— Сторож при росправе...[1]

— Пролетариат, значит... А начальство твое где?..

— Нет никого...

— Куда же оно провалилось?

— Не могу знать...

— Вот что, дед, — надо собрать сход. Как это у вас делается? В колокол, что ли, ударить?

— Ударить можно, — сказал старик, отводя в сторону слезящиеся на влажном ветру глаза. — Да кто до вас теперь пойдет?.. Отходились...

— Ты не слишком бреши, дед, — вскипел Добья, слушавший их разговор.

Старик исподлобья взглянул на него и замолчал, насупив редкие, ежом стоящие брови.

— Возьми-ка, товарищ Добья, двух бойцов да пройди оповести про сход по хатам, — недовольно сказал Яковенко. — А я с дедом пока побеседую... Только, смотри, пообходительней с людьми будь!..

И он толкнул дверь, вошел в помещение.

Хотя в печке с отломанной дверцей и тлел хворост, здесь было не теплей, чем на улице. Двойные стекла в крайнем окне были просажены насквозь пулей, и по углам

---

[1] Росправа — сельское управление.

на беленных известью серых стенах, будто седой мох, проступил иней.

— Наша беседа короткая, — бормотал сзади старик, сердито стуча о пол деревяшкой. — Я обществом за порядком смотреть поставлен... В присутственном месте чтоб чистота и порядок были... Остальное меня не касаемо.

Яковенко опустился на скамью.

— Садись, дед!..

— Ничего, мы постоим...

— Как хочешь, — сказал Яковенко, разглядывая его. Сквозь грязные стекла падал мутный свет, и седая борода старика казалась позеленевшей от времени.

— Ноги в турецкую войну лишился?..

— Никак нет. В Крымскую кампанию...

— Сколько же тебе лет?

— На девятый десяток пошло.

Гулко ударил большой колокол, созывая подборовичан на сход.

Старик снял шапку, трижды истово перекрестился. Губы его шевелились, словно он шептал молитву.

— Страждает народ, прости господи!.. — разобрал Яковенко.

— От кого страдает? — спросил он.

— Не то сам не знаешь? От таких, как ты! — ответил старик и посмотрел на него в упор злыми слезящимися глазами.

— А ты знаешь, кто я? — спросил Яковенко, чувствуя себя задетым за живое.

— Мне без надобности знать, — сказал старик. — Не ослеп еще — вижу: половина света скачет, а половина плачет...

— А про Щорса ты слыхал?

— Что ж, что слыхал. На глаза мне тот Щорс не попадался...

— Так вот, дед, мы и есть бойцы Щорсова полка — богунцы, Красная Армия... Против немцев, панов и всякой контрреволюции за счастье народа бьемся...

— Теперь каждый себя спасителем объявляет...

— Кто объявляет?

— Не могу знать, — поспешно сказал старик и потупил глаза.

Яковенко, сдерживая себя, прошелся взад и вперед по комнате. В висках у него стучало от гнева и обиды. Как своих сынов принимал богунцев народ повсюду, где проходили они со Щорсом. Друзья выходили встречать, а

враги прятались, но было известно, где искать их, потому что не прощала беднота кулачью свои кровные обиды. Одной мерой платил народ и полупанкам из гетманского «Союза хлеборобов» и петлюровским бандитам, что величали себя «вильным козацтвом».

— Почему ты не веришь мне, дед?

— Я поверю, люди не поверят...

Яковенко повернулся и вышел на крыльцо. Голова у него горела.

У церкви два бойца, повисая всей тяжестью тела на веревке, звонили в большой колокол. Воздух дрожал и пел от призывных раскатов меди, но площадь была по-прежнему пуста. Терехов сидел на завалинке, пустыми глазами глядя перед собой.

— Товарищ Терехов! Поди сюда!.. — позвал Яковенко.

Терехов поднялся и, тяжело ступая, подошел к крыльцу.

— Деда этого знаешь?..

— Доводилось знавать, — сказал Терехов, и лицо его передернулось мучительной усмешкой. — Родня, можно сказать... Посаженый отец...

Старик тоже забеспокоился и даже как-то засуетился при виде Терехова.

— Степа?..

— Он самый...

— Смотри... Пришлось-таки увидеться...

Они обнялись нехотя, будто по обязанности. Стояли, недоверчиво глядя один на другого, выжидая, кто заговорит первый.

— В хате у себя был? — не выдержал наконец старик.

— Была у собаки хата...

— А зайти бы следовало.

— Нечего мне там делать! — крикнул, наливаясь злобой, Терехов. — Незваный гость я теперь в своей хате...

— На похороны каждый зван, — сказал тихо старик...

4

Не постучав, вошел Терехов в свою хату. Следом за ним переступил порог и Яковенко.

Старуха, сидевшая на лавке у печи, испуганно посмотрела на вооруженных гостей. Лицо мертвого было закрыто рушником. Ясный огонек восковой свечки у его из-

головья затрепетал и забился, подхваченный холодным воздухом из сеней.

Навстречу Терехову из угла поднялась молодая женщина, повязанная черным вдовьим платком. Густые, сросшиеся у переносья брови резко выделялись на ее бледном лице, словно застыв в тревожном, мучительном изломе. Не испугалась, не вскрикнула, стояла молча, глядя на вошедшего, и видел Яковенко, как сохли слезы на ее опаленных горем глазах.

Усы Терехова дрогнули, — казалось, он хотел что-то сказать, но задохнулся и неуверенно снял шапку.

— Пришел? — спросила женщина, не сводя с него тяжелого взгляда. — На, смотри, когда пришел.

И она сдернула с покойника рушник. Снова затрепетал огонек свечи, и бледные тени заплясали по мертвому лицу.

Должно быть, он в самом деле был красив, этот Костяцыган. Еще не тронула смерть своей прозрачной желтизной смуглоту его по-девичьему нежной кожи, не стерла выражения молодого упрямства с его своенравно сжатых губ. Чудилось при неверном свете свечи, будто хитрит Костяцыган, притворяясь мертвым, а сам зорко оглядывает зашедших в хату людей из-под густых иссиня-черных ресниц.

— Прикрой!.. — сказал Терехов, и в голосе его Яковенко не расслышал ничего, кроме безмерной усталости...

Женщина встрепенулась и медленно пошла ему навстречу.

— Зачем пришел? — спрашивала она, подступая вплотную. — Дело своих рук захотел увидеть, бандюга?..

— Опомнись, Мотря, — сказал, отстраняясь от нее, Терехов. — Сама не знаешь, что плетешь...

— Знаю, все знаю! — не давала говорить ему женщина, и руки ее тянулись к воротнику его шинели, словно она собиралась ухватить его за горло. — Целый год, как волк, ходил вокруг... Высматривал. Дожидался часа, проклятый...

— Ей-богу, ни при чем он здесь! — не мог не вмешаться Яковенко, хотя и понимал, что ничем не поможет сейчас товарищу.

Да женщина и не слышала его. Сотрясаемая рыданиями, она медленно сползла на пол, скользя руками по шинели Терехова.

В ответ ей истошно заголосила баба у печи.

Яковенко стало невмоготу.

— Я пойду, Терехов, — сказал он, чувствуя, что бесполезен здесь. — А ты оставайся, поговори с жинкой...

«Узнай, что случилось», — хотел добавить он шепотом, но в сенях послышались голоса, дверь приоткрылась и в хату заглянул Добья.

— Товарищ комвзвода, выйди сюда на минутку,— сказал он, не подавая виду, будто удивлен тем, что представилось его глазам.

5

В иное время расхохотался бы Яковенко над зрелищем, ожидавшим его во дворе. В окружении бойцов стоял укутанный бабьим платком толстомордый парубок. Будь сейчас святки, можно было бы подумать, что собрался он идти по хатам вместе с ряженьми, измазав лицо золою и весь убравшись в паутину и мелкие куриные перья...

— Где ты его взял такого, Добья? — спросил Яковенко, сомневаясь, уж не для потехи ли привели бойцы сюда это чучело.

— Под печью, — сказал Добья. — А правда, хорош?..

Парубок ухмыльнулся и попробовал обтереть лицо рукавом ватного пиджака, но только еще больше размазал по щекам золу.

— Зачем под печь лазил? — спросил, хмурясь, Яковенко.

— Так... — ответил парубок, уставившись на него безмятежным, словно у годовалого бычка, взглядом.

— Что значит так? Я спрашиваю, под печью что делал?..

— Спал...

— Да ты дурак или умный?.. — теряя терпение, закричал Яковенко.

— Тут у них в Подборовичах все с ума посходили,— вмешался Добья. — Постой, товарищ Яковенко, я тебе сперва доложу...

Действительно, какая-то чертовщина творилась в этом селе. В первой же хате, куда зашел Добья с двумя бойцами и присоединившимся к нему Плахотнюком, оказались в наличии только придурковатая бабка да ребенок в люльке.

— Сейчас, хлопцы, сейчас, — засуетилась бабка, спуская с лежанки босые ноги. — С вечера еще все для вас приготовила...

Она проковыляла в угол и стала шарить в большом кипарисовом киоте, который одиноко красовался среди щедро набитых в стену ржавых гвоздей и крюков.

— Двоих только и оставила, голуби, — заступницу нашу казанскую богородицу и Пантелеймона-целителя, дай ему бог здоровья...

— Ты, бабуся, зубов не заговаривай, — перебил ее Добья, стараясь говорить поласковей. — Зови хозяина...

— Нет хозяина, сама своими руками из хаты иконы повынесла, голуби, — твердила бабка. — Прости господи, грех какой.

И она протянула Добье несколько двадцатирублевых керенок.

— Да ты за кого нас принимаешь, старая? — спросил, удивляясь, Добья. — Спрячь назад свое приданое...

Видно, слова его очень огорчили бабку.

— Нет николаевских, голуби мои, — захныкала она. — Побей меня гром, нету... Пожалели бы вы меня, хлопцы, на старости лет...

— Упарила ты меня, бабка,— сказал Добья и сдвинул на затылок шапку, не зная, сердиться ему или смеяться,— Может, вы хлопцы, что соображаете?..

— Кабы было соображение, не творили б такого, — вскудахталась старуха. — И где это видано, чтоб со святых ликов поборы брать?..

Она осеклась и посмотрела на своих гостей испуганными и хитрыми, как у старой мыши, глазами. Но видя, что они стоят в замешательстве, набралась еще большей смелости и вдруг завопила, словно ее резали:

— Душу из меня выньте, нет николаевских!.. Мученический венец приму... Не отдам страдалицу на поруганье язычникам...

— Постой, постой, бабка! — попробовал унять ее Добья. — Коли речь о твоих картинках, то они нам от роду не нужны. Ума наберешься, сама со стен поснимаешь.

Но тут подал из люльки свой звонкий голос растревоженный бабкой ребенок, и в хате началось такое светопреставление, что Добья, мигнув бойцам, поскорей повернул к двери.

— Взбесилась бабка, — смущенно проговорил он, притворяя за собой ворота. — Однако хотел бы я видеть ту муху, что ее укусила...

— Муха та не простая, — многозначительно отозвался молчавший до той поры Плахотнюк и, когда зашли они в соседнюю хату, где тоже не оказалось мужчин, повел свою политику.

Пока Добья, помня наставление Яковенко, вступал в обходительные разговоры с толстой, сердитого вида хозяй-

кой, не устававшей раздавать подзатыльники и тумаки своему многочисленному потомству, Ларион Петрович побывал на чердаке, в клуне и даже свел знакомство с цепным кобелем, заглянув к нему в будку.

Не обнаружив ничего примечательного, он зашел в хату и, греясь у печи, стал слушать Добьин разговор с хозяйкой.

— Так говорите, хозяюшка, не скоро сын вернется?

— Кто его знает... Может, к понедельнику, а может, до четверга пробудет...

— А за каким делом он в Злынку поехал?..

— Брехали люди, будто соль там раздавать будут...

— Так... — вздохнул Добья. — Соседи ваши тоже за солью в Злынку подались?..

— То у них спросите...

— Может, все-таки кто остался? Беднота, к примеру, у вас тут на селе есть?..

— Про то ничего не знаю,— ответила хозяйка и строго поджала толстые, как две положенные одна на другую перепечки [1], губы.

— А я цось знаю, — сказал важно хлопчик лет четырех, силясь дотянуться до кобуры Добьина револьвера, которая давно уже занимала его. — Фроська Коваленкова с тетей Евдохой в погреб побегли...

— А ну, поди сюда, Яшка,— медовым голосом позвала мать.— Я кому сказала, чтоб нос выбил?..

И через минуту Яшка уже ревел на печке, держась за ухо.

— Малое — дурное, — пояснила она, вытирая о подол руки и грозно поглядывая на притихших в углу двух девочек-погодков.

— Малое, а разум свой показывает, — в тон ей отозвался Ларион Петрович. — Послушайте, кума, что я вам скажу...

— А что? — насторожилась женщина.

— Напрасно вы порося в хате держите...

— Какое порося? — спросила хозяйка, и толстое лицо ее пошло красными пятнами.

— Оно вам под печью такой дух разведет, до лета не выветрите,— продолжал Плахотнюк, приглядываясь к ней.

Он не спеша взял кочергу на длинной деревянной ручке и присел на корточки.

— Приболело порося... Вот я и взяла до хаты. И что

---

[1] Перепечки — толстые блины из простого хлебного теста.

оно вам далося? — еле выговорила хозяйка, испуганно следя за ним.

— А-чу!.. А-чу! — покрикивал меж тем Плохотнюк, цепляя что-то под печью кочергой. — А ну, вылазь, тебе говорят...

Под печью что-то заворочалось, запыхтело, словно там отдыхал боров пудов на десять. Потом показались старые валенки, подшитые на пятках сыромятной кожей, толстый зад, на котором чуть не лопались домотканого сукна шганы, и, наконец, вылез здоровенный парубок, глянув на которого каждый без труда догадался бы, что это было родное чадо потерявшей дар речи хозяйки.

Весь в паутине, пыли и всякой дряни, он растерянно моргал сонными, чуть-чуть навыкате глазами.

— Вот это так порося! — обрадовался Добья, и по хате пошел хохот.

— Однако отъелось оно у вас под печью...

— Сало, видать, хлебное... — смеясь, говорили бойцы.

Плахотнюк с досадой поставил на место кочергу.

— Я думал, что путное,— сказал он.

— Что ж, собирайся! — приказал Добья парубку.

— Куда же вы его забираете? — взмолилась хозяйка.— Пошутковал ведь хлопец...

— А мы шутки любим... И шутников тоже.

— Мамо, куда шапку заховали? — проговорил баском парубок, не выказывая особого испуга.

— Как же без шапки пойдет дытына? — заголосила мать.

— На, повяжись! — сказал Плахотнюк и бросил ему лежавший на лавке старый платок.

— Не пущу я его одного, — взвыла хозяйка, заступая бойцам дорогу.

— Нет, уж вы, будьте ласковы, посидите дома,— сказал Добья, за талию, будто барышню, отводя ее от двери.— А чтобы вам не скучно было, мы вам кавалера оставим. Ларион Петрович! Может, вы тут побудете, пока мы вернемся?..

Сообщив обо всем этом Яковенко, Добья еще раз с сомнением оглядел своего пленника.

— Скажи хоть, как звать тебя, чертова дытына? Или, может, мамку твою пойти спросить?

Пухлые губы парубка разошлись в улыбке.

— А чего до мамки ходить? То я и сам вам скажу. Зовут нас Иваном Граком. А по батькови Трифоновичем.

— А зачем тебя, Иван Грак, мамка под печь сховала?

— Да не то она меня ховала? Я сам полез...

— За какою надобностью?

— Жарко в хате было, а там холодок.

Стоявшие вокруг бойцы рассмеялись, а Мишка Кононенко сказал:

— Голова, как казан, а разума ни ложки.

— Вот что, Павло, отведи-ка этого Грака пока в росправу,— решил Яковенко, видя, что они без толку теряют время.— Пусть там подождет. Сдается мне, он вовсе не такой дурак, каким представляется.

На ходу оглянулся и добавил:

— Да заставы на обе стороны выдвинь. Оно не лишнее будет...

6

Меж тем Ларион Петрович, по-хозяйски расположась у догоравшей печки, вел неторопливую беседу с матерью Ивана Грака, которая никак не хотела унять слез, обильно струившихся по ее бурачного цвета щекам.

— Да не плачьте, кума, только себя в расход вводите,— философски говорил он, покуривая собачью ножку.— Разве теперь слезам кто верит?

— Куда они дытыну забрали?.. — причитала хозяйка.— Не пила еще и не ела дытына...

— Поест и попьет еще ваша дытына,— говорил на это Плахотнюк. — Не бойтесь, злого ей наши хлопцы не сделают. Поучат трохи, да и отпустят. А то, видать, опоздала она у вас, когда господь разум людям раздавал... Вы лучше, кума, не таитесь, а расскажите, кто вас так перепугал, что вы от белого дня ховаетесь?

Вместо ответа хозяйка заголосила еще отчаянней, и ее плач дружно, на разные голоса подхватили забравшиеся на печь дети. Даже спавшая на лежанке брюхатая кошка подняла голову и раза два сердито мяукнула, словно обижаясь, что люди потревожили ее покой.

— Добрый бы из вас, кума, регент вышел,— только и сказал Плахотнюк и переменил тактику.

Он порылся в карманах и, достав кусок рафинада, показал его Яшке, который сидел на самом краю печи, свесив ноги. Яшка тотчас же замолчал, не в силах отвести глаз от сахара. А когда Плахотнюк подмигнул ему, послушно слез с печи и подошел к чудно́му гостю, который вовсе не казался ему страшным.

— На, погрызи, — сказал Ларион Петрович, погладив его по головке.

Яшка запихнул в рот весь кусок и так усердно принялся за работу, что через минуту от сахара не осталось и следа. Он облизнул губы и в ожидании уставился на Плахотнюка.

— Вкусно? — спросил тот.

— А то! — сказал Яшка.

— Хочешь еще?

— Ага! — сказал Яшка.

— Только прежде сбегай, Фросю Коваленкову сюда позови. Скажи, что ваша кошка принесла кошеня о двух головах. А когда Фрося скажет: «Солдат боюсь» — ты скажи: «Солдат у нас уже нет, все на Круговец подались». Ну, живо!..

Яшка послушно метнулся к двери, но его остановил грозный оклик матери:

— А ну, вернись, Яшка! Давно за волосья не скубла?

Яшка замер в нерешительности, а Плахотнюк покачал головой и укоризненно сказал:

— Эх, кума! Опять не с той ноги танцевать пошла. Что же мы, до вечера в прятки играть будем? Сами себе лиха, кума, хотите.

Тем временем Яшка боком-боком добрался до двери и так быстро шмыгнул на улицу, что мать и слова больше сказать не успела.

Молча села она на лавку, и в хате первый раз наступила полная тишина.

— Вот так лучше будет, кума,— сказал Плахотнюк.— Когда сами не хотите, пускай люди расскажут.

Яшка не заставил долго ждать себя. Минут через пять в сенях хлопнула дверь, и в хату вбежал запыхавшийся Яшка, а следом за ним вошла худенькая девочка лет восьми в большом старом кожухе, рваные полы которого волочились за ней по земле. Вошла, глянула на Плахотнюка и обмерла. Хотела податься назад, но тот прикрыл дверь и сказал:

— Здорова будь, Фрося. А мы тебя давно дожидаемся. Садись, грейся, замерзла в погребе, видно?..

Легонько подтолкнув девочку к лавке, он сел на прежнее место, разглядывая ее заплаканное лицо.

— Что же ты, Фрося, оборватая ходишь? — спросил он.

Девочка, потупясь, молчала.

— Ай-ай-ай! Такая хорошая дивчина! Попросила бы у матери чистую хусточку да новые черевики. Не то не дала бы?..

— А где же его, нового, нам взять? — боязливо ответила Фрося.

— У них из хаты все цисто повымели,— деловито сообщил Яшка, примостившийся сбоку ее. — На воза поклали и до леса повезли. Я сам бацил...

— Цыц, Яшка! — крикнула мать, бросая на него устрашающие взгляды.

— А тато твой где же? — спрашивал Ларион Петрович девочку, будто бы не замечая возрастающего волнения хозяйки.

Фрося подняла на него большие, по-детски ясные глаза, и столько было в них и удивления, и обиды, и горя, что даже у Лариона Плахотнюка, всего повидавшего на своем веку, дрогнуло сердце. Пошевелила губами, собираясь что-то сказать, и не смогла. Громко всхлипнула, повалилась ничком на лавку и забилась в безысходном плаче.

Испуганный Яшка сорвался с места и, опрометью бросившись к матери, обеими руками уцепился за ее широкую юбку.

А сама хозяйка, вдруг придя в ярость, уперла руки в крутые бока и двинулась в наступление на Лариона Петровича.

— Да где же ваша совесть, чтоб вас громом небесным побило! — неистово кричала она, суча перед его носом кулаками, каждый из которых мог бы сойти за добрый толкач для ступы, в какой бабы рушат просо. — Не то не знаете, где ее батько!.. Не то не вы сами с нищего суму сняли да ее, сиротинку, голой и босой по свету пустили?.. А людям голову морочите — мы за правду!.. У вас той правды — как у жабы смальца. Говори, антихрист, куда моего Ваньку забрали!.. Может, его, дытыны моей, уже и живого нет?.. Да я же вам тогда своими руками все очи повыдеру!..

Слезы горохом падали на ее необъятную грудь, бурно вздымающуюся под ситцевой кофтой.

Много еще всяких других обидных слов понаговорила она Лариону Петровичу, дав полную волю своему злому языку:

— Чтоб у вас поотсыхали те руки, которыми снимали вы у людей с покута святые лики!.. Повылазят у вас печенки и отнимется язык, чтоб не вводили в обман своею брехней добрых людей... А за того Костю-цыгана, что предали вы лютой смерти, своею десницей покарает вас господь, бо никому на свете не сделал зла этот человек. Не потерпит земля вашего паскудства, разверзнется под но-

гами и поглотит вас вместе с Крыжовым займищем, Иудою Подгубянским и самим вашим атаманом, тем исчадием ада, что породила на свет сама преисподняя!..

Ларион Петрович сидел молча, насупив брови и чуть сбычив голову, однако нисколько не обижаясь, а даже с интересом слушая, как поносят его за чьи-то чужие грехи. И только когда, выговорясь до конца, сложила хозяйка на груди могучие руки и сказала, чтобы казнил он ее, не сходя с места, за праведные слова, — покачал головой и, усмехаясь, промолвил:

— Эх, прорвало вас, кума. Давно бы так... А то сколько времени задаром ушло.

Достал из кармана еще два куска рафинада,— один сунул в руку ошалевшему от мамкиного крика Яшке, другой положил возле обессиленной рыданиями Фроси и взялся за шапку.

— Ну, бывайте пока здоровы, кума. Еще свидимся! — сказал он и вышел из хаты, оставив в полном недоумении хозяйку, которая ждала от него совсем иного.

7

Как чужой, стоял Степан Терехов посредине собственной хаты, молча смотрел на жену, в исступлении бившуюся головой о лавку, и сам не знал, зачем пришел сюда. Не было у него сейчас и следа той страшной, туманящей рассудок злобы, что год назад чуть не толкнула его на кровавую расправу. Перегорело все, один пепел остался...

Вот лежит на столе озаренный трепетным светом догорающей свечки тот самый человек, что даже неведомый и незнаемый, казался Степану Терехову ненавистнее всех на свете. Почему же не радуется Степан? Почему еще тяжелей легла тоска на сердце, словно не развязала эта смерть проклятый узел Степанова горя, а еще туже затянула его?

Может, по-прежнему любит он Мотрю?.. А что из того, если и любит? Никогда не сможет он ни забыть, ни простить ей свою обиду...

Зачем же тогда стоит он посредине хаты? Почему не повернется и не уйдет, навсегда захлопнув за собой дверь? Что за сила такая приковала его к месту?..

Нет у него жалости к Мотре, нет у него слов, которые бы осушили ее слезы. Пусто на душе, как на кладбище после поминок. Пускай изойдет слезами Мотря, пускай до

дна выплачет очи, все равно не дрогнет у Степана ни одна жилочка. В камень замуровал он свое сердце, никто никогда не увидит и не узнает, что творится в нем...

Так почему же не может он уйти отсюда?.. Мертвый, что ли, не выпускает?

И понял Степан, что и вправду страшно ему переступить порог своей хаты, неся, как клеймо, на себе ненавистное людям прозвище душегуба. Нет, не за этим пришел он со своими боевыми друзьями в родные Подборовичи...

Никогда не думал пулеметчик Степан Терехов о пролитой в сражениях вражеской крови. Не дрогнула бы его рука, когда бы довелось ему одному, перед лицом своей совести, вершить справедливый суд над панским отродьем, пошедшим против трудящегося народа. Мало ли смертей видел он на своем солдатском веку?.. Так почему же не приемлет душа крови этого человека, из-за которого в черепки разбилось Степаново счастье? Страшно ему даже край одежды замарать ею...

— Садись, Степан. Чего стоишь?..

Вздрогнул Терехов от этих слов. Кто сказал их? Мотря сказала. Сидит на лавке, зябко кутаясь в черный вдовий платок, и глядит на него в упор сухими, горячими глазами, на которых словно и не было только что слез.

— Садись. В ногах правды нет.

Сел рядом, поставив винтовку между колен.

— Что делать будем, Мотря?

— Посидим вот так. А потом на суд пойдем.

Голос спокойный и далекий, будто чужой. Не то бредит?..

— На какой суд?

Молчит и неподвижно смотрит на Степана.

Догорела свечка в изголовье у покойника и погасла, чадя белым дымом.

Сгорбилась в уголке Мотрина мать. Крестится, не поднимая глаз от пола.

— Думаешь, Мотря, я его убил?

— Ты... Я все знаю. И как прошлый год домой ехал, и как с дороги в лес ушел. С того самого дня ждала. Знала, что так будет. А Костя не верил... Кабы поверил, живой бы теперь был...

— Ошиблась ты, Мотря. Не бандит я...

— Ты волк. И глаза у тебя волчьи. Я, молодая, дурная была, не разглядела... Разве пошла бы за тебя такого?..

От ее злых бессвязных слов путаются мысли у Степа-

на. Тяжелеет усталая голова. Что ей сказать на это? Все равно, что ей ни скажи, по своему поймет. А смолчать нельзя.

— Не тебе так говорить, Мотря!

— А кому?.. Думаешь, боюсь я тебя? Нечего мне бояться, когда ни перед людьми, ни перед богом не виновата я...

Сразу ожили давние боль и злоба. Стиснули сердце, перехватили дух.

— То верно. И Гнат не виноват, и Акулина безвинна,— виновата только хата, что впустила на ночь Гната,— хрипло промолвил Терехов и встал с лавки.— Хватит. Наговорились!..

Мотря тоже поднялась на ноги. Туже стянула на груди концы черного платка. Крикнула Степану прямо в лицо:

— Ну, говори, зачем пришел?

Спросила и не стала ждать ответа.

— Молчи! Сама знаю. Только не будет того, чего ты хочешь... Хата нужна? Хату бери! Все бери!.. Голая и босая к людям уйду. А с тобою жить не стану...

Подступила ближе. Ненавидящим взглядом впилась в глаза.

— А может, ты за моей смертью пришел? Мало тебе одной крови?.. Так чего ждешь? Вот я!..

И тут не сдержал себя Степан.

— Замолчи! — крикнул он и ударил прикладом об пол. — Замолчи, говорю, полоумная дура!..

От его бешеного крика вздрогнула и умолкла Мотря. Стояла окаменев, одни лишь черные соболиные брови вздрагивали, будто извивались от боли на смертельно бледном лице.

И сразу потухла Степанова ярость. Только душно стало и в горле горячо.

Сказал негромко:

— Прощай, Мотря. Не вспоминай злым словом. Не заслужил я такого...

И, тяжело ступая, пошел к двери.

Но она, опомнясь, забежала вперед и загородила ему дорогу.

— Постой, Степа!

— Ну, чего еще?

Снова в глаза смотрит, будто разглядеть что-то в Степановой душе хочет.

Спросила тихо:

— А кабы я поверила, остался бы?

Дрогнуло у Степана в груди. Показалось на мгновение, что невозвратное вернулось. Когда же кончится эта мука?..

Перевел взгляд на мертвого и сказал твердо:

— Нет.

— Почему?..

— Сама знаешь.

Потупилась, но с дороги не сошла.

— Не судьи мы друг другу, Степан.

— А я не судиться с тобой пришел.

— Чего же тебе надо?

— Сказать, чтоб жила, как знаешь...

— А ты?

— Когда не сложу в боях голову, где-нибудь свою долю найду.

Замолчали оба.

— Доню! Поди сюда! — позвала мать, тревожась наступившей тишины.

— Чего вам, мамо?

— Может, поел бы человек с дороги. Там трохи горилки было.

— Не троньте нас, мамо!..

Сорвала с гвоздя кожух, накинула себе на плечи.

— Выйдем, Степан, из хаты.

Морозный ветерок освежил голову Степану. Прищурясь, окинул взглядом подворье. Чисто, прибрано. Клуня свежей соломой перекрыта. В коровнике новая верея поставлена. Видать, была хозяйская рука.

Мотря, закусив губу, проследила Степанов взгляд. Поспешно сказала:

— Кондрата Коваленкова не видел еще?..

Закадычными приятелями были Степан Терехов и Кондрат Коваленко. Хлопчатами вместе гоняли коней в ночное, вместе ходили в приходскую школу, вместе и парубковать начали. И хотя оженился Кондрат года на четыре раньше Степана, не оборвалась от этого их дружба. И войну оба начинали в одном и том же запасном Черниговском полку. Вдосталь, будто из одного бачка, хлебнули горькой окопной жизни... Только в шестнадцатом году, когда ранило Кондрата осколком в плечо и попал он на излечение в тыловой госпиталь, разошлись их солдатские дороги... Но жива была в душе Степана память о старом друге, и не ошиблась Мотря, назвав в эту тяжелую для него минуту имя Кондрата.

— Отсюда до него пойду,— сказал он, отгоняя от себя опять прихлынувшие злые мысли.

— Нет его дома.
— Где же он?
— Про то тебе никто не скажет. Нельзя ему дома быть.
— А ты знаешь?..

Помедлила, прежде чем ответить. Отбросила носком чóбота из-под ног упавшую с крыши ледяную грудку. Сказала:

— Хочешь, сведу?
— Далеко идти?
— Дотемна придем.
— Загадки загадываешь.
— Не спрашивай, Степан. Когда хочешь, чтоб тебе поверили, поверь разок и мне.

Если и было у Степана Терехова какое сомнение, то длилось оно не дольше того, чем требуется солдату времени, чтобы достать из кармана трубку с кисетом, набить ее толченой нежинской махоркой и, прикурив от зажигалки, пустить из-под усов первую струю пахучего дыма.

— Добре, Мотря, пошли,— сказал он и первый вышел за ворота.

8

С десяток хат обошел Яковенко, и везде было одно и то же: бабы, седобородые деды да малые дети. Что ни спроси их, либо отмалчивались, либо несли такое, что Яковенко только диву давался: откуда нашло на людей затмение. А когда он с жаром принимался разъяснять, что прибыл в Подборовичи со взводом бойцов революционного полка имени товарища Богуна, чтобы положить конец старорежимным порядкам, заведенным оккупантами и гетманскими сатрапами, и произвести выборы советской власти, которая не жалует ни кулаков, ни их подголосков, и что просит он назвать поименно утеснителей бедноты для предания их справедливому суду народа, люди испуганно взглядывали на него и в один голос отвечали, что про утеснителей не слыхали ничего, что живут тихо и смирно, сами по себе, а что касается соседей, то это не их ума дело.

На сход идти никто не хотел:

— А что там робить? — спрашивали подборовичане.— Мы люди темные, все одно не разберемся, что к чему. Вы наши товарищи-начальники, как скажете, так и будет.

Про Костю-цыгана тоже ничего толкового не говорили: помер человек, а от чего — кто ж его знает...

— Да разве он своею смертью помер? — спрашивал

Яковенко, с трудом сдерживая гнев, который закипал в нем.

— Может, и не своей,— соглашались с ним.— Мы того не видели.

— А кто у вас на селе старостой?

— Без старосты живем. Как прибрал в Спасовку тиф Федота Осипенко, так с той поры и не выбирали...

Что же удивительного, если после всего этого пришел Яковенко в росправу злой как черт. Не было у него сомнения, что стряслось в Подборовичах что-то неладное, а что — попробуй разберись. Напуган народ, ни с какого края не подступишься.

А подступиться надо. Иначе какой же из него, Яковенко, красный командир, когда не может он донести до людей правдивое революционное слово, не умеет открыть им глаза на великое счастье, которое дает трудящемуся народу советская власть, — самим быть хозяевами своей судьбы. Грош цена такому командиру, да и то еще, если дадут в базарный день!..

Чем больше думал об этом Яковенко, тем большего набирался упорства. Скажи ему кто-либо сейчас, что можно бросить все, как оно есть в Подборовичах, и повернуть на Круговец, куда, верно, уже передвинулся штаб Богунского полка, счел бы он такой разговор за преступление. Не допускал Яковенко и мысли уйти отсюда, не выполнив Щорсова приказа.

— Надо с Тереховым поговорить,— решил он, досадуя, что не сделал этого раньше, боясь растревожить горе товарища.

Так рассуждая, вошел он в росправу.

Бойцы поджидали его, покуривая и отдыхая после двадцативерстного перехода. Иные, развязав заплечные мешки и достав оттуда горбушку хлеба и луковицу, перекусывали с дороги, как видно, не надеясь на что-либо лучшее.

Но Терехова среди бойцов не было.

У печки сидел на корточках Иван Грак и, ломая на колене сухой хворост, охапка которого лежала на полу, по-хозяйски поддерживал жаркий огонь. Дед-сторож стоял посредине комнаты, опираясь обеими руками на суковатый посошок, и что-то негромко рассказывал Павлу Добье и другим бойцам, сидевшим рядком на лавке у стены.

Послав Мишку Кононенко срочно разыскать Терехова, Яковенко опустился на корточки рядом с Иваном Граком и принялся греть у огня зазябшие руки.

— Вот про то я и говорю вам, хлопцы, — слышал он

надтреснутый и глуховатый, будто выходивший из рассохшейся бочки, голос старика.— Зелены вы еще, как зеленое дерьмо от тех зеленых гусенят, что вылупились на божий свет в зеленый троицын день.

— Ты, дед, может, все-таки не лаялся бы? — сказал Добья, однако, не сердясь, а добродушно посмеиваясь вместе со всеми, из чего Яковенко заключил, что у них со стариком уже вышло замирение.

— Мне с тобой лаяться без надобности. То я в поучение вам, свистоплюям, говорю. Бог даст, может, поразумнеет который.

— Зря стараешься, дед.

— А ты сперва послушай, что я расскажу. Старые люди, они еще не совсем из ума выжили, бывает, и разумное скажут.

И видя, что хлопцы молчат, прокашлялся и начал:

— Было это в те времена, когда мой батько еще в парубках ходил. Родом мы не здешние — из-под Овруча, с Правобережья. Были и дед мой и батько крепаками[1] у пана Квецинского. Сильный был пан, первый на все Волынское Полесье. Одной земли у него тысяч с двадцать десятин, а то и больше было. А жили люди и тогда неспокойно. Из-за чего та заваруха получилась, мне неведомо, только забунтовал пан Квецинский, поверстал своих крепаков в жолнеры и совместно с другими панами пошел против царского войска. То дело известное — паны дерутся, а у хлопцев чубы трещат. Сам Квецинский пороху не понюхал, а из челяди его не один костьми лег. Тогда царев генерал пустил промеж панских жолнеров подметное письмо: обманули вас,— говорит,— польские паны и повернули изменой против государя-императора. Но велика царская милость: кто оружие на землю положит да пановбунтовщиков по начальству представит, тому не только выйдет прощение, а еще будет дарована воля и нарезана земля от панских угодий... Долго ли думали люди, того я вам не скажу, но в одночасье покидали они ружья да пики и разошлись по домам. А дед мой, собрав самых отчаянных хлопцев, скрутил пану Квецинскому за спину руки и запер его в погребище. Цареву же генералу дал о том знать...

Старик остановился и колючими глазами обвел своих слушателей.

— Вы, я бачу, хлопцы, думаете: складно брешет чер-

[1] Крепак — крепостной.

тов дед, как по писаному. Эх, дети, дети! Кабы такое брехней было, легче бы людям на свете жилось.

Он тяжко, со всхлипом вздохнул и снова замолчал. Никто не торопил его, и он, передохнув, заговорил сам:

— Когда прибыл царев генерал со своим войском, первым делом освободил он Квецинского и водворил его в панские палаты. С месяц прогостевал у него, и, что ни день, то был там либо банкет, либо машкарад. Шляхта со всей округи съезжалась. Такое творилось, как на шабаше в Иванову ночь. А народ все ждет, когда же та воля да земля будет... Потом стало слышно, будто вышло к пану Квецинскому помилование. Генерал со своими офицерами поднялся и уехал до Киева. Пан же Квецинский на другой день собрал у себя на подворье народ и объявил: «Приказано, мол, мне осчастливить вас монаршею милостью, каждого по его заслугам». На самый перед вызывает моего деда: «Ну, — говорит, — Максиме, волю ты сам себе взял, когда поднял на своего пана руки. Остается мне наделить тебя землею. Как нарезать ту землю будем?» Люди кричат: «По душам нарезать!» — «Нет, — говорит пан Квецинский, — есть у меня другая думка. Видишь, Максиме, липу напротив моего крыльца? Сколько раз кругом нее обежишь, столько десятин земли тебе будет!» Махнул он рукой своим гайдукам. Кинулись они к моему деду, посрывали с него начисто всю одежду и подвели до той липы. Один вытащил ножик и вспорол деду живот, а другой гвоздем пуповину до липы прибил, и погнали они, иородовы души, нагайками моего деда вокруг той липы. Пять раз обежал ее дед, пока все кишки на корявый ствол не намотал, а на шестом упал и в страшных муках помер. «Ну, — спрашивает пан Квецинский, — кто еще, пся крев, земли хочет?..»

Голос старика оборвался. Колени его подкашивались. Бойцы потеснились, дав ему место на лавке. Смахивая слезы с растрепавшихся усов, он говорил:

— Хотя и не было меня тогда, хлопцы, на свете, а будто своими глазами все вижу, бо каждый раз плакал мой батько, как малая дытына, когда рассказывал мне про это злодейство.

Бойцы молчали. Видно, и у них заныли сердца. Добья спросил:

— А как же, дедусю, батька твоего помиловал пан?

— Не было бы жизни и батькови моему, когда бы в ту же ночь не запалил он панский палац и не убежал за Днепр, в черниговские леса.

Яковенко рывком поднялся на ноги. Растравил ему душу дед своим рассказом, а главное, чувствовал Яковенко, что неспроста припомнил тот проклятую эту быль.

— Слушай, старый! — сказал он, подступая к деду и видя, как насторожились бойцы, ожидая услышать, о чем он поведет речь. — Мудрый ты, видать, человек, так как прожил на свете вчетверо больше каждого из нас. И батогов и невинной крови немало повидал ты на своем веку. Лютой ненавистью должен ненавидеть всех панов и прочих вампиров, на кого гнул весь свой век спину. Так почему же ты не рад нашему приходу? Зачем смотришь на нас недобрым взглядом, будто перед тобой не бойцы Красной Армии, а гайдуки того самого, на веки проклятого, пана Квецинского, от которого принял твой дед мученический конец? Говори правду, какая беда стряслась у вас в Подборовичах? Не бойся никого, поверь нам, что крепкой защитой будет для тебя Красная Армия и рабоче-крестьянская советская власть. Ведь за таких, как ты, мы без страха на смерть идем!..

Так, весь дрожа от волнения, говорил Яковенко, а дед, слушая его, тоже взволновался и все порывался встать со скамьи, но единственная нога плохо слушалась его.

— Хорошо говоришь ты, хлопец, — ответил он Яковенко, когда тот замолк. — От таких слов и железо растопится, как воск... И все вы, хлопцы, мне по душе. Как сынов бы я вас обнял и к груди своей пригорнул... — Он перевел дух и сказал с надрывом, будто тяжелый камень на плечи взвалил: — Кабы не видел я своими глазами того самого Богуна, под началом которого вы ходите...

Всякого ответа ждал Яковенко, только не такого.

Сбитый с толку, растерянно смотрел он на деда, и даже на мгновение подумалось ему: да не во сне ли все это?..

— Ты про что, дед, говоришь? — спросил он, решив, что недослышал.

— Про то самое! — пробормотал, захлебываясь тихой яростью, старик, и лицо его опять стало злым и напряженным.— Ты, хлопче, ягнем передо мною не прикидывайся. На подрезных санях не подъезжай! Не хитрее меня будешь... Заворачивай лучше оглобли до своего Богуна!..

В росправе сразу поднялся шум. Прошло суровое очарование, навеянное дедовым рассказом. Кто-то из бойцов рассмеялся, кто-то сказал, что у старого давно уже, видать, не все дома. Может, и похлеще что довелось бы услышать старику, но Добья поднялся с лавки и крикнул:

— А ну, хлопцы, деда не обижать! Мало что старый

человек скажет... Не ровня он нам. Понимать надо!..

Яковенко стоял, закусив губу. Не было у него злобы на старика. Была лишь обида, да и то больше на самого себя: будто кинулся он, очертя голову, вперед, думал: сразу на шлях выйду, — а оказалось, что и тут стена; уперся в нее и не знает, что же сказать товарищам, которые в нетерпении ждут его командирского слова.

Кто-то положил Яковенко руку на плечо. Он обернулся. То был Плахотнюк, который вошел в росправу во время рассказа старика и молча слушал все, что говорилось тут.

— Гриша! — сказал тихо Ларион Петрович. — Давай выйдем на улицу. С глазу на глаз поговорить надо...

9

Они вышли на крыльцо. Начинало подмораживать. Над церковью, тяжело хлопая крыльями, кружились сытые вороны. Они лениво каркали, точно переругивались между собой, устраиваясь ночевать на старых вербах, поднимавшихся вровень с приземистой подборовичанской колокольней. На селе не было слышно иных звуков. И хотя струился кое-где над трубами хат жиденький сизоватый дымок, улица по-прежнему была пустынна. Лишь в дальнем конце ее, у выезда на дорогу, темнели фигуры бойцов — выдвинутая Добьей застава.

— Ну, брат Гриша, загадали нам с тобой задачу,— начал Ларион Петрович, зорко поглядывая по сторонам, словно проверяя, не подстерегает ли их из-за какого угла новая неожиданность. — Что делать будем?..

Яковенко с горечью признался, что хотя и чует он, что перебежала им в Подборовичах дорогу какая-то контра, однако ума не даст, как ухватить ее за глотку. Плахотнюк на это ничего не ответил. Полез в карман за своим видавшим виды кожаным кисетом и стал завертывать собачью ножку.

— Как ты, Гриша, соображаешь, — может, и взаправду довелось деду повстречать Ивана Богуна? — спросил он, выпустив через нос две длинные струи дыма, подхваченные легким морозным ветерком.

— Разве что во сне!..— невесело усмехнулся Яковенко, принимая его слова за шутку.— От старческой немощи ум за разум у деда заходит...

— Что верно, то верно, стороват дедок, — согласился Ларион Петрович. — Ну, а про остальных подборовичан что ты скажешь?

— А что про них говорить?

— Тоже с ума посходили?

Видя, что Яковенко медлит с ответом, заключил:

— То-то и оно, Гриша! Одно к одному идет...

Из-за угла церковной ограды показался Мишка Кононенко. Завидев на крыльце росправы Яковенко и Плахотнюка, убыстрил шаг, оттягивая книзу рукой ремень винтовки, чтобы не прыгала за плечами.

— Товарищ комвзвода! — крикнул он на ходу.— Не приходил Терехов?..

— Нет еще!

Кононенко торопливо поднялся на крыльцо и рассказал, что Терехова в хате не застал и жинки его тоже не было. Сидит около покойника одна старуха и молитвы читает. Но сколько он с ней ни бился, толку мало — все крестится да плачет. «Ушли, говорит, а куда — не сказали...» А потом, как заголосила: «Ой, доня, моя доня, да что же с тобой, бедная твоя головонька, теперь будет?..»

— Боюсь, как бы не вышло со Степаном беды,— заключил свой рассказ Мишка Кононенко.— Дело тут, видать, такое: либо он жинку сгоряча шлепнет, либо она его под пулю подведет...

Встревоженный Яковенко хотел было позвать человек десять бойцов, чтобы немедленно отправиться на розыски Терехова, но Ларион Петрович остановил его.

— Не горячись, Гриша,— сказал он.— Степан — не малая дытына, и на плечах у него голова, а не кочан капусты. Раз пошел,— знал, куда идет. Не в чужом селе, а в своем. А у нас с тобой и без него заботы хватит, по всему видать — неспокойной будет эта ночь...

10

Подтянув заставы к самому въезду на площадь, чтобы не оказались они отрезанными от своих в случае, если неведомый враг попытается обойти их переулками, и, выставив возле дома еще и караульного, подступил Яковенко с допросом к Ивану Граку.

— Говори, кто ты такой? — грозно начал он, расстегнув для острастки кобуру нагана.— Гайдамацкая сволочь,

по которой давно плачет наша пуля, или же свой брат — трудящийся человек? И знай, что если ты даже и сволочь, но чистосердечно покаешься в своих грехах и расскажешь обо всем, что было тут у вас в Подборовичах, помилуем мы тебя и дадим загладить вину перед советской властью. А будешь молчать,— пеняй на себя!.. Даю на размышление две минуты.

Но Иван Грак размышлять не стал вовсе, а только почесал потылицу, будто смущаясь того, что выпало ему такое внимание от незнакомых людей, и сказал, что, должно быть, он все-таки не сволочь, так как у гайдамаков никогда не был,— рассказать же начистоту все, что знает, он и сам собирался. А если молчал до сих пор, то надо же было ему присмотреться к новым знакомым.

— Ишь ты, какой премудрый! — не утерпел, чтобы не вмешаться, Павло Добья. — Бреши уж и дальше. Скажи — сховался под печь, испугавшись, как бы ни за что ни про что не обидели тебя злые люди!..

— А чего брехать, — не сморгнув, ответил Грак,— когда так оно и было.

— Ну, брат, легче на поворотах! — рассердился Добья.

— Тише, Павло! — сказал Яковенко.— Сейчас по порядку разберемся... Так, говоришь, за лихих людей нас принял? — снова обратился он к Граку.

— Да вы, хлопцы, не обижайтесь. Откуда мне было знать, что вы не розбишаки какие? Мать приметила вас в окно и говорит: «Опять идут, лихоманка их забери! Лезь, Иван, от греха под печь, а то как бы тебя с собой не угнали...» Я и полез.

Яковенко в нерешительности смотрел на него. Похоже, правду говорит чертов хлопец.

Хотя на дворе уже стемнело и бледный отсвет луны, проникавший сквозь заиндевелые окна, не мог рассеять царивший в комнате сумрак, лицо Грака было видно хорошо, так как сидел он у самой печки, в которой нет-нет да и вспыхнет и пробежит по груде подернутых белым пеплом углей то желтое, то синее пламя. И не было в этом лице ничего такого, что могло бы возбудить подозрение и гнев у Яковенко. Меж круглых, похожих на хорошо взошедшие пампушки щек торчал задранный кверху нос. Под стать ему были и пухлые губы, сами собой, что ни говорил бы Иван Грак, расходившиеся в улыбку. А карие, чуть навыкате глаза смотрели на людей таким взглядом, будто, удивляясь, спрашивал их хозяин: «Не то и вправду не верите мне? Сами же видите, какой я хороший...»

— А ну тебя совсем! — сказал Яковенко, которому вдруг стало смешно.

— Думаю я, Гриша, что нет хлопцу расчета нам брехать,— сказал Ларион Петрович.— Дай-ка, я с ним потолкую.

Он поставил поближе к печи кривоногую табуретку и сел на нее верхом — так, чтобы лучше видеть лицо Грака.

— А скажи, Иване,— безо всяких обиняков спросил он,— когда у вас на селе был в последний раз Богун?

И Грак, нисколько не задумываясь, с готовностью ответил:

— Вчера под вечер верхами со своими хлопцами заскакивал.

— А то всё на Крыжовом займище Поддубянского сидит?

— Говорят люди, что там.

— Так... Ну, а теперь скажи, сколько тот Богун с иконы налогу брал?

— Та по-разному. Как богородица либо там спаситель — по сто карбованцев. А со всяких боженят да угодников дешевле...

Такой хохот стоял минут пять в росправе, что даже дед-сторож, забившийся было в угол за печку после разговора с Яковенко, вылез оттуда и, приковыляв поближе к бойцам, приставил ладонь к уху, стараясь разобрать, что тут за комедия.

— Ну и хлюст! — насилу выговорил, отирая слезы, Добья. — А вы, дурни, ему давали?

— Попробуй, не дай, когда он тебе за каждым словом револьверт под нос тычет,— обиделся Грак.

— А ну, потише, хлопцы! — сказал Ларион Петрович.— Нам с вами смех, а люди от того гада, что своим самозванством позорит славное имя, которое носит наш полк, горькими слезами наплакались.

Он подождал тишины и опять обратился к Граку:

— А теперь расскажи нам все по порядку, как оно было!

— Так чего же вам рассказывать? — удивился Грак.— Когда вы и сами все знаете...

— То тебе полбеды, хлопче. Твое дело сейчас отвечать, а наше — спрашивать.

Однако рассказать Иван Грак не успел ничего.

На крыльце вдруг поднялся такой шум и крик, что бойцы похватались за винтовки, а Яковенко вытащил из кобуры наган, готовясь к самому худшему.

Дверь сама открылась ему навстречу, и в комнату, пятясь, отошел караульный, неуверенно выставив перед собой штык.

— Стой! Не лезь! — кричал он.— Осади назад, стрелять буду!..

— Я тебе стрельну, чертов сын! — отвечал ему разъяренный женский голос.— Как ошпарю борщом, очи повылазят!.. Говори, куда его дели, мою дытыну? Веди меня, антихрист, до его недвижимого тела!..

— Я тут, мамо! И чего вы разоряетесь?.. — поспешил подать голос Иван Грак.

— Пропусти ее! — крикнул часовому Яковенко.

Ларион Петрович сунул в печь сухую сосновую ветку и, когда она вспыхнула, треща и рассыпая вокруг искры, точно факелом осветил ею комнату.

И все увидели толстую Гракову мать, которая бурей ворвалась в росправу, держа в одной руке ведерко, от которого шел легкий парок и густо пахло борщом, а в другой что-то завязанное в белом платке, похоже большую глиняную миску со снедью.

— Да что же они, изверги, сделали с тобою, моя дытына! — заголосила она, не успев даже разглядеть, где ее любимое чадо. — Дай же я своими слезами твои раночки омою. Дай же я приголублю тебя перед твоим смертным часом!..

— Говорю вам, мамо, что ничего мне тут не сделалось! Не то сами не видите? — с досадой сказал Иван Грак.

Однако, почуяв запах борща, смягчился и добавил примирительно:

— А что поесть принесла, то добре. У меня с голоду уже кишка до кишки поприсыхала.

— Что я вам говорил, кума? Ведь поразумнела ваша дытына! — заметил, посмеиваясь, Ларион Петрович. — Подождите, то ли еще будет...

11

Вот так, понемногу, разбирались они в этой сумятице, а разобравшись, увидели, что друг другу не враги, а скорее друзья, так как вовсе не от кулацкого рода были Граки, и, хотя любили поесть — что мать, что дети, — однако, насилу дотягивали со своим хлебом до нового урожая.

Теперь уже не таились от Яковенко и его бойцов ни Иван, ни его мать. Даже дед-сторож, казалось, позабыл

свое недоверие и то и дело вмешивался в рассказ Грака, дополняя его своими подробностями.

Получалось с их слов такая мерзостная картина, что даже Ларион Петрович, на что уж бывалый человек, и тот раза два сплюнул от негодования.

Неделю назад, уже после того как стало слышно в Подборовичах, что потеряли оккупанты свою силу и торопятся унести ноги с украинской земли, распродавая направо и налево, а то и так бросая оружие и всякое военное снаряжение, и что с часу на час могут подойти сюда красные советские войска,— въехал под вечер в село конный отряд сабель в двадцать. Были у всех всадников на шапках и на груди кумачовые ленты, потому и решили люди, что это те самые, кого они ждали.

Прибывшие спешились на площади перед церковью и сразу же ударили в большой колокол, собирая народ для беседы, хотя звонить надобности, пожалуй, и не было, так как почти все подборовичане, от старого до малого, радуясь, сами стекались к росправе со всех концов села.

Когда народу набралось почти что полная площадь, на крыльцо выскочил невысокий кучерявый человек в шинели и в черной шляпе. По всему было видно, что он не военный, так как оружия при нем не было и приехал он позже верховых на легких извозчичьих санках.

Голос у него оказался не по росту громкий. И когда говорил, то становился на носочки, должно быть, хотелось человеку казаться повыше. А сказал он примерно следующее:

— Объявляю революционный митинг свободных граждан села Подборовичи открытым и предлагаю всем безо всякого стеснения высказаться, какое понятие имеется у населения о текущем моменте с точки зрения местного и международного масштаба.

Первое слово попросил Кондрат Иванович Коваленко, человек, хорошо известный всему селу: три года отвоевал он в империалистическую, а при гетмане полгода отсидел в городнянской тюрьме за то, что по возвращении с фронта выбрал его народ председателем земельного комитета. Поприветствовав дорогих гостей и покричав в честь их вместе со всем собранием «ура», Коваленко сказал, что, как думает он, первой революционной задачей для подборовичан будет снова выбрать земельный комитет. Хоть и нет поблизости от села панских угодий, зато найдется немало излишков у своих же куркулей, чтобы нарезать от них наделы незаможным и малоземельным. И прежде все-

го требуется взять к ногтю Осипа Поддубянского, который живет на своем займище, как князь, и сосет из людей кровь злее, чем паук, имея своими должниками половину Подборовичей.

После Кондрата Коваленко выступил Костя-цыган, и хотя говорил он не совсем к делу, но слушал его народ с охотой, так как любили Костю в Подборовичах. Особенно благоволили к нему молодые бабы за его скрипку и за то, что отзывчивую к чужому горю душу имел человек,— сам все равно, что голый, а людям всегда готов был помочь. Говорил Костя-цыган о том, какая красивая будет теперь жизнь. Как птица, вырвавшись из клетки, летит с песней навстречу солнцу, так и человек, получив свободу, полетит прямым путем, как тот соловей либо коноплянка, к своему счастью. Вот такие слова говорил Костя-цыган, в которых будто и смысла особого не было, а почему-то щемило от них радостью сердце и хотелось слушать его еще.

Но приезжий прервал Костину речь, сказав, что мысль оратора понятна и что за поздним временем митинг пора кончать. Поэтому предоставляет он в заключение слово заслуженному борцу революции Ивану Богуну.

Тут из росправы на крыльцо вышел человек такого здоровенного роста, что кучерявый вместе со своей шляпой едва доставал ему до подмышек. Был он широк и могуч в плечах, шею имел длинную, жилистую и почему-то скривленную набок, отчего смотрел на людей искоса, по-бычьи, будто заранее был недоволен всеми.

Сказал он немного, так как был сильно хрипова́т, не то от простуды, не то еще по какой причине. Из того же, что сказал, подборовичане поняли лишь, что за его заслуги дано ему право казнить и миловать любого по своему усмотрению, а потому все должны, не прекословя, повиноваться ему. Не далее как завтра он сам разберется во всех подборовичанских делах и предоставит честным труженикам все блага свободы, а контрреволюцию выведет начисто, под корень. Что же касается Поддубянского, то им он займется в первую очередь и немедля поедет на займище, чтобы учинить там и суд и расправу.

Конники посадились на лошадей, кучерявый залез в санки, и весь отряд рысью отбыл по дороге на Крыжово займище, где находился хутор и водяная мельница Осипа Поддубянского.

Два дня жили подборовичане в ожидании обещанных благ и свободы, но, как видно, новоявленный Иван Богун и его кучерявый подручный не очень торопились раздавать

эти самые блага. Как уехали на Крыжово займище, так словно и забыли, что есть на свете такое село — Подборовичи. И когда бы и вправду позабыли о нем, было бы это великое счастье для людей...

На третий день не выдержал Кондрат Коваленко и с утра пошел в Крыжово займище, чтобы узнать, из-за чего получилась задержка и нельзя ли, пока суть да дело, самим подборовичанам заняться своими земельными делами.

Ушел Кондрат и не вернулся, и что с ним сталось, до сего дня никто не знает. Сгинул без следа человек...

А к обеду прискакал в Подборовичи на своих санках кучерявый с конвоем из четырех верховых и, созвав колоколом людей, зачитал приказы Ивана Богуна. Вот это, должно быть, и были те самые «блага свободы», которые обещал подборовичанам «заслуженный борец».

Первым приказом объявлялось, что не потерпит он самочинного, без его разрешения, раздела земли и будет карать за это по всей строгости, вплоть до смертной казни.

От такого крутого поворота пришел в смущение народ, однако молчал, не разобравшись еще толком, куда клонится дело. Но когда был зачитан второй приказ, шум пошел по толпе, потому что никак не хотели люди верить услышанному. Было сказано в нем, будто, произведя расследование, установил «заслуженный борец», что оклеветали злонамеренные смутьяны Осипа Поддубянского, который на деле является честным тружеником и слугой народа. Посему, чтобы никому впредь не было повадно подрывать устои свободной жизни, объявляется вне закона Кондрат Коваленко, а имущество его предается конфискации.

Третьим приказом свободные граждане оповещались о чрезвычайном налоге на иконы, каковой надлежало в трехдневный срок внести, будто бы на революционные нужды.

Кучерявый никаких разговоров слушать не стал, сел в саночки и укатил обратно. А люди расходились по домам в недоумении, не зная, что и подумать: может, пошутковал над их темнотой заезжий пустобрех?..

Однако на другой же день увидели подборовичане, что дело вовсе не шуточное, так как приехал взимать чрезвычайный налог сам «заслуженный борец» Иван Богун. Заходил он в хату, клал руку на револьвер, что торчал у него за поясом, и грозно требовал денег либо натуры. Когда же не находилось у хозяев, чем заплатить, сперва пускал в ход кулаки, потом самолично снимал со стены икону и, положив на порог, рубил шашкой...

А к подворью Кондрата Коваленко подъехали двое с ружьями, выгребли все, что было в хате, и повезли на займище.

Тогда и подал свой голос против чинимого в Подборовичах произвола Костя-цыган. Бесстрашно заступил он дорогу Ивану Богуну и сказал, что не может быть, чтобы делалось такое во имя революции и свободы, и что, если не прекратит тот свое бесчинство, пойдет он, Костя-цыган, искать на него управу к самому Щорсу, который, как уже слышно, отогнал немцев и гайдамаков к Городне.

Было это на глазах у многих подборовичан, и иные обмерли от страха, ожидая, что будет дальше, другие же придвинулись ближе, готовые защитить Костю, когда бы захотел сделать ему что плохое «заслуженный борец». Но Иван Богун только оттолкнул Костю с дороги и, вскочив на коня, во весь дух умчался в Крыжово займище. Не хватило у него смелости поднять при народе руку на того, кто сказал слово правды.

А ночью постучал кто-то в окно Тереховой хаты, где квартировал Костя-цыган. Проснувшись, вышел Костя спросить, чего надо. Грянул выстрел, и бездыханный упал он, сраженный злодейской пулей.

Когда узнали об этом люди, смятение охватило всех. Одни потихоньку ушли из села, другие затаились по своим углам, боясь промолвить лишнее слово.

Чего же удивляться, если никому не хотели верить теперь подборовичане, страшась, как бы не пролилась снова кровь.

— Да что же это за сволочь такая? — спрашивали в гневе бойцы.

— Сдается мне, сволочь известная,— хмуро сказал Ларион Петрович.— Сразу видно, что Гапка блинцы пекла, раз все ворота в тесте.

— И додумался же, паскуда, чьим именем назваться! — крикнул Добья.

Не в силах сдержать обиду, Яковенко шагнул к старику сторожу.

— Эх, дед, дед!.. Что же ты раньше не рассказал нам про это? Мы ту гниду контрреволюционную уже давно бы на аркане сюда приволокли...

— Ты, сынок, на меня, старого, не серчай,— промолвил горестно дед и, как всякий раз бывало у него в минуту волнения, отер набежавшую слезу.— От великого горя не разглядел я сразу, что вы за люди, хлопцы...

12

— Ну, Гриша, не миновать нам с тобой принимать бой, — сказал Ларион Петрович, когда вышли они с Яковенко проверить на ночь заставы.— Пока не прикончим мы эту банду, не будет советской власти в Подборовичах.

Яковенко и сам понимал, что дело получалось куда серьезней, чем мог он думать поначалу, и, сказать по правде, радовался, что случился с ним на этот раз Плахотнюк. Умел Ларион Петрович в нужную минуту подать отеческий совет, не ущемляя командирского достоинства своих молодых товарищей, и Яковенко уже успел оценить это.

— Никак не идет у меня из головы Терехов,— признался он.

— Степан еще свой голос подаст, — ответил Ларион Петрович. — За Степана будь спокоен, Гриша.

Они подошли к краю площади, откуда начиналась длинная прямая улица, переходившая в лесную дорогу на Крыжово займище. Здесь с полчаса назад заступил на дежурство Мишка Кононенко с двумя бойцами.

— А ну, товарищ комвзвода, присмотрись-ка! — сказал Кононенко. — Не то мерещится мне?

Хотя и виднелась в небе молодая луна, острым серпом повисшая над колокольней, однако свет ее был неярок и рассеян. Оттого даль тонула в мглистой дымке, и, глядя вдоль улицы, трудно было разобрать, где кончаются последние хаты и где начинается лес.

— Ничего не вижу,— признался Яковенко.

— Вот что значит, Гриша, — не в Полесье ты родился, — промолвил Ларион Петрович. — Правильно говорит хлопец, — жалуют к нам гости.

С минуту они вглядывались в серебристый сумрак ночи. Теперь уже и Яковенко казалось, что видит он какое-то темное пятно, продвигавшееся по лесной дороге.

— С десяток верховых и подвода,— определил Ларион Петрович.— Ну, товарищ комвзвода, какую встречу готовить будем?

— Когда не сдадутся, положим всех,— сказал Яковенко, чувствуя, как охватывает его боевой азарт.

— То хорошее слово сказано, — согласился Ларион Петрович.

Они решили без выстрела пропустить конных на площадь и, заперев выход им, захватить в ловушку. Плахотнюк вместе с Мишкой Кононенко и двумя другими хлопцами укрылся за плетнем ближайшей хаты, а Яковенко во

весь дух побежал к росправе — подготовить к предстоящему бою взвод.

Не прошло и десяти минут, как на площадь легкой рысью въехало четверо всадников, за ними еще двое, затем показались пароконные санки, за которыми следовало еще человек шесть верховых.

Обогнув церковь, отряд приблизился к росправе.

Яковенко распахнул дверь и, держа руку на расстегнутой кобуре, вышел на крыльцо.

— Именем революции приказываю сдаться! — крикнул он.

Среди всадников произошло замешательство. Они сбились в кучу, о чем-то совещаясь. Потом один из них, отделясь от остальных, вплотную подскакал к крыльцу и, обдав Яковенко запахом конского пота и самогона, спросил:

— А ты кто будешь?

— Командир Красной Армии, — ответил Яковенко, зорко следя за его движениями.

— А за какой надобностью нам сдаваться?

— Клади оружие, тогда будем разговаривать.

Всадник рванул из ножен шашку. Яковенко выстрелил и отскочил в сени. Клинок со свистом рассек воздух. Вонзаясь концом в дверь, он застрял в ней, а всадник стал клониться с седла, словно собирался захватить горсть снега поникшей рукой.

— Огонь! — крикнул Яковенко.

Бойцы, скрытые за хатами и плетнями, ударили залпом. Рухнула лошадь вместе со всадником. Другая, сбросив седока, с протяжным ржанием заметалась по площади.

Кто-то стонал, кто-то ругался. Раздалось несколько разрозненных выстрелов. Трое повернули лошадей и поскакали обратно, но были встречены огнем заставы.

Бой закончился, не успев разгореться. Было взято семеро пленных, среди которых оказался и малорослый человек в черной шляпе.

Насупясь, как сыч, сидел он в санях, и, зло поблескивая глазами, никак не хотел вылезать оттуда.

— Протестую! — закричал он, когда Яковенко приказал ему следовать за собой. — Не признаю вашего права ограничивать мою личную свободу!..

— Ишь ты какой! — посмеивались, глядя на него, бойцы, — шутник...

— А мы тебя, Антон Рыбак, о том и не спрашиваем,— сказал, присмотревшись к нему, Ларион Петрович. — Вылазь, когда говорят!..

— Знакомая, Гриша, личность, — пояснил он. — Довелось уже разок повстречаться, когда мы весною со Щорсом разоружали анархистов из ремневского отряда на станции Злынке. Языкатый, дьявол. Я его по голосу сразу признал...

Допрошенный Ларионом Петровичем Антон Рыбак не стал упорствовать. Он рассказал, что приехал ночью с отрядом в село, чтобы взыскать чрезвычайную контрибуцию с непокорных подборовичан. Сам же Иван Богун находится в Крыжовом займище, где уже третий день справляет свадьбу с дочкою Поддубянского.

— А еще скажи нам, Антон Рыбак: Богуна этого ты сам выдумал, либо где уже готовое нашел? — спросил напоследок Ларион Петрович.

— Иван Богун — это его славное боевое прозвище! — крикливо ответил тот, все еще по привычке сбиваясь на митинговый лад. — А зовут его Валерианом Зацепой, под каковым именем он в течение многих лет выступал на цирковой арене в качестве никем не победимого борца...

13

Поручив Павлу Добье и Мишке Кононенко караулить пленных, двинулся Яковенко со своим отрядом к Крыжову займищу, надеясь захватить врасплох самозванного Ивана Богуна и остальную банду. Вел их Иван Грак прямой лесной тропкой, которая должна была выйти к самой плотине.

— Смотри, Гриша, хлопец-то будто бы ничего, подходящий боец будет, — сказал Плахотнюк, кивнув на Грака, который без опаски шагал впереди, довольный выпавшей на его долю обязанностью.

И выглядел теперь Иван Грак по-иному, чем раньше, подтянув пояс и надев шапку, которую принесла ему мать.

— Вот до того дубка дойдем, а там и версты до займища не будет, — сказал он, подождав Яковенко и Плахотнюка.

Яковенко приказал бойцам быть наготове. Шли молча, стараясь, чтобы поменьше было скрипу под ногами и не звякало бы оружие.

Нежданно глухой гул пошел по лесу, треснули впереди разрывы гранат и часто застучали выстрелы.

— Бегом! — крикнул Яковенко.

Но пока добежали они туда, где так внезапно разгорелся ночной бой, все уже стихло. Лишь лаял, заходясь от

злобы, цепной кобель, да все жарче разгорался большой деревянный дом Поддубянского, крытый гонтой. При свете пожара разглядели они на плотине не то пять, но то шесть вооруженных людей.

— Кто такие? — крикнул Яковенко, выходя на опушку.

— То вы, товарищ комвзвода? — услышал он знакомый голос Степана Терехова. — Идите без опаски. Тут свои...

Яковенко приблизился к ним. Кроме Терехова увидел он еще четырех мужчин и женщину, в которой по черным, сходившимся на переносье бровям признал Степанову Мотрю. Люди стояли, опершись на винтовки, и, как зачарованные, смотрели на широкое лесное озеро, которое раскинулось по другую сторону плотины.

Лед посредине был взломан. Черная вода еще плескалась в полынье, крутя льдины, живым серебром блестевшие при лунном свете. Яковенко показалось, будто что-то мелькнуло в водовороте, как бы на мгновение всплыла и опять ушла в омут голова человека... Но сколько он ни всматривался, больше не увидел ничего.

— Утоп!.. — сказал стоявший рядом с Тереховым средних лет человек в старой, видавшей виды солдатской шинели.

— Твоя правда, Кондрат, — отозвался Терехов. — Кончился, чертов бандюга. На обед ракам пошел...

Обо всем, что было здесь, Степан рассказал на обратном пути.

...Все-таки поверила Мотря мужу, что не виновен он в смерти Кости-цыгана.

А поверив, рассказала, что творилось в эти дни в селе. И о том рассказала, как старый Степанов друг и однополчанин Кондрат Коваленко тоже чуть не нашел смерти от руки самозваного Ивана Богуна, но ушел из-под пуль и скрывается на лесном кордоне...

Потом уже с Кондратом и еще тремя подборовичанами-фронтовиками, которые вместе с ним укрывались на кордоне, подошел Степан Терехов к займищу. Известно было им, что отбыла большая часть отряда на село. Гранатами запалили хутор Поддубянского, перебив пятерых пьяных бандитов, которые пытались отстреливаться. Думали, живьем удастся взять того обманщика и грабителя, что позорил славное имя Ивана Богуна. Но он, словно взбесившись, ринулся на коне с плотины через озеро, да и угодил прямо черту в зубы. Не было еще сильных моро-

зов, и не окреп лед настолько, чтобы выдержать тяжелого всадника с лошадью.

— Хорошо, что так обошлось, товарищ Терехов, — сказал Яковенко, чувствуя, что должен дать бойцу нагоняй за самовольство, но не находя в себе для этого решимости.

— Нельзя было мне иначе, товарищ комвзвода, — ответил Степан.

И, приглядевшись к его лицу, Яковенко не стал продолжать разговора.

14

Уже под утро вернулся отряд в Подборовичи. Нестройным хором в разных концах села перекликались третьи петухи. Пожелтело на востоке небо, предвещая крепкий морозный рассвет. На короткий отдых расположились Яковенковы хлопцы по хатам, гостеприимно распахнувшим для них двери.

Только Степан Терехов стоял у ворот собственного подворья вместе со своей неверной женой Мотрей. Долго молчали оба, хотя об одном и том же были их беспокойные мысли.

— Зайдешь, Степан, в хату? — спросила Мотря, зябко передернув плечами.

— Нет, Мотря, не зайду, — сказал Терехов.

— Смотри, тебе виднее...

Помолчала и еще спросила:

— В селе долго пробудете?

— Сход проведем — и в дорогу. Время военное, не ждет...

И снова молчали оба.

— Степа... — вдруг чуть слышно, одними губами, сказала Мотря и почти вплотную придвинулась к нему.

Он, невольно наклонившись, заглянул в ее полные тревожного ночного мрака глаза и ощутил у себя на лице ее частое дыхание. Гулко забилось сердце, и горячие волны пошли по телу.

— Степа... Зачем ты тогда ушел с полдороги?..

До хруста сжал кулаки в карманах шинели и только зубами скрипнул в ответ.

И так же тихо, как раньше, почти беззвучно, проговорила Мотря:

— Степа... Чужие мы были с Костей тогда...

Не помня себя, схватил ее Степан за плечи, не то чтобы обнять, не то чтобы оттолкнуть от себя.

— То правда, Мотря?

— Пускай меня бог накажет, Степа. Тебя одного ждала...

— А потом?

Ответила не сразу, словно оторвала что-то от себя:

— Две ночи проплакала... А на третью сама на Костину половину пришла...

— Так... — выдохнул Степан и, отпустив ее, рванул ворот гимнастерки.

Стоял, как пьяный, пошатываясь, ртом хватая морозный воздух. И будто откуда-то издалека доносился до него прерывистый, душевной болью перехваченный голос Мотри:

— Степа... Невмочь мне стало одной, когда узнала, что отвернулся ты от меня... Не моя в том вина... Степа...

Бессильно поник головою. Не сказал, а прохрипел с глухим коротким стоном:

— Ступай до хаты, Мотря... Не в себе я зараз!..

И, рывком повернувшись, пошел прочь...

15

В Круговец на соединение с Богунским полком ехали на санях. По окончании схода снарядил Кондрат Иванович Коваленко, избранный председателем Подборовичанского сельревкома, десять подвод, на которых и разместился выросший почти вдвое за этот день отряд Яковенко. Человек двадцать пять местных хлопцев добровольно записалось в Красную Армию. Был среди них и Иван Грак, которого, исходя слезами, собрала в дорогу его родительница, положив в сани с полмешка пирогов и ватрушек.

Когда остались далеко позади Подборовичи и выехали подводы на шоссе, спросил Яковенко сидевшего рядом с ним Степана Терехова:

— Ну, как у тебя с жинкой?

— Моя, видно, вина, товарищ комвзвода, — сказал задумчиво Терехов. — Ошибся я, послушав чужих наговоров. Сердцем чую, по-прежнему любит меня Мотря...

Яковенко обрадовался.

— Приедем в полк, товарищ Терехов, немедля иди к самому Щорсу и просись в отпуск на целую неделю. Будь спокоен, я за тебя словечко замолвлю.

Терехов ответил не сразу. Пожевал ус, оглянулся через плечо на лесок, за которым скрылись родные Под-

боровичи, и лишь тогда проговорил вполголоса с невеселой усмешкой:

— Нет, товарищ комвзвода. Иначе порешил я. Если поранят люди один другому душу, ни за день, ни за неделю не зарастет та рана. Так и у меня с Мотрей вышло. Пускай теперь само время нас рассудит. Если вернусь я живой из похода и встретит меня Мотря с открытым сердцем, тогда поклонюсь я ей до земли и скажу: «Спасибо тебе, моя люба жинка!.. Принимай насовсем своего Степана»... А коли нет, оставлю ей хату и все хозяйство и пойду искать по свету свою долю...

— Эх, Степа! — сказал Яковенко и обнял его. — Строго ты себя судишь...

ФЕДЬКА У ТАРАЩАНЦЕВ

1

В Богунский полк Федька Дынин попал не сразу. Сперва пристал к таращанцам, за три дня всю стратегию превзошел, в телячьей закуте злого неприятеля уничтожил, и только когда прогремела Федькина слава на весь Таращанский полк, уступил его батько Боженко Щорсу, горестно сказав:

— Хитер ты, Николай, — ох и хитер... Великодушно извиняюсь, — обдурил ты меня, старого. Выманил у меня лучшего бойца от всей Тараща...

И сколько было народу в прокуренном помещении штаба, все как один расхохотались от доброй шутки лукавого батька.

2

А было дело с Федькой так.

После того как перебил Ларион со своими хлопцами вражеский гарнизон в Карпекинской усадьбе, целый день в Малых Щербиничах шел праздник: кто же из познавших горе и нужду людей не был рад от щедрого сердца приютить и угостить, пусть даже из последнего достатка, своих избавителей. А к вечеру стали собираться партизаны в поход. Прибежал и запыхавшийся Федька, таща на плече тяжелую немецкую винтовку, из которой он, отоспавшись до обеда на сеновале, вел вплоть до самых сумерек беспо-

щадную стрельбу по окрестным галкам, вызывая зависть у своих одногодков.

— А ну-ка, поди сюда, Федько, — позвал Ларион Петрович, завидя его. — Не осталось ли у тебя, часом, патронов?

— Ни единого, дядько Ларион. Все сасходовал, — чистосердечно признался Федька.

— Жаль, жаль. А я, брат, на тебя понадеялся. Думаю, у кого бы патронов раздобыть, не иначе, как у Федьки.

— Маловато их было, дядько Ларион. Должно быть, десятка три, не больше. Туда-сюда, вот и разошлись все. Да вы не печальтесь, я, может, для вас у кого из хлопцев достану...

— Ладно уж. Не хлопочи. Как-нибудь обойдусь.

И оттого, что промолвил эти слова Ларион Петрович не всерьез, а посмеиваясь, вдруг встревожился Федька. И не напрасно.

— А что же ты теперь со своей винтовкой будешь делать, хлопче? — спросил Плахотнюк, словно сочувствуя ему.

— Да стрелять...

— Чем же стрелять, когда патронов нет?

— Так еще будут.

— На груше, брат, патроны не растут, — строго промолвил Ларион Петрович и, не давая Федьке сказать что-либо в ответ, приказал:

— Сдай винтовку плотнику Лукьянову. Может, еще для дела сгодится.

— Дядько Ларион! А как же я? — взмолился Федька.

— А что — ты?

— Да без винтовки?..

— Тебе она зачем? Не всех еще галок распугал?

— Я не про то... Я же с вами пойду. Как же мне без винтовки?

— Вот ты про что!.. А мне и невдомек. Нет, брат, подрасти немного.

— Дядько Ларион... — начал было снова Федька.

— И не проси, не возьму, — твердо сказал Ларион Петрович. — Дорога нам дальняя, и все у оккупанта под носом. Сквозь все вентеря надо пройти. Знаю, хороший ты хлопец, Федько, но, прямо скажу, в нашем деле сейчас лишний. Только зря загинуть можешь... Ступай-ка, брат, отдай винтовку Лукьяну Григорьевичу. А то как бы тебя за эту игрушку герман к стенке не приставил...

Понурясь, стоял Федька уже с пустыми руками. Будто не было и в помине его недавней славы.

И сказал тогда Ларион Петрович, сжалясь над хлопцем:

— Ладно, не печалься, Федько. И тебе дело найдется. Останешься ты в Щербиничах вроде как за связного. Чуть какие новости, — оккупанты заявятся, либо гайдамаки, — немедля ноги на плечи, во весь аллюр на кордон к Родиону Степановичу Кононенко. Понятно? А пока прощай. Бог даст, увидимся мы еще с тобой, — тогда, может, иной разговор у нас будет.

В ночь ушел Ларионов отряд, как говорится, в неизвестном направлении, а Федька остался в Малых Щербиничах дожидаться своего часа.

3

Не до Щербиничей было оккупантам. По всей округе полыхали панские экономии. Бесследно исчезали не только отдельные, отбившиеся от своих, солдаты оккупационных войск, но и мелкие отряды, посланные в села для реквизиции. Дошла очередь и до куркулей и полупанков из ненавистного бедноте гетманского «Союза хлеборобов».

До смерти перепуганный губернский староста Высоцкий слал в Киев пану военному министру отчаянные телеграммы. Сообщал, что по уездам Черниговщины идет массовая резня «хлеборобов», варта слабосильна и ненадежна, «а неоднократные обращения к местным немецким войскам не дают результатов за их малочисленностью и несвоевременным оказанием помощи». Просил пан Высоцкий оружия, патронов и новых карательных отрядов. Только, видно, негде было взять всего этого. В праведном гневе всколыхнулся народ, и залить железным дождем повсеместный пожар восстания нечего было и думать германскому командованию.

Лишь однажды с дальней дистанции, с городнянского шоссе, обстреляла Щербиничи немецкая батарея. Запалила зажигательными снарядами без разбору несколько хат посредине села да шальным осколком убила дивчину, набиравшую у колодца воду.

Все же в беспрестанной тревоге жили люди до того самого дня, как пришла весть о революции в Германии и о выступлении на помощь восставшим рабочим и крестьянам Украины доблестных полков Первой украинской советской дивизии.

Когда прослышал Федька, что в селе Жабчичем расположился штаб знаменитого Таращанского полка, не смог он ждать больше ни минуты. Подпоясал кожушок солдатским ремнем, привесил сбоку плоский немецкий штык, добытый в памятном ночном сражении, и, простясь с батьком, двинулся в путь.

До Жабчичего дошел без помех и, кое-как дождавшись утра, заявился на подворье, где квартировал батько Боженко.

— Прибыл до вас на службу, — доложил Федька, когда Василий Назарович вышел на крыльцо выкурить после сна первую, самую сладкую, прочищающую голову самокрутку.

— Звать как? Откуда? — спросил Боженко, прикуривая у комбата Кабулы, вышедшего вместе с ним на чистый воздух из жарко натопленной хаты.

— Федор Никитович Дынин. Из села Малые Щербиничи. Может, слышали, где Карпекину усадьбу весной спалили, — бойко отрапортовал хлопец, во все глаза снизу вверх глядя на командира полка.

Вроде бы не было ничего грозного в наружности батька Боженка. Среднего роста, грузен, седоват. Одет совсем не по-военному: зимний пиджак на вате, на ногах валенки и глубокие калоши, — донимал Василия Назаровича в сырую погоду застарелый ревматизм, подхваченный в годы работы столяром в Киевском арсенале.

— Ишь ты! Видать, лихой вояка, — промолвил батько Боженко, в свою очередь как следует рассмотрев Федьку. — Много гайдамаков загубил? — спросил он и моргнул Кабуле, приходя в веселое настроение от вида хлопца: ростом чуть побольше горобца, а, смотри-ка, нос кверху, за словом в карман не лезет.

— Да не то я их считал! — с достоинством сказал Федька, и не думая опровергать такое лестное предположение. — Душ двенадцать... А может, и все пятнадцать будет.

— Герой!.. Куда же мне определить тебя такого? — как бы в раздумье почесал потылицу батько Боженко. — А, Кабула? Как думаешь?

— В артиллерию к Хомиченко... Командиром батареи, не иначе, — в тон Василию Назаровичу ответил комбат.

— Маловата должность для такого орла, — с сомнением в голосе сказал Боженко, сохраняя на лице полную серьезность, лишь хитровато прищуренные глаза его усмешливо лучились, и тревожа Федьку, и вселяя в его серд-

це несбыточные надежды. — А что, Кабула, ежели пошлем мы этого хлопца самым наистаршим помощником младшего подручного нашего кашевара. Сдается мне, что орудовать ложкой он не меньший мастер, чем похваляться чужими подвигами?

Даже язык отнялся у Федьки при таком повороте дела. Еще минута, и не выдержал бы он и вконец осрамил бы себя непрошенными слезами, что сами собой предательски навернулись на глаза от обиды и огорчения.

Но тут заговорил комбат Кабула, поняв, как видно, что творится на сердце у хлопца.

— Василий Назарович, — сказал он. — Кроме шуток. Возьму я его к себе в батальон. Что-то пришелся он мне по душе. Да и дело подходящее для него у меня найдется.

— Что ж, бери, коли охота, — согласился батько Боженко.

Так решилась на первый раз судьба Федьки.

— Слушай теперь меня, Дынин, — сказал комбат Кабула, после того как Федька начистоту выложил ему свою историю. — Вижу я тебя насквозь, а потому не вздумай мне перечить. Хлопец ты толковый и шустрый, но дай тебе волю — на шею сядешь. Спишь и видишь как бы геройство свое показать. Так вот: всему свое время. Пока что определяю тебя по канцелярской части. Будешь состоять при нашем батальонном писаре. Понятно?

— Понятно, — сказал Федька, уныло переступив с ноги на ногу.

Но Кабула нахмурил густые черные брови, и хлопец сразу заторопился разыскивать батальонную канцелярию, справедливо опасаясь, как бы его совсем не отчислили в домашний резерв.

Долго искать не пришлось. Первый же повстречавшийся боец указал на хату под железной крышей при въезде в село.

— Мабудь, это я до вас, — сказал Федька, тихонько притворив за собой дверь и выжидательно глядя на сутулую спину долговязого человека, возившегося у лавки над развязанным вещевым мешком.

Человек вздрогнул, звякнул какой-то посудиной, торопливо спрятал что-то в мешок и лишь тогда обернулся к Федьке. Хлопец даже рот раскрыл от удивления. Стоял перед ним не кто иной как Гришка Холодковский, псаломщиков паныч из Малых Щербиничей, которого Федька не видел с тех пор как выпустили того Ларионовы хлопцы из-под замка после отсидки в Карпекинском погребе.

— То вы, Григорий Анисимович? — сказал растерянно Федька, не зная, радоваться ему или горевать от такой встречи.

Лицо Холодковского выразило сперва недоумение и досаду, потом левое веко его привычно моргнуло, и он произнес бесцветным, скучным голосом — так, будто расстался с Федькой всего какой-нибудь час назад:

— А-а, Дынин... Сын Никиты Куприяновича...

— А то ж! — сказал Федька. — Причислен до вас по писарской части... Как здоровьечко ваше, Григорий Анисимович?

Но Холодковский считал излишним вести с Федькой подобные обходительные разговоры. Не таясь хлопца, он вытащил из вещевого мешка бутылку, раза два со смаком отхлебнул из нее и, пряча обратно, сказал многозначительно:

— Слово — серебро, а молчание — золото. Разумеешь?

На что Федька, не задумываясь, ответил:

— Известно: кто молчит, тот двоих навчит.

В простоте душевной полагал Дынин, что не следует для первой встречи перечить начальству, хотя оно и с изъянцем. Сперва оглядеться надо, а там кто знает, как дело повернется. Ради чистой и светлой мечты своей пришел хлопец под знамя Таращанского полка и готов был стерпеть даже причуды бывшего семинариста, лишь бы усердием своим заслужить право наравне с другими бойцами держать в руках винтовку.

Только нелегкая задача выпала ему. Вредный характер был у Гришки Холодковского. Да к тому же, видно, не забыл писарь и встречу в панском подворье в Щербиничах, когда на глазах у хлопца каялся в своей благонадежности гетманским властям и молил немецкого унтера представить себя пред светлые очи пана Карпеко для удостоверения личности...

Поплескав в заспанные глаза холодной водой и одолев миску квашеной капусты, принесенную хозяйкой хаты, Холодковский разложил на столе бумаги и приступил к делам.

— Итак, сын Никиты Куприяновича, — начал он, — значит, говоришь, приставлен ты ко мне по письменной части?

— Ну да, — сказал Федька.

— Полагаю, что грамоте ты хорошо обучен?

— А как же... — без лишней скромности ответил Федька. — Учителька вроде не обижалась.

— Садись тогда — перебели эту бумажку. — Хотя бумажка была пустяковая — о списании в расход какой-то пары сапог, — но потрудился над ней Федька на совесть. Не только пальцы — даже нос измазал в чернилах. Зато ни одной буквы не пропустил, а кляксу, что ненароком села в правом углу, начисто слизал языком. Однако угодить Холодковскому было не так просто.

— То ты сам, сын Никиты Куприяновича, нашкарябал? — спросил он, разглядывая Федькину писанину.

— А кто ж еще? — удивился хлопец. — Да вы меня, Григорий Анисимович, попросту зовите — Федькой. А то по-батькови у вас как-то длинно получается.

— Как мне тебя звать, то я лучше знаю, — сказал Холодковский и бросил на стол бумажку. — А писал это не ты, сын Никиты Куприяновича, а курица лапой. Смотреть гадко.

Федька еще раз оглядел свою работу, но ничего плохого в ней, кроме бледного пятна от кляксы, не обнаружил.

— То, видно, как кому... — вздохнув, промолвил он.

— Как я говорю, так оно и есть, — строго перебил его Холодковский. — Не подходишь ты для канцелярской работы. Разве что только в курьеры сгодишься...

— Куда? — не понял Федька.

— В курьеры. На доступном твоему разумению языке означает это — «куда пошлют»...

Весь день гонял Гришка Холодковский Дынина в хвост и в гриву — и по делу и от безделья. Сперва хлопец был доволен каждым поручением и пулей летел из одного конца села в другой — в каптерку, в околоток, в первую, вторую и третью роты. Его вскоре повсюду признали за своего, а пулеметчики даже накормили кашей, что, надо сказать, пришлось кстати, так как со вчерашнего дня у Федьки и маковой росинки не было во рту.

Везде только и разговора было, что о предстоящем наступлении на Городню.

До сих пор продвижение таращанцев происходило без особо серьезных столкновений с противником. Случались, конечно, и перестрелки, и кавалерийские стычки. Порой вступала в действие батарея Хомиченко, состоявшая из трех трофейных орудий: вылетит галопом на открытую позицию, лихо развернется под носом у неприятеля и выпустит для острастки с десяток снарядов. Но дело кончалось пустяками. Разрозненные гайдамацкие отряды, потеряв

опору немецких штыков, беспорядочно отходили, даже не пытаясь где-либо закрепиться надолго.

Рушился гнилой гетманский режим, на скорую руку, для маскировки грабежа Украины, сколоченный оккупантами. Варта разбегалась. Спешили унести ноги уездные старосты и прочие запроданцы, но их перехватывали партизаны и вершили над ними свой справедливый народный суд.

Уже было известно всем, что безмозглая немецкая кукла — гетман Скоропадский отрекся от своей беспокойной должности и дал стрекача в Германию. Но в Киеве обманом захватил власть лютый ворог народа Петлюра. Разоружив с помощью галицийского осадного корпуса восставших рабочих и наведя ночными убийствами и расстрелами страх на непокорившееся население города, он торопился снова по дешевке продать Украину — на этот раз империалистам Антанты, чьи войска в спешном порядке высаживались в Одессе. Новые хозяева не хотели бросать денег на ветер и требовали от петлюровской директории, чтобы она показала свою силу, остановив победоносное наступление революционных советских полков.

Из-под Киева в Городню был переброшен курень[1] сечевых стрельцов. Сюда же для переформирования стягивались и потрепанные гайдамацкие отряды. Всего, как говорили в Городне, собралось до двух тысяч войска. По всему было видно, что петлюрня готовится дать сражение.

Хотя таращанцев было вдвое меньше, никто из красных бойцов не сомневался в победе. Разве была на свете такая сила, которая могла бы сдержать революционный порыв их сердец, священной ненавистью горевших к предателям трудового народа?

Должно быть, изрядно-таки икалось батькопродавцу Петлюре, потому что то и дело поминали хлопцы крепким словом его мерзостное имя.

А в третьей роте даже песню сложили про новоявленного гетмана:

Хай Петлюра френчик носит,
У Антанты денег просит,—
Все равно он битый будет,
Себе славы не добудет.
Чтоб на погань не дывыться,
Долго с гадом не возиться,

[1] Курень — полк.

Закладем его в гармату [1]
И шпурнем до черта в хату.
Сгинь, собака, пропади,
До нас больше не ходи...

Песня Федьке понравилась и запомнилась. Только обидно стало, что сам-то он как бы в стороне от настоящего дела: у псаломщикова паныча на побегушках. Лучшего занятия не нашлось...

Под вечер Дынин совсем запарился, — живот подвело, и ноги гудели. А на душе и того было хуже.

У Холодковского же осоловели глаза, а за три шага от него разило сивухой.

— Ну-ка, сбегай к фельдшеру в околоток,— сказал он, доставая опустевшую бутылку.— Передай срочный секретный пакет и назад без лекарства не возвращайся. Да поворачивайся побыстрей, достойный сын Никиты Куприяновича, а то тебя только за смертью посылать.

— Да я ж, Григорий Анисимович, и так для вас стараюсь,— с обидой отозвался Федька.— Хотя бы поесть дали... А вы заместо того все батька моего поминаете. Мешает он вам, что ли?..

— А того поминаю,— сказал псаломщиков паныч, — что по всем данным ты, Дынин, ненадежный элемент.

— Кто я — элемент? — не поверил своим ушам Федька. — Да я, когда хотите знать...

— Все знаю,— скучным голосом сказал Холодковский, пощупав свой длинный прозрачный нос, словно проверяя, не стал ли он еще длиннее.— И то знаю, что как ты врагу трудового народа пану Карпеко землянику носил, и как батько твой, достоуважаемый Никита Куприянович, панскими милостями пробавляется... Не место тебе, Дынин, в наших революционных рядах.

Все терпел Федька, но такой наглой брехни снести не мог. Вскочил с лавки, упер руки в бока, глядя на своего обидчика круглыми и злыми, как у ястребенка, глазами.

— Чи вам сказать, Григорий Анисимович, чи так поймете?.. Чи вас послать, чи так пойдете? — сказал он негромко, но внятно и для большей ясности добавил: — Куда подальше...

Пораженный отпором, Холодковский часто заморгал левым глазом, и трудно сказать, чем бы кончился у них такой душевный разговор, если бы в это время не открылась дверь и ординарец не кликнул Федьку к комбату.

---

[1] Гармата — пушка.

4

Эх, и красив был комбат Кабула! Высокий, статный, чернобровый, с небольшими усиками и орлиным взглядом чуть прищуренных глаз. Ладная бекеша туго перетянута ремнями, у пояса чеканенная серебром шашка, а на груди трофейный бинокль, снятый в бою с немецкого полковника.

Таким и рисовал в своих мечтах Федька настоящего боевого командира. В огонь за ним пойти можно, лишь бы позвал, ободрил ласковым словом. И где только родятся такие герои? Краем уха слышал Федька в пулеметной команде, как рассказывал кто-то из бойцов, что не так давно занимался Кабула совсем мирным делом, служил агрономом в Таращанском земстве. Только Федька не поверил этому. Мало что люди наговорят... Немыслимым казалось ему представить себе комбата в ином облике, чем сейчас.

— Садись, хлопец, — промолвил Кабула, прихлебывая из жестяной кружки красноватый чай, заваренный на бруснике.— В ногах правды нет.

Федька присел на краешек табурета, не сводя восхищенных глаз со своего комбата.

Кабула нацедил из медного чайника еще кружечку кипятку, придвинул к Федьке блюдце с мелко наколотым желтоватым сахаром и спросил:

— Ну, как служба?

— Не то это служба? — солидно ответил Федька, дуя на кипяток. — Баловство одно, а не служба.

— Это почему же так?

— Только и делов, что бумажки носить да за горилкой для Григория Анисимовича бегать. Вы, дядько Кабула, должно быть, думаете, что я из винтовки сроду не стрелял? Да я ту винтовку как свои пять пальцев знаю...

— Погоди, не тарахти,— перебил его Кабула.— По порядку рассказывай. Опять напился Холодковский?

— А чего же ему не пить? Он к этому делу всегда был привержен. За то и из семинарии его прогнали...

— Ты откуда знаешь?

— Он же наш, щербиничевский. Псаломщиков паныч...

— Может, обознался ты? Он нам тут по-иному про себя рассказывал.

— Да брехать он был первый мастер на все Щербиничи. Так люди и говорили: брешет, как Холодковский.

— Выходит, вы старые приятели, — усмехаясь, сказал Кабула.

— То пускай ему Серко приятелем будет, — буркнул Федька и хотел было обидеться, но подумал, что вряд ли представится еще случай так запросто беседовать с комбатом, а потому поспешил снова завести разговор о своем:

— Дядько Кабула! Послушайте, что я вам скажу! Определите меня либо в третью роту, либо к пулеметчикам. Ей-богу, не пожалеете...

— Ты что? Забыл наш уговор, хлопец? — нахмурился Кабула.

У Федьки ёкнуло сердце.

— Да я ничего...

— То-то.

Кабула прошелся по хате. Красивое лицо его стало суровым, возле губ легла жесткая складка.

— Вот что, Дынин, — сказал он,— ты в Городне бывал когда-либо?..

— С батьком на ярмарок ездил...

— Не заблудишься, когда послать тебя туда?

— А зачем? — с загоревшимися глазами спросил Федька.

— Гусям ярмо купить...

— Нет, вправду?

— Разведать кое-что требуется, хлопец. Не сегодня — завтра брать Городню будем... Соображаешь теперь?..

— Ага,— сказал Федька.

— Коли с заданием справишься...

Кабула помедлил, испытующе посмотрел на хлопца. В глазах промелькнули усмешливые искорки.

— Дадите винтовку? — просиял, догадываясь, Федька.

— Скорый ты какой! Там видно будет... Пока ступай. Холодковскому, смотри, ни слова.

— Что я, дурной?..

— Ночевать будешь с ним в одной хате. Ежели что заметишь, сразу ко мне. Завтра я во всем разберусь...

5

— Зачем звал комбат? — подозрительно спросил Холодковский, когда Федька возвратился от Кабулы.

— Да кто его знает... Спервоначалу велел сапоги почистить. А потом — о том, о сем... Чайком с сахаром напоил,— не сморгнув, ответил Федька и стал мостить себе в углу хаты постель из соломы.

...К утру Гришка Холодковский исчез. Кажись, только

сейчас лежал на койке, с присвистом всхрапывая, и что-то по-пьяному бормотал спросонья под нос. Федька готов был побожиться, что, когда запели первые петухи, семинарист был еще на месте. И уже нет его — вот беда какая.

Выбежал хлопец из хаты. Зари еще не было, но месяц, хотя и на ущербе, светил на совесть. Ночью выпал легкий снежок, притрусил все вокруг. Свежие следы вели через огород к поросшему лозняком яру.

Было видно, что тайком уходил Холодковский из села, избегая встреч с заставами...

Кабула во главе конного разъезда сам выскочил на городнянскую дорогу. Верст десять прошел на рысях, но Холодковского не догнал. Вернулся в Жабчиче злой как черт. Спрыгнул с запаленного коня, крикнул, взбежав на крыльцо:

— Дынина сюда!

Федька стоял ни живой, ни мертвый: пропало все, сейчас под арест, а уж о винтовке и не думай...

— Проспал? — грозно спросил комбат.

Федька молчал.

— Эх ты, чертова тетеря...

Кабула в ярости хватил плетью о стол, будто из нагана выстрелил. Звякнули кружки, заплясал чайник, расплескивая по скатерти красноватую брусничную жидкость.

Он крупным шагом заходил по хате. Наступило молчание, не предвещавшее ничего доброго.

И тут, набравшись нежданной смелости, словно с крутого берега бросаясь в воду, сказал Федька:

— Так коли вы, дядько Кабула, знали что плохое про Григория Анисимовича, было б сразу его и заарестовать. За что же вы на меня серчаете? Не то он у меня под замком был?

Кабула в изумлении уставился на Федьку. Брови гневно дрогнули, на переносье легли грозовые тени.

Федька ждал, затаив дыхание. Но морщины на лбу комбата начали медленно расходиться. Он сел на лавку, покусывая губы...

— Однако ты не теряешься, хлопец... — промолвил он, разглядывая Федьку так, словно видел впервые.— Люблю таких...

Вот так они и помирились.

— Значит, пойдешь сегодня, Дынин, в Городню, — говорил Кабула.— До поворота тебя подвезут, а дальше — пешим порядком. Городок невелик, — весь обойди и все высмотри. Запоминай, где немцы, где петлюрня. Много ли?

Если окопы нарыты, на заметку возьми. Тоже и проволочные заграждения. Артиллерии вроде не должно быть. Однако людей порасспроси,— только с умом, чтобы не влипнуть. Может, и про Холодковского что услышишь. Больше, как в Городню, податься ему некуда. Узнай, где прячется гад, с кем якшается. Завтра к вечеру чтоб был обратно. Ну как, не сробеешь?

— А чего мне робеть? — храбрясь, сказал Федька, но сердце его вдруг трепыхнулось и заныло.

Кабула заглянул хлопцу в глаза, ободряюще подмигнул, легонько подтолкнул в спину.

— К кашевару зайди, подзаправься как следует да и на дорогу харчей возьми.

6

Что правда, то правда — невелик городок Городня. С одного края войдешь — другой край виден. Однако обойти всю Городню и, что надо, высмотреть не так-то просто. Улицы кривые, бывает, кончаются и тупиком. Дома за высокими дощатыми заборами. Людей почти не видать. Иной раз дорогу не у кого спросить. Напуган народ...

Часовой, что стоял у старой кузни на въезде в город, искоса поглядел на Федьку и отвернулся. Даже откуда идет не спросил. Не внушал ему сиротский вид хлопца никаких подозрений: штык свой Дынин в Жабчичем оставил, кожушок вместо ремня подпоясал обрывком веревки, старенькая шапка с оторванным ухом и отцовские трижды латанные валенки. Мало ли таких бездомных хлопят в ту зиму на дорогах попадалось...

Шел Федька, не сворачивая ни вправо, ни влево, и вскоре оказался на широкой базарной площади со старым приземистым собором посредине, на паперти которого уныло сутулились от морозного ветерка две нищие старухи.

Перво-наперво сунулся на постоялый двор, где позапрошлый год останавливался с батьком. Тут сразу чуть было по шее не схватил. Заставлен весь двор военным обозом. Солдат в серых чимерках полным-полно.

— Чего надо? — крикнул один из них — низкорослый, рябой, с черным кучерявым чубом, спадавшим пониже левого уха.

— Дядька Игната ищу,— сказал Федька, зыркая по сторонам глазами.

— Какого еще к черту дядька! Тебе не Игната, а что

плохо лежит — надо. Знаю вашего брата. Проваливай отсюда! Ну!..

Федька турманом вылетел за ворота и попрямовал к другому заезжему двору. Там было почти то же самое. Только погнали Федьку не сразу, а тогда, когда он, добравшись до навеса, остановился послушать разговоры казаков, чистивших лошадей...

И не раз еще в тот день гоняли Федьку, принимая его за побирушку. А ему хоть бы что,— слушает, смотрит и на ус мотает.

Солдат в городе было много — и в синих и в серых чимерках и просто в шинелях. Иные шатались по улицам без толку, стояли в воротах, лузгая семечки. Другие проходили в строю, но без особого порядка. Укреплений Федька не увидел нигде. Должно быть, петлюровцы, надеясь на свою численность, не очень беспокоились о завтрашнем дне.

Возле городского училища улица была перегорожена колючей проволокой. По ту сторону прохаживался часовой в каске, а из окна второго этажа торчал шест с большим белым полотнищем, трепыхавшимся по ветру. Ожидавшие отправки домой немецкие солдаты собирались держать нейтралитет...

Стало смеркаться. Пора было подумать и о ночевке.

«Дойду до землемера Рака,— решил Федька.— Василь Захарович не прогонит».

Хотя всего только один раз и довелось ему встречаться со стариком землемером на волчьей облаве, однако всегда благодарно вспоминал о нем. К тому же знал Федька, что жила у Рака в кухарках старшая дочка безвременно погибшего от рук оккупантов Фомы Клюя — Парася. Уж та и подавно будет рада приютить земляка и узнать все сельские новости.

Землемер был в городе человеком известным. Федька уже подходил к добротному деревянному дому с резными петушками по карнизу, что стоял на углу Нежинской улицы, когда там открылась калитка и из нее вышел рослый, широкий в плечах человек при шашке и револьвере.

«Бульбачев Дмитро...» — сразу признал его Федька и, не на шутку струхнув, поспешно посторонился, отворачивая в сторону лицо.

Но Бульбачев прошел мимо, не взглянув на хлопца, красномордый, разъевшийся, позванивая шпорами и поскрипывая новыми сапогами.

«Ах ты, проклятый! — подумал Федька, с ненавистью

глядя на багровый затылок своего недруга. — И как же он ушел тогда от Ларионовых хлопцев?»

Бульбачев свернул за угол, а Федька остался стоять в нерешительности перед домом землемера, не зная, заходить теперь или не заходить.

Тут и застала его Клюева Парася, возвращавшаяся с речки с полными ведрами на коромысле.

За год, что не видел ее Федька, почти не изменилась дивчина. Такая же тонюсенькая да гибкая, как тростиночка. В больших темных глазах навсегда затаились боль и тревога.

При виде Федьки обрадовалась.

— Откуда ты, Федька, взялся? Ох, мамочка, замерз, мабуть? Да что же тут стоишь? Идем до хаты...

Через кухню провела в свою каморку и побежала посмотреть в печи, что там осталось от обеда. Ох, и поел Федька доброго борща с салом и перцем — за все три дня сразу.

— У нас тут все вверх дном, — рассказывала между тем Парася. — Три дня назад прибыл вместе с сечевиками Дмитро Бульбачев, половину дома под постой забрал. Пьют, гуляют, только успевай стряпать. Василий Захарович от беспокойства захворали, затворились в кабинете и никуда не выходят. Велели и обед себе туда носить. Говорят: не хочу глядеть на этих бандитов... А сегодня утром заявился псаломщиков паныч...

Федька чуть не поперхнулся борщом.

— Холодковский?

— Ну да, Григорий Анисимович. Прямо до Бульбачева. Сейчас на диване отсыпается. Да ты что перепугался? Не то съест он тебя?

Тут уж Федька не стал таиться от Параси, зачем он в Городне.

7

Ходуном ходил пол в просторном зальце — четыре окна на улицу — дома землемера. Фикусы, что стояли в больших кадках у простенков, так трясли листьями, словно их вот-вот подхватит бураном и унесет за тридевять земель.

— Ух ты! Ух ты! Гоп! Гоп! Гоп! — ухал рябой сечевик и, взмахивая курчавым чубом, шел вприсядку от дверей до старого зеркала — трюмо, тускло блестевшего в ореховой раме напротив у стенки.

Кабы да мне тот жупан,
Шаровары синие,
То б до меня девки липли,
Как до браги свиньи,—

сам себе вместо музыки хриповатым голосом подпевал он.

А Маруська Добежиха павою плыла перед ним, часто— нога за ногу — выбивая дробь высокими каблуками желтых чоботков.

Как была я молода,
Да была я резва,
Через хату по канату
Сама к хлопцам лезла,—

скороговоркой выговаривала она, скаля ровные белые зубы и бесстыдно поводя насурмленной бровью.

С обеда шла веселая гулянка на парадной половине дома, которую занимал сотник Дмитро Бульбачев. Пили не самогон, а спирт, реквизированный «для нужд лазарета» в городнянской аптеке.

Кто-то уже перехватил лишнего и храпел на диване, прикрытый шинелью.

Но Бульбачев держался крепко и, сидя за столом с Гришкой Холодковским, время от времени пропускал чарку-другую, вовсе не хмелея. Лишь толстая, как у бугая, шея все больше наливалась кровью.

— Смотри, чтобы не промахнуться нам, Гришка! — говорил он.

— Что вы, Дмитро Григорьевич! В самую точку попадем, — отвечал, лебезя, Холодковский. — Я ж об этом с того дня думаю, как дошла до меня весть, что приняли доблестные союзники пана головного атамана под свое крыло. И будет принадлежать слава этого великого подвига нам с вами, Дмитро Григорьевич. В большие люди выйти можем...

Его уже разбирало. Ревнивым оком поглядывал он на Добежиху и все норовил тоже пуститься в пляс.

— Сиди, сопля, — лениво говорил Бульбачев и клал ему на плечо тяжелую руку, отчего семинарист как бы присыхал к месту.

Но все же Григорий Анисимович нет-нет да и подавал голос, затягивая старую семинарскую:

Отец Маврикий —
Чудодей великий,
Была бы чарка
Да кума Одарка,
Паки и паки
Ще трубка табаки...

Хотя тенорок был у него жидковат, но забирал он фистулой так высоко, что в ушах звенело.

Парася неслышно ходила между пьяными — худенькая неприметная дивчина с большими черными пугливыми, как у молодой козочки, глазами. То поставит на стол сковородку жареной картошки, то принесет из погреба моченых яблок и маринованных грибочков. Вытрет, где пролито, приберет черепки разбитой тарелки. А сама станет к сторонке, словно ее и нет. Золото, а не дивчина...

Хотел Холодковский поднести ей стаканчик. Куда там! Ни в какую.

— Сроду, панычику, в рот не брала. Она же горька, погана... Как вы только можете?..

— Пей, тебе говорят.

Холодковский потянулся, чтобы ухватить Парасю за руку, но она ускользнула от него и отбежала к двери.

— Не трожь, Гришка, дивчину, — сказала Маруська Добежиха, становясь между ними. — А то ты меня знаешь...

Властно взяла из рук семинариста стаканчик и одним духом выпила, не скривилась.

Холодковский уныло поморгал левым глазом и хотел налить снова. Но Бульбачев отставил в сторону бутыль, сказал:

— Успеешь. Давай поперед о деле.

— Да я же все в подробности доложил.

— План требуется.

Холодковский чертил пальцем по клеенке стола мокрые разводы.

— Вот тут, запоминайте, будет ярок, — толковал он.— Неприметно выйдете к огородам у старой криницы. Четвертая хата от края — комбат Кабула. А еще через две хаты — сам Василий Назарович... Луна всходит под утро... Выедете после полуночи. Кони добрые, в аккурат успеете обернуться. А народу чем меньше будет, тем чище дело сделается...

Парася торопливо собрала грязную посуду, понесла на кухню.

Маруська Добежиха сидела в обнимку с кучерявым казачиной и, положив ему голову на плечо, пела глубоким грудным голосом грустные слова стародавней песни:

В чистом поле
Гнется тополь
Тай на казацкой могиле...

8

— Федько. Проснись, Федько... Ох, лихо мне... Да проснись же, горечко ты мое... — приговаривала отчаянным шепотом Парася, тряся за плечо Федьку.

Хлопец открыл глаза, сел на койке, но в темноте не сразу разобрался, где он и что с ним.

— Беда, Федько. Ой, что они, злочинцы, только задумали. Сегодня в ночь всех ваших командиров хотят порешить... А все Григорий Анисимович, чтоб ему, окаянному, сходиться... Через ярок, — говорит, — к самым огородам выйдете, никто не приметит... И еще про голову что-то говорил. Постой, как же это он?.. Голову, — говорит, — начисто срубить, а остальное, — говорит, — быдло не страшно...

— Ах ты проклятый!

Федька поспешно нащупал на полу валенки. Натянул кожушок.

— После полуночи выезжают, верхами, — рассказывала Парася. — А сейчас уже скоро десять...

У Федьки опустились руки.

— Не поспею, — выдохнул он. — Хотя бы всю дорогу бегом бег, все одно не поспею...

Было слышно, как на той половине снова гремел пляс и нестройный хор пьяных рвал гопака:

Гоп, кума, не журись,
Туда-сюда повернись...
Оттакечки скоком-боком...
Перед моим карим оком!
Гоп, кума...

— Парася! — горячо зашептал Федька. — Украдь у Бульбачева наган. Я их всех постреляю.

— Да ты что, в уме? Они тебя, как щеня, задавят. Идем.

Крадучись, они вышли во двор. Все небо затянуло тучами, ни одной звездочки не видно. Мороз помягчел. Должно быть, скоро опять снег посыпет. В повлажневшем воздухе остро пахло конским навозом. Где-то в глубине двора — не то в сарае, не то под навесом — хрустели сеном лошади, глухо переступали копытами.

Что-то затопало совсем рядом. Федька вздрогнул, прижался плечом к Парасе.

— Лыска, — тихо проговорила дивчина. — Вот вредная какая, опять отвязалась... То подхорунжего, что с Бульбачевым квартирует, кобыла. Позавчера ночью вот

так сама отвязалась, помандрувала в сад, оттуда к речке. Насилу наутро поймали...

Парася подошла к лошади, погладила ее по шее, взяла за уздечку. Лыска стояла смирно.

— Ну, давай быстренько, Федько.

Дынин не понимал.

— Вот бестолковый, — сказала с сердцем Парася. — Ступай за мной...

Она открыла калитку в сад, осторожно вывела лошадь со двора.

Федька, затаив дыхание, шел следом и дивовался: смотри-ка, тихоня, покорная с виду, воды не замутит, а такая отчаянная.

«За батька мстит, за Фому Петровича», — подумал он, с уважением глядя на Парасю.

Когда спустились к речке, дивчина остановилась, передала повод Федьке.

— Держись левого берега, под самой кручей, — сказала она. — С версту пройдешь, садись верхом, выезжай на шлях. А там гони что есть духу... Раньше чем через час они, видать, не хватятся...

Заботливо, будто старшая сестра, поправила на хлопце шапку, пригорнула к себе, холодными губами поцеловала в щеку. Повернулась и быстренько побежала по стежке обратно.

А у Федьки вдруг стало мокро глазам. Но он упрямо мотнул головой и, уже не робея, зашагал в ночную тьму, ведя за собой прядавшую ушами и тихонько всхрапывавшую Лыску.

9

Федька успел вовремя. Сразу же поднял на ноги комбата Кабулу. Незваных гостей перехватили в яру у криницы и всех начисто порубали шашками.

Утром Дынин ходил смотреть. Особенно страшен был Бульбачев — огромный, почугуневший, с ощеренными, как у волка, зубами. Но Холодковского среди убитых не было...

Ночью 29 декабря конная сотня таращанцев во главе с самим батьком Боженко без боя заняла железнодорожную станцию Городню. Не желая лишнего пролития крови, Василий Назарович затребовал представителей петлюровских и немецких частей для переговоров о мирной сдаче города. Немцы еще раз заявили о своем полном нейтралитете. Петлюровцы держались нахально, оттягивая время.

Видя это, Боженко на рассвете отдал приказ взять Городню с бою.

Федька шел в цепи третьей роты. В руках легкий кавалерийский карабин. Комбат Кабула сдержал свое слово...

Когда перевалили через железнодорожную насыпь, с городской окраины ударили петлюровские пулеметы. Бойцы залегли.

Впереди замелькали серые чимерки сечевиков. Обученные немецкими инструкторами, сечевики шли в контратаку тремя волнами. Перебегали, ложились и снова перебегали. Федька не успевал даже прицелиться как надо...

Из-за насыпи по сечевикам ударила батарея Хомиченко. Но снаряды ложились то впереди, то сзади широко растянувшихся по полю цепей.

Строчивший неподалеку от Федьки пулемет вдруг замолчал — должно быть, заело патрон.

Сечевики воспользовались этим и сделали большой бросок вперед...

Мимо Федьки, ругаясь, тяжело пробежал Василий Назарович. Оттолкнул пулеметчика, возившегося с замком, сам повалился на снег. Через минуту пулемет заговорил.

— Беги к Хомиченко, — крикнул яростным голосом Боженко ординарцу, неотлучно находившемуся рядом с ним. — Скажи сукину сыну, что ежели со второго раза не накроет цель, шкуру спущу.

Но уже со следующего залпа снаряды кучно легки среди наступавших. Выпустив еще несколько гранат, Хомиченко ударил шрапнелью. Таращанцы дружно поднялись в атаку. Сечевики дрогнули, подались назад, побежали... А Хомиченко уже бил по окраине Городни, нащупывая вражеские пулеметы.

— От-то молодец, — кричал, вскочив на ноги, Василий Назарович, словно командир батареи мог его слышать.— Я ж казал, что ты, Хомиченко, профессор своего дела...

С другого края на город повели наступление городнянские партизаны. Сопротивление врага вскоре было сломлено. Но отдельные стычки при очистке от петлюровцев обывательских домов продолжались до самого вечера...

Кабула разыскал Федьку.

— Идем за Холодковским.

Они подошли к дому землемера. Навстречу, радуясь, выбежала Парася.

— Успел, Федько, успел, — кричала она, и смеясь, и плача.

— Спасибо тебе, дивчина, — проговорил растроганный

Кабула, которому уже все известно было от Федьки.— Как бы ты была хлопцем, взял бы я тебя к себе в ординарцы.

Парася застеснялась.

— Однако ступай пока в хату, — помрачнел Кабула, вспомнив, зачем пришел сюда. — Не для твоих очей тут будет дело.

Холодковский прятался на чердаке в конюшне. Двое бойцов скинули его оттуда. Он упал на четвереньки, поднялся и попятился, увидев перед собой комбата.

— Здравствуйте, Григорий Анисимович, — сказал негромко Кабула, играя бровями. — Где изволили гостевать?

Холодковский трясущимися пальцами обирал с себя налипшую солому. На длинном носу его светилась и дрожала прозрачная капля.

— За бумагой ходил... В канцелярии вся бумага кончилась, хотел в Городне по знакомству достать... — заикаясь, говорил он, сам не веря, что кто-нибудь примет за правду его собачью брехню. — А тут к сечевикам в плен попал... Спасибо, вы выручили...

— Понятно. Ну, что ж, тогда идем, — сказал Кабула и кивнул на калитку в сад.

Холодковский сгорбился и пошел первым, пряча от людей взгляд. Кабула держался на шаг позади.

Они дошли по стежке до самого перелаза.

— Смотри на меня, — сказал Кабула. — Будь хоть напоследок человеком.

И выстрелил...

10

Чего греха таить, закружилась голова у хлопца. Да оно и понятно. Сам Василий Назарович перед строем пожал руку и сказал:

— Вижу, хоть мал сокол, а высоко летает.

И велел выдать Дынину новое обмундирование.

Без счета рассказывал Федька в тот день всем, кому была охота слушать, о своих ночных приключениях. И каждый раз прибавлялись в его истории новые подробности. Была тут уже и перестрелка, и погоня, и жаркая кавалерийская схватка. Иначе же и нельзя было. Ну, кого удивишь тем, что благополучно, без всяких встреч, доскакал он до Жабчичего и слово в слово передал комбату Кабуле все, что рассказала Парася?.. Никакого тебе, можно сказать, геройства...

Бойцы располагались по домам на отдых и ночевку.

По всем ротам зачитывали приказ командира полка, строго запрещавший всякие самовольные действия. Особо предупреждал Боженко, чтобы имуществу трудящегося населения не было причинено никакого ущерба. Виновные в этом подлежали ответственности по всей строгости революционных законов военного времени.

К вечеру в Городню прибыл Щорс и комиссар Барабань. В городском театре собрался митинг. Было торжественно объявлено о восстановлении советской власти и единодушно утвержден уездный ревком.

С митинга Боженко заехал к землемеру.

— Ну, ну, покажись, дочка, — говорил Василий Назарович Парасе. — Вот ты какая...

Парася молчала, стыдливо потупив глаза. Только раз испуганно и радостно метнула взгляд на стоявшего рядом с Боженко статного комбата, и на матово-бледных щеках ее пробился румянец.

— Красавица. Только чего смутная такая?..

— Батька у нее оккупанты убили, — сказал землемер Рак.

— Вот проклятые души,— выругался Боженко.— Народу сколько обездолили... Будешь, дочка, замуж выходить, весточку мне подай. Посаженым отцом буду. А сейчас прими благодарность от всего революционного Таращанского полка.

Он трижды поцеловал Парасю в обе щеки и губы, вручил ей подарок — шелку на платье, кашемировую шаль и опойковые вытяжки на новые чóботки.

А Кабула отстегнул от пояса красивый, как игрушка, стальной ножик с оленьим копытцем вместо ручки и протянул дивчине:

— Прими и от меня на память, Парася.

11

Утром вышел Дынин на улицу во всем новом, с карабином за плечами. Правда, была шинель великовата и заметно топорщилась, пузырем вздуваясь на спине над туго затянутым желтым поясом. Но то не велика беда.

Сразу из ближних дворов сбежалась ребятежь.

— Смотри-ка, солдатик...

— И шинель честь по чести.

— Да не то ружье настоящее?

— А как же,— сказал Федька.— В бою с гайдамаками снятое.

— Ишь ты... А ну, стрельни...

— Нельзя,— важничая, ответил хлопец.— Беспричинная стрельба строго запрещена приказом.

— А ты потихоньку.

— Потихоньку не выйдет.

— Брешет он все,— сказала, подходя, веснушчатая дивчина с рыжими косицами, выбивавшимися из-под съехавшего набок платочка.— Он и стрелять не умеет.

— Кто — я? — вскипел Федька, стаскивая с плеча карабин.— Да хочешь, на лету в горобца попаду?..

Он вспомнил о приказе командира полка и Ларионовой науке и со вздохом добавил:

— Только нельзя мне зараз этого...

— А ежели пойти в сарай? — сообразил кто-то из хлопцев.

— Все одно слышно.

— Да чего вы к нему привязались? — презрительно скривила губы рыжая дивчина.— Он со страху на месте помрет.

Этого Федька снести не мог.

— Идем,— решительно сказал он, готовый на все. В старом пустом каретнике, что стоял на задворках, намалевали на стене мелом сердце величиной с воронье гнездо, и Федька, отойдя к противоположной стене, стал на одно колено.

Ребят со всей улицы набилось десятка два. Жались по сторонам, толкая локтями друг друга, с уважением и страхом глядели на Федьку. А он целился долго, чтобы продлить торжество незабываемой минуты.

Грохнул выстрел. Со старых досок посыпалась труха. Поднялась пыль.

Снаружи что-то замычало, забилось и захрипело. Выбежали из каретника. За стеной, в телячьем закуте, лежал, вытянув ноги и закинув голову, полугодовалый бычок с белыми подпалинами, невзначай застреленный Федькой...

12

У Боженка в штабе как раз сидел командир Богунского полка, когда дежурный доложил, что пришла какая-то женщина заявить жалобу на бесчинство, совершенное в ее подворье.

— Впустить,— распорядился Василий Назарович.

Женщина остановилась у порога и сразу запричитала:

— Да я же его, как сыночка, с пальца молочком выпаивала. Да какой же он у меня ласковый да смирный был. А он его, изверг, наповал уложил...

Боженко хмурился, слушая ее бестолковый рассказ, старался не смотреть на Щорса. Находившиеся в штабе командиры молчали. Им было стыдно и досадно за свой славный Таращанский полк.

— Василий Назарович,— сказал вполголоса Щорс.— Придется взыскать строго. Без поблажек... Чтобы никому не было повадно.

— Немедля привести виновного,— крикнул дежурному Боженко и встал из-за стола, гневный, широко расставив ноги и уперев кулаки в бока.

Федька вошел бочком и стал в сторонке, красный как печеный рак, опасливо поглядывая на плачущую женщину.

Боженко, недоумевая, посмотрел на дверь, ожидая, не появится ли еще кто-либо.

— Так это ты — герой? — спросил он наконец.

— Я... — сказал Федька.

— Ну, вот видишь, Кабула,— с искренним огорчением произнес Василий Назарович,— все ты виноват. Не хотел я брать этого орла к себе... Что мне теперь с ним делать?

Кабула, которому было от души жаль Федьку, наклонился, что-то сказал на ухо командиру полка.

— Знаю,— досадливо дернул плечами тот.— Сам благодарность перед строем объявлял... Только опозорил же он теперь всю Таращу. Хотя бы путное что, а то теля застрелил... Да за это пятьдесят плетей мало...

— Я бы того бычка — Мишку — на целого бугая не променяла,— поспешила подать голос женщина.

Федька шмыгнул носом.

— Вы, мабуть, думаете, мне вашего бычка совсем не жалко? — с чувством сказал он.— Да пускай у меня руки поотсыхают, чтоб я стал стрелять, кабы знал, что оно, дурное, само под пулю полезет...

Кое-кто из командиров засмеялся. Улыбнулся и Щорс.

— Вот напасть на мою голову...— махнул рукой Василий Назарович.— Ну, скажи хоть ты, Николай, что мне с ним делать?..

Федька почувствовал на себе потеплевший взгляд командира Богунского полка.

— Убыток за бычка надо полностью возместить из полковой казны,— сказал Щорс.— А хлопца этого, Василий Назарович, отдай мне. Дисциплинка ему нужна, а толк из него, честное слово, будет...

ВО ВЗВОДЕ ЯКОВЕНКО

1

Видно, недаром люди поговорку сложили: «Не быть бы казаку женату, кабы оглобля возле Феськиных ворот не сломалась». Так и с Федькой Дыниным. Кто знает, как бы дальше судьба у него повернулась, если бы не тот рыжий бычок Мишка, что за здорово живешь угодил под Федькину пулю. Быть может, избаловался бы хлопец да пошел бы колобродить по молодости лет, не видя над собой твердой руки. Ведь, по правде сказать, жили таращанцы не столько по воинским уставам, сколько по неписаным партизанским законам. А тут, хотя и вдосталь принял Федька стыда за свою оплошность, зато попал в славный Богунский полк под начало самого Николая Александровича Щорса. С первых же дней пришлось ему задуматься над многим таким, что раньше и в голову не приходило.

Однако, прежде чем пойдет об этом речь, не лишним будет рассказать, как снова повстречался Федька с Ларионом Петровичем Плахотнюком, кому был обязан своим первым огневым крещением.

— Эй, Гриша! Принимай боевое пополнение! — весело крикнул Клименко — командир четвертой роты, прибывшей вместе со Щорсом в Городню, и легонько подтолкнул Федьку в спину.

Командир взвода Яковенко обернулся без особой охоты. Управясь со всеми делами по взводу и по-хозяйски проверив, как разместились на ночевку хлопцы на отведенном под постой заезжем дворе, он спешил в городской театр, где в тот вечер местные любители драматического искусства ставили для красных бойцов веселую комедию «Шельменко-денщик».

Однако, разглядев Федьку, сразу позабыл Яковенко, куда шел.

— Должно быть, шутите вы, товарищ комроты! — с обидой вырвалось у него. — На что мне такая комаха сдалась? Перед всем полком осрамить наш взвод хотите?

— Бери, бери, пока дают! Станешь потом просить, да поздно будет, — потешался над его растерянностью Клименко, дружелюбно похлопывая Федьку по плечу увесистой ладонью. — Это, брат, знаешь какой стрелок? С двух шагов наповал телка кладет, будто того телка и вовсе на свете не было... Правду я говорю, хлопец?

Федька только носом горестно пошмыгал: кругом ви-

новат, ничего не скажешь. Но на молодого безусого командира взвода поглядел с упреком, точно промолвить хотел: да ты-то сам давно такой комахой был?

— Ладно! — проговорил Яковенко. — Ступай до повара, подзаправься малость, у него от обеда кое-что осталось... А завтра подам я рапорт комбату Зубову, чтобы откомандировал тебя в хозроту. Так и нам и тебе спокойней будет.

— Это кого в хозроту? Федьку? — услышал вдруг Дынин позади себя знакомый и, как ему показалось в эту минуту, родной голос. — Не годится хлопца обижать, товарищ комвзвода! Это же чистое золото, а не хлопец...

— Дядько Ларион! — не помня себя, крикнул Федька, со всех ног бросаясь к Плахотнюку, и даже сомлел от радости, припав щекой к жесткому, пропахшему крепким самосадом рукаву его шинели.

— Ну, ну!.. Выше голову, Федько! — сказал Ларион Петрович, ласково встряхивая его за плечи.

И уже всерьез обратился к Яковенко:

— В моем отряде был хлопец. Вместе оккупантов громили.

— Вот видишь, я же тебе говорю, а ты не веришь, — заметил Клименко, посмеиваясь. — Глаз у тебя, Гриша, еще не наметан. Ведь сказано было тебе, что хлопец геройский. Требуется только дурь из него выбить да к дисциплинке приучить. Об этом наказывал сам Щорс.

— Да разве я против? — смущенно оправдывался Яковенко. — Я лишь про то, что по ранжиру он до нас не подходит. Знаешь, какие рослые хлопцы у меня во взводе...

— Ничего! Подрастет. Глянь-ка, шинель на него с запасом шита.

— Ну смотри не подведи, Федько, — сказал Ларион Петрович, когда остались они с глазу на глаз.

— Про то будьте спокойны, дядько Ларион, — от всей души ответил Федька, радостно сияя желтоватыми, как у ястребенка, глазами. — Не то уж я совсем без понятия. Может, доведется, и вас когда-нибудь выручу...

Ларион Петрович задумчиво посмотрел на Федьку, покусывая коротко подстриженный рыжеватый ус.

— Хороший ты хлопец, Федько. Только поумнеть бы тебе немного, — промолвил он. — А на добром слове все же спасибо...

2

Ничего не скажешь — боевые ребята подобрались во взводе. Сразу видно — народ стреляный, бывалый, компанейский. Да и шутники к тому же.

Завидев в дверях малорослую Федькину фигуру, вскочил на ноги долговязый Павло Добья. Будто принимая хлопца за большое начальство, скомандовал:

— Смирно! Встать человек пять!

И, подмигнув товарищам, пошел навстречу, приложив руку к чубатой голове без фуражки.

— В вверенной мне роте сто человек пехоты, — скороговоркой зачастил он, как бы отдавая рапорт. — Десять на базаре, десять на вокзале, двадцать штаны латают, сорок с молодицами гуляют, остальные вас поджидают. Дозвольте узнать, что это за ягода у вас поспела?

И потянулся двумя пальцами к Федькиному носу, отливавшему малиновым цветом от мороза и горестных переживаний.

Хлопец растерялся от такого приветствия и подался назад в сени, но тут рядом с Добьей нежданно встал Мишка Кононенко.

— Погоди, Павло, не дури! — сказал он, легонько отодвигая товарища плечом и дружески улыбаясь Федьке.— Дай с земляком повидаться. Здорово, Федько! Каким ветром занесло тебя?

— Выходит, свой хлопец? — спросил Добья, меняя тон.

— Свой!

— Чего же он молчит! Давай тогда пять! Знакомы будем...

И дружески тряхнул Федьке руку.

А часом позже сидел Федька в жарко натопленной хате, во все глаза разглядывал своих новых товарищей по взводу да во все уши слушал рассказы бывалых бойцов. Нет-нет и сам вставлял в разговор словечко, чтобы знали люди, что и ему довелось кое-что повидать на белом свете.

Слово за слово, пришлось рассказать, как попал в Богунский полк. Получалось это у Федьки куда как складно. Выходило, что не из озорства затеял он стрельбу в пустом сарае, а будто бы гнался за вывернувшимся из-за угла здоровенным сечевиком. И тут, как назло, случился на дороге тот самый злосчастный бычок... А батько Боженко — про то всем известно — скор на руку.

— Погоди, хлопец! — сказал молчавший до той поры

пулеметчик Терехов. Сидел он в углу, возле самой печки, и нещадно дымил из-под густых пшеничных усов короткой черешневой трубочкой. — Одного я не пойму: куда же твой сечевик девался?

— Какой сечевик? — не сообразил сразу Федька.

— Да по которому ты стрельбу открыл.

— Ах, тот...

— Ну да, тот самый.

— Должно, убежал, — простодушно сказал Федька.

Куда же ему убежать, когда в городе наших бойцов полно. Через заставы не пройдешь.

Но смутить Федьку было не так-то легко.

— А вы что думаете? Может, тот сечевик как раз бычком и обернулся? — сказал он и, не сморгнув, поглядел на Терехова.

— Бреши, друг, да не завирайся, — посоветовал Добья, когда затих смех.

— Кто? Я брешу?.. — обиделся Федька. — Да когда знать хотите, я сам заговорное слово знаю...

Однако никому так и не довелось услышать, какое такое слово знает Федька и что за сила в нем. Дверь распахнулась. В хату вошли два немецких солдата, а следом за ними Ларион Петрович.

«Пленных привел», — подумал Федька.

Но немцы мало походили на пленных, хотя оружия при них и не было. Держались они уверенно, по-свойски, улыбаясь и кивая находившимся в комнате бойцам. Те их тоже признали: хлопали по плечу, здоровались за руку, называя по имени — одного Куртом, а другого Августом.

— Дядько Ларион! — зашептал Федька, тревожась и сгорая от любопытства. — Кто такие? Зачем сюда заявились!

— Тише! — цыкнул на него Ларион Петрович. — Это наши немецкие товарищи... Спартаковцы.

— Как вы сказали? — не понял Федька. — Спартаковцы?

— Ну да! Интернационалисты... Ты помолчи! Потом разъясню.

И отошел, оставив Федьку в полном недоумении.

До сих пор каждый немец был для хлопца оккупантом, врагом, от которого можно было ждать любого злодейства. Такими остались в памяти немецкие солдаты, что принесли столько несчастья и горя в его родные Щербиничи. Из-за них поломалась Федькина жизнь. Затем он и из дому ушел, чтобы с винтовкой в руках рассчитаться за все оби-

ды. Правда, слышал он, что теперь и у немцев случилась революция, не хотят они больше воевать и требуют скорейшей отправки домой. Что ж, скатертью дорога, лучше бы их здесь и вовсе не было... Но чтобы посчитать немца за товарища, об этом Федька и подумать не мог.

Между тем высокий худощавый немец, здороваясь со всеми, дошел до Федьки и остановился перед ним.

— О-о! Какой боевой! — Он медленно, с усилием произносил русские слова. — Настоящи зольдат.

И четко взял под козырек.

«Смотри! И этот потешаться вздумал!» — вскипел Федька.

Даже от своих ребят не очень охотно сносил он шутки. Но чтобы от немцев стерпеть такое!

Весь напружинясь, Федька вскинул голову и уставился на насмешника.

Однако увидел он совсем не то, что ожидал. С еще не старого, но уже помеченного резкими морщинами лица смотрели на него умные, с горячим блеском глаза человека, вдосталь хлебнувшего на своем веку невзгод и горя. Смотрели понимающе, дружелюбно, и Федька своим отзывчивым сердцем сразу почувствовал, что немец этот не только не собирается его обидеть, но и на самом деле хочет показать всем, что ставит его, Федьку, наравне с собою, а может быть, и выше.

— Пельг... — Немец указал пальцем на себя. — Ефрейтор Курт Пельг... Ландвер... Как имя, геноссе?

— Геноссе — по-нашему товарищ, — вполголоса подсказал Мишка Кононенко.

— Это у нас будет геноссе Дынин, — ответил за Федьку Ларион Петрович, пряча под усами улыбку. — А зовут его Федором...

— Геноссе Теодор, — закивал немец.

— Да просто Федька! — вмешался Павло Добья. — Не дорос еще до Федора.

Но Пельг строго посмотрел на него.

— Просто нихт... Просто нельзя... — сказал он, торжественно повышая голос. — Геноссе Теодор — маленький зольдат революций. Это высоки пост. Он сам понимайт это...

И, потрепав Федьку по плечу, присел на лавку возле жарко топившейся печки. Склонил голову к плечу и примолк, задумался о чем-то своем. А может, задремал с открытыми глазами, — видно было, притомился человек и рад теплому углу и приветливости хозяев...

Погревшись немного у огня, немцы ушли вместе с Ларионом Петровичем. Проводив их взглядом, Мишка Кононенко сказал:

— Боевой этот Пельг! На митинге в городском училище будет выступать. Перед немецкими солдатами. Мировую буржуазию и соглашателей громить. Вот говорить умеет! Слушают его — муха не пролетит... Божий дар у человека...

— Не зря ихняя офицерня его не любит, — отозвался Добья. — Еще в Клинцах два раза по нем из-за угла стреляли.

Федьке очень хотелось расспросить их о Пельге, о соглашателях и мировой буржуазии, но тут его позвал пулеметчик Терехов:

— Слышь, хлопец! Поди сюда! Так какое петушиное слово ты знаешь?

— Я? — удивился Федька.

— А то кто же? Забыл, что нам про бычка рассказывал?

Федька почувствовал, как сразу жаром залило лицо.

— Эх, какие вы, право, дядько! — только и сказал с упреком он и, потупясь, отошел в сторонку.

Сам еще толком не разобрался Федька, отчего так взволновала его встреча с высоким худым немцем. Будто знал этот чужой, невесть откуда взявшийся человек о нем такое, что не было еще ведомо ему самому. Казалось, со стороны посмотрел на себя Федька его глазами и совсем по-новому себя увидел. Только рассказать об этом нет слов. Лишь сердцем почуял, как разительна перемена, что произошла за эти дни с ним — простым крестьянским хлопцем из глухого полесского села Малые Щербиничи.

«Геноссе Теодор — маленький солдат революции»...

Не за себя только гордость была, а как бы за всех, с кем шел теперь рядом. Радостно было думать, что породнила его с ними судьба на жизнь и на смерть...

Заснул Федька, прикорнув на лавке у печки, полный нетерпения, чтобы поскорей наступил новый день. Утром обо всем расскажет Ларион Петрович: о Пельге, и кто такие спартаковцы, и почему зовут их интернационалистами. Уже совсем сквозь сон подумалось: «Должно быть, потому, что «Интернационал» поют... Вроде как наши красные бойцы...»

И вот же как в жизни бывает: все узнал на другой день Федька, только не принесло это ему радости. В тот ясный морозный день хоронили на городской площади ефрейто-

ра ландверного полка германских оккупационных войск Курта Пельга. Хоронили с воинскими почестями и красными знаменами, под грозное, к отмщению зовущее рыдание похоронного марша. Стройными шеренгами, с суровыми лицами стояли вокруг свежевырытой могилы богунцы и таращанцы. Немало пришло на похороны немецких солдат— из тех, перед кем выступал вчера на митинге Пельг. На двух языках разносились над притихшей площадью прощальные речи. Чутко ловил каждое их слово Федька.

Так вот он какой был, этот Пельг, рабочий человек родом из немецкого города Гамбурга. Верным сыном пролетариата, стойким солдатом революции назвал его в своей речи полковой комиссар. Оказывается, против войны и самого германского кайзера пошел тот Пельг. Листовки между немецкими солдатами распространял. Был к расстрелу приговорен военным судом. Только тут как раз случилась революция в Германии, и невредимым вышел Пельг опять на свободу. В авангарде богунцев прошел он путь от Клинцов до Городни, разъясняя своим немецким землякам революционную правду, которая едина для всех трудящихся людей на земле, на каком бы наречии они ни говорили. За нее, за ту великую правду, и отдал Пельг свою геройскую жизнь...

Случилось это после митинга в городском училище. На большом подъеме прошел тот митинг. Умел Пельг зажечь огонь в человеческих душах. Приняли немецкие солдаты приветствие вождю российской и мировой революции Владимиру Ильичу Ленину. И резолюцию вынесли: добиваться скорейшей отправки домой, чтобы у себя в Германии навести революционный порядок и повсеместно установить власть Советов рабочих и солдатских депутатов. Соглашатели-шейдемановцы и слова против не посмели сказать. Но когда выходил Пельг с митинга, вдруг началась в темном коридоре сумятица и давка. И тут какая-то проклятая контра, подобравшись вплотную, ударила его ножом в спину. Упал и больше не встал на ноги Пельг — смертельным был тот предательский удар...

— Дядько Ларион! — сказал, воротясь с похорон, Федька. — Да как же это? Такого человека, гады, убили. Да я бы на месте Щорса всех тех немцев до единого из пулеметов пострелял!..

Ларион Петрович хмуро посмотрел на Федьку. Он тяжко переживал случившееся, так как за эти дни крепко сдружились они с Пельгом.

— В том-то и счастье наше, что ты пока на своем ме-

сте сидишь, а Щорс на своем. Судить убийцу будут революционным судом сами немецкие солдаты. От расстрела ему не уйти. И поверь мне, хлопец, встанет после этого на место Пельга не один десяток новых, до гроба преданных революции бойцов. Не пропадает даром кровь таких людей, как Курт Пельг...

Было над чем поразмыслить Федьке. Не раз, пробудясь среди ночи, казалось, снова слышит он негромкий глуховатый голос: «Геноссе Теодор — маленький зольдат революции. Это высокий пост. Он сам понимайт это...»

Будто простые слова сказаны были Пельгом, но чем дольше думал над ними Федька, тем больше хотелось ему узнать и понять...

В ДУБРОВНОМ

1

Славное сражение за Городню было началом полного разгрома отборных петлюровских войск, пытавшихся создать на рубеже Городня — Сновск — Корюковка — Мена передовой заслон против победоносных полков 1-й советской украинской дивизии. Как известно, город был взят таращанцами после ожесточенного боя, длившегося от рассвета почти до самых сумерек. Щорс никогда не оспаривал у батька Боженко славу этой победы. Но если уж держаться истины, то судьбу Городни решила не только воинская доблесть и отвага таращанцев, но и удачный маневр Щорса, который, хорошо зная эти места, вывел своих богунцев в тыл неприятеля в районе озера Хриповки.

Петлюровский фронт был разорван надвое. Отрезанные Щорсом от железной дороги части противника пришли в замешательство и вынуждены были беспорядочно отступить на Седнев и Чернигов по кривым проселочным дорогам.

Коротко посовещавшись с батьком Боженко, Щорс наметил план дальнейших операций. Таращанцы получили распоряжение занять Сосницу и Мену, откуда должно было развернуться их наступление на Нежин. Сам Щорс решил ударить на Седнев, чтобы, пока противник не опомнился, расчистить дорогу к Чернигову.

Посаженный на сани передовой отряд богунцев быстро продвигался вперед по хорошо укатанной дороге.

— От-то задали мы им к празднику перцу,— сказал Терехов, любовно укутывая рядниной ручной пулемет, чтобы на него не ложились комья снега из-под копыт лошадей.

— Почему к празднику? — потягиваясь, спросил Яковенко. Укрытый кожухом, он пригрелся, бездумно глядя на убегавшую из-под полозьев дорогу, чуть курившуюся снежной пылью. Было занятно смотреть, как сердито мотались позади две седые и косматые от изморози морды пегих лошадей, впряженных в шедшие следом сани, словно были недовольны коняги, что не могут обогнать едущих впереди.

— Та сегодня ж рождество,— охотно ответил сидевший рядом Дынин.— Разве забыли?..

Верхом на тонконогом гнедом коне их нагнал Щорс.

— Не померзли, хлопцы? — крикнул он, равняясь с санями.

Лицо его, как всегда, было сурово, но глаза, обведенные глубокими тенями, светились улыбкой.

«Не то от неба это, не то вправду они у него поголубели?» — подумал Яковенко, и ему почему-то стало радостно, что у Щорса сегодня глаза такие же ясные, как этот ослепительный, наполненный солнцем день.

— То пускай Петлюра мерзнет,— отозвался, приподнимаясь на локте, лежавший во всю длину саней Добья.— Вот табачку бы нам, товарищ Щорс... Весь покурили...

— Добудем табаку в Дубровном,— сказал Щорс и, чуть привскакивая на стременах, пустил лошадь рысью...

— Хорошо у нас сейчас в Щербиничах,— говорил грустно Дынин.— Хлопцы уже отколядовались, в обнимку по улицам ходят. Девчата из скрынь [1] новые плахты повынимали, повязали на головы шелковые хустки [2], у ворот стоят, семечки лузгают... А как поют наши девчата...

Он мечтательно улыбнулся и вдруг, смешно сморщив свой конопатый вздернутый нос, сказал с протяжным вздохом:

— Эх, мне бы зараз шматочек колбаски...

Добья привстал и легким ударом ладони нахлобучил ему на самый нос шапку.

— Может, прямо со сковородки, чтобы шкворчала в сале?.. То для тебя подходящий противник...

---

[1] Скрыня — сундук.

[2] Хустка — платок.

2.

Головные сани вдруг остановились. Чуть-чуть не наезжая с разгону лошадьми на передних, останавливались и другие. Бойцы соскакивали в снег, спешили узнать, в чем дело.

Яковенко протиснулся вперед. Поперек дороги лежал порубанный человек. Седая борода его затекла ржавой сукровицей. Он был почти раздет, и клочья вскоробившейся от крови рубахи не скрывали жестоких ран на старческом теле.

Немного в стороне лежала женщина...

Она лежала на снегу с непокрытой головой. Молодая, совсем еще дивчина.

Праздничный наряд ее был изорван. Под сбившейся набок клетчатой плахтой жалости просило худенькое девичье колено. Каплями крови горели на истоптанном снегу попадавшие с разорванной снизки кораллы.

Молча толпились бойцы, глядя на страшную картину. Да и что скажешь, разве слова помогут?..

И от этого сурового молчания сжалось сердце у Яковенко. Глянул на Дынина и, сам не рад, поскорее отвел глаза. Бледнее, чем у мертвой, лицо хлопца и потерянно, как у маленького, шевелятся губы...

Приподнялся на стременах Щорс, и не голубизну неба, а блеск обнаженной стали увидел Яковенко в его глазах.

— Богунцы...— сказал Щорс негромко, но голос его был слышен всем, потому что звенел он, как туго натянутая струна.— Богунцы... Смотрите, что делают ироды с вашими батьками и сестрами... Богунцы! По гроб жизни сберегите в сердце своем память об этом...— Стиснув зубы, он ударил плетью коня, и тот, присев на задние ноги, скачком вынес его вперед на дорогу...

3.

И снова бежали, поскрипывая, полозья, и снова горячил лицо морозный воздух, но уже потускнел для Яковенко сверкающий белизной зимний день, потому что пришла на смену бездумной молодой радости суровая горечь обиды на проклятую жестокость жизни.

Не мог и не хотел прогнать от очей своих навек запечатленный памятью образ поруганной девичьей весны. Снова видел перед собой тонкие, совсем еще детские пальцы, бессильно загребающие снег, и ровный ряд белых

зубов, обнаженных не ожиданием поцелуя, а последней страшной судорогой смерти и отвращения...

И уже не удивился, не взволновался Яковенко, а только глубже ушел в себя, когда, не доезжая верст пяти до села Дубровного, отряд повстречал одинокие сани.

Лошадь забрела по грудь в сугроб и стояла так, тревожно поводя ушами. На санях стонал человек. То был пожилой селянин, одетый поверх кожуха в широкую свитку. У него была прострелена нога.

Щорс шашкой распорол голенище и осмотрел распухшую ступню.

— Э, дядько, дела серьезные,— сказал он хмурясь.— Кто это тебя угостил так?..

Кряхтя и всхлипывая, рассказывал дядько происшедшее с ним, пока Щорс сам перевязывал ему ногу.

— Кто их знает, встретились какие-то двое верхами. Первый говорит: «Ты до большевиков в Городню едешь?» — и хотел меня застрелить. А другой говорит: «Брось, не надо»,— тай цапнул его за руку. Тот все-таки стрельнул и ногу мне поранил... А сами подались до Дубровного...

— Придется тебе, дядько, недели две на печи попановать,— сказал Щорс, закончив перевязку,— только смотри, лежи смирно, а то велю в лазарет положить.

— Они, видно, дохтур, у вас? — спросил дядько пересевшего к нему в сани за кучера Федьку.

— Скажет же человек такое — доктор, — даже обиделся хлопец.— Сам Николай Александрович Щорс, наиглавнейший командир красного полка имени товарища Богуна...

— Да не то правда? — только и вымолвил дядько и, позабыв стонать, с почтением уставился на удалявшегося всадника.

4

В Дубровном противника не оказалось. Отряд остановился на площади у церкви, и по улицам засновали квартирьеры.

Было празднично и людно. Парубки толкались вокруг богунцев, старались вмешаться в разговор, показать, что и они кое-что смыслят в военном деле. Кучами стояли поодаль празднично наряженные девчата. Они перешептывались и пересмеивались между собой, делая вид, что совсем не интересуются прибывшими. Между саней шныря-

ли мальчишки, выпрашивая у бойцов стреляные гильзы от патронов.

Старенькая бабка принесла ведро молока и из жестяной кружки поила богунцев, оделяя их пампушками.

— Кушайте, кушайте, хлопцы,— приговаривала она, вытирая концом головного платка набегавшие слезы.— Микита мой тоже молочко любил...

— А где же твой Микита? — спрашивали бойцы.

— Кто ж его знает,— отвечала бабка..— Как ушел еще с весны германа бить, так с той поры ни слуху ни духу...

И снова вытирала слезы.

— Не плачьте, матуся,— говорили на это бойцы,— теперь уже скоро вернется ваш Микита. Следом за нами ждите...

Меж тем Щорс, соскочив с коня, вел дружескую беседу с обступившими его селянами, едва управляясь выслушивать вопросы, сыпавшиеся со всех сторон.

— Чи панскую землю заново делить будем? Чи, может, запашем по тому планту, как прошлый год земельный комитет размежевал?

— Куда подавать жалобу на Панька Сероштана, что при гетмане в стражниках служил?..

— А скажите, будь ласка, товарищ начальник, насовсем либо только на время советская власть до нас пришла?

— Как здоровьичко товарища Ленина? Давно вы его бачили?

Щорс отвечал, что подробное разъяснение по всем земельным вопросам будет дано завтра на сельском сходе. Что касается советской власти, то не затем Красная Армия вышибла с родной земли чужеземных грабителей, чтобы уступить дорогу какой-либо белогвардейской или петлюровской сволочи. Строить советскую власть будем прочно, для чего завтра из числа бедноты и среднего крестьянства будет избрана сельская рада, которая и займется местными делами.

— О товарище Ленине с радостью могу сообщить, что здоровье его поправилось после злодейского покушения презренных эсеровских убийц и сейчас не внушает опасений. Видеться же с ним довелось с полгода назад и лично от него получить указания, как бороться с врагами трудящегося народа.

Много было и всяких иных вопросов, потому что жили люди при гетмане и оккупантах, как среди темной ночи, и теперь всей душой хотели услышать слово правды.

Отвечая им, Щорс достал из полевой сумки деньги и попросил пожилого селянина, скручивавшего цигарку, принести для бойцов табаку.

Тот помялся, посмотрел на Щорса, потом на зажатые в руке бумажки и ушел, нерешительно сунув их в карман. Через несколько минут он вернулся и положил на сани с десяток красноватых пучков листового табака-самосада.

— Курите на здоровье, хлопцы,— сказал он.— Только кто до панского привычен, особо не налегайте, так как уродился этот городняк злее купороса... А это возьмите обратно,— добавил он, подавая полученные от Щорса деньги,— соромно мне брать с вас гроши...

— Эй, посторонитесь, дядько,— крикнул конный разведчик рябой Савченко.

Сдерживая разгоряченного коня, он гнал перед собой двух пленных петлюровцев. Один рослый, носатый, в серой смушковой шапке, из синего сукна бекеше, на бегу все оглядывался, увертываясь от наезжавшего на него коня, косил по сторонам рыжим глазом, словно все еще надеялся обмануть свою судьбу.

Другой, одетый в теплые стеганные на вате штаны и в такую же куртку, бежал понуро, втянув в плечи голову.

Савченко осадил коня и доложил, что петлюровцы пойманы на краю села в клуне, куда они забрались, думая, что их не видят хозяева.

— Награбувал, гад,— сказал он, мотнув головой в сторону носатого, и бросил на снег две снизки кораллов и кольцо с рубиновым камешком.

— Кто такие? — спросил Щорс.

— Товарищ начальник,— сказал, тяжело переводя дух, носатый.— Добровольно отстали от своего куреня, чтоб перейти до красных... Дозвольте служить под вашим началом...

Щорс бегло оглядел его, чуть задержался взглядом на расходившихся у ворота крючках шитой явно не по его росту бекеши и, не отвечая, повернулся к саням, где лежал раненый дядько.

— Эти? — спросил он.

— Они... Они... — закричал дядько с такой радостью, словно увидел добрых знакомых.— Вон тот, что в бекеше, в меня стрелял, а тот другой поймал его за руку и говорит: брось, не треба...

— Да ты что брешешь, дядько? — закричал петлюровец, подступая к саням.— Я тебя в очи не бачил...

— Паскуда... — кричал дядько, силясь достать его кнутом.— Видно, ты свои поганые очи псу продал...

Но потревожил больную ногу и со стоном повалился в сани.

— Довольно,— сказал Щорс и кивнул Яковенко, который, будто ожидая этого, стоял тут же рядом, застывшим взором глядя на носатого.

Яковенко достал из кобуры наган и подошел к петлюровцу.

— Товарищ начальник, послухайте, — кричал тот отвернувшемуся от него Щорсу.— Тот старый черт обознался...

— Пойдем,— отрывистым шепотом сказал Яковенко и толкнул его дулом нагана.

Носатый дернул плечом и скосил на Яковенко зло сощуренный рыжий глаз.

— Не пхайся, сам пойду,— сквозь зубы огрызнулся он и начал застегивать на груди крючки бекеши.

— Отдай дядьку бекешу,— жестко сказал Яковенко, глядя ему в глаза.— Она тебе теперь без надобности...

Петлюровец сбросил на землю бекешу, сдвинул на затылок шапку и вызывающе оглядел стоявших вокруг богунцев.

— Прощевайте, злыдни,— крикнул он, небрежно мотнув головой.— На том свете угольками сочтемся...

— Вали без пересадки,— в тон ему ответил Добья.

Когда они проходили мимо Дынина, петлюровец вдруг остановился.

— Пацан, достань закурить напоследок. Хустку подарю...

Он выдернул из кармана заискрившийся желтыми переливами шелковый женский платок.

— Иди... иди, бандюга проклятый... — бледнея, со слезами в голосе закричал Дынин и вдруг непослушными руками потянул из саней винтовку,— а то я тебя сам... сам положу...

5

Когда Яковенко вернулся, раненого дядька уже унесли в церковную сторожку, а Щорс сидел на краю саней и, пощелкивая себя по сапогу плетью, разглядывал понуро стоявшего перед ним второго петлюровца.

— Нет, ты мне скажи: кто ты такой? — спрашивал он негромко, будто на досуге беседовал с ним.

Пленный молчал, не смея оторвать глаз от земли.

— Что же ты молчишь? Или от страха память потерял?

— Одного батька скаженные дети, товарищ Щорс,— сказал, косясь на петлюровца, Добья.— Рядом им на кладбище место.

— Ты, приятель, помолчи пока,— оборвал его Щорс.— Как думаешь, ведь неудобно перебивать командира?..

Задержал на мгновение пытливый взор на осунувшемся за сегодняшний день, будто возмужавшем лице Яковенко, ободряюще взглянул на потерявшего мальчишескую беспечность Дынина и снова повернулся к пленному.

— Ну, говори, кто ты? Граф, князь или, может, царский генерал какой?

— Нет, я крестьянин,— сказал тихо пленный.

— Зачем же ты против селян и рабочих воюешь? Или без панов жить скучно? Да отвечай же, тебя спрашивают...

— А я знаю?— сказал тот, и губы его задрожали.

— Так... Не знаешь, значит...— сказал, раздумывая над чем-то, Щорс, и опять искоса, с какой-то сердечной заботой посмотрел на Федьку.— А дивчину почему не оборонил?— вдруг резко спросил он пленного.

— Мы тогда порознь ехали. Поздно было, когда побачил...

— А ну, привести ему коня,— сказал вдруг Щорс.

Кто-то из бойцов подвел еще не расседланного коня, захваченного вместе с пленными.

— Садись, — сказал Щорс, усмехаясь своим мыслям. Пленный стоял неподвижно, не понимая, чего от него хотят.

— Не бойся, садись....

— Да ну же, садись, граф или как тебя там,— сказал Добья, придерживая коня за повод.— Вот какой прошеный...

Петлюровец долго не мог попасть ногой в стремя. Когда же он наконец, опасливо горбясь, уселся в седле, Щорс задорно крикнул:

— Теперь скачи что есть мочи вдогонку за своим вшивым воинством и всем объявляй: идут богунцы и нет на свете такой силы, чтобы их удержать. Ну, марш!

Бойцы рассмеялись, пленный же не двигался с места, хотя по его лицу было видно — повеселел, поняв, что ему дарują жизнь.

— Господ... Товарищ начальник, мабуть, я уже не нагоню их,— сказал нерешительно он.— Нас еще три дня тому назад оповещали, что богунцы наступают.

— А ты птицей лети. И кого повстречаешь, говори,

чтобы бросали оружие да по домам расходились. А то поздно будет,— так Щорс сказал...

И он перетянул коня плетью.

Когда всадник скрылся в голубых зимних сумерках и немного улеглось веселое оживление бойцов, Щорс повернулся к Добье.

— Ну как табачок, приятель?..

— По правде сказать, товарищ Щорс, в горле, как рашпилем, дерет... Сдается мне, это тот самый дюбек, от которого черт убег.

Яковенко с невольной улыбкой посмотрел на товарища.

— Ладно, Павло, в Чернигове панского покурим,— сказал он, радуясь, что уходит куда-то назад, в прошлое, проклятая тяжесть, давившая его душу.

— Добре такой есть,— сказал Степан Терехов, кроша на жесткой загрубелой ладони скрученный в три погибели ржавый табачный лист.— Как кумекаешь, Дынин?

— Нам без надобности,— солидно ответил Федька.— Мы некурящие...

Безотчетное чувство благодарности к командиру полка владело им. Он сознавал, что должен обязательно сказать сейчас что-то очень хорошее и душевное.

— Я вот примечаю, товарищ Щорс,— заговорил Федька, собравшись с духом,— вы, вроде, тоже не потребляете?.. Не обвыкли еще? Либо зарок какой дали?

— Тю, дурной хлопец...— только и мог сказать Терехов, поперхнувшись дымом.

Брови у Щорса дрогнули, глаза стали веселыми и совсем молодыми, но ответил серьезно:

— У нас у всех, товарищ Дынин, зарок один...— Он выжидательно взглянул на Яковенко, как бы приглашая его продолжать.

— Бей врага революции, пока на родной земле не станет чисто,— горячо заключил тот.

— Правильно сказано,— промолвил Щорс и встал с саней, расправляя плечи.— Ступайте на отдых, хлопцы. Завтра — Седнев.

СЕДНЕВ

1

Комвзвода Яковенко уже с полчаса стоял на высоком крыльце дубровинской приходской школы, и беспокойство все больше одолевало его. На рассвете ушел в обход

Седнева взвод конной разведки, имея задание прервать связь противника. Следом выступила и его, Яковенко, четвертая рота вместе с прибывшей вчера поздно вечером пулеметной командой Кащеева. С минуту на минуту там, под Седневом, Щорс начнет бой, а ты торчи со своим взводом здесь при штабе для каких-то особых поручений и жди неизвестно чего.

Была личная обида для Яковенко в том, что никого другого, а его оставили в резерве, как будто не годился он для серьезного дела. Сойдутся когда-нибудь бойцы на досуге, будут рассказывать, как геройски били под Седневом сечевиков, вспоминать товарищей, проливших свою молодую кровь за счастье родного края, а ему нечего будет сказать. Стыдно будет признаться, что не был под пулями в тот знаменитый день, когда богунцы в жестоком бою сбивали последний вражий оплот на пути к Чернигову.

«Молодым тебя, Гришка, считают, недотепой,— сказал себе Яковенко, и горечь обиды усмешкой тронула его губы.— И то сказать, боевой комвзвода — пороха по-настоящему не нюхал... Эх!»

Он сбил на затылке папаху и уныло посмотрел вдоль заснеженной улицы, по которой ушла в наступление рота.

Еще не покидала его тайная мечта, что прилетит от Щорса на взмыленном коне ординарец и объявит ему приказ — немедленно выступить на помощь, так как не сдаются проклятые и теперь вся надежда на тот геройский взвод, которым командует он — Яковенко.

Но ординарца не было...

День выдался какой-то скучный, белесый. Сквозь мутную пелену неба, расплываясь холодным пятном, проступало солнце. Срывался ветер, обжигал щеки, сыпал в глаза ледяную пыль.

От томительного ожидания щемило сердце у Яковенко, и он с раздражением прислушивался к веселым голосам бойцов своего взвода, забавлявшихся за школой игрой в снежки.

Переливчато затрезвонили в церкви рождественские колокола. Тесной гурьбой прошли мимо девчата, задорно поскрипывая по снегу новыми чоботами. Яковенко показалось, что они с насмешкой поглядывают на него, и он, поспешив нахмурить брови, стал с видом суровым и значительным вглядываться туда, где через улицу два телефониста тянули полевой провод, забрасывая его на заиндевелые ветви деревьев.

— Выше, выше подтягивай, — закричал он, приподни-

маясь на носках, и даже покраснел от натуги, так как телефонисты были изрядно-таки далеко.

Девчата прыснули.

— А сердитый какой,— услышал он.

Они заспешили, толкая друг друга и пересмеиваясь...

— Товарищ взводный, что я вам скажу,— таинственно зашептал вывернувшийся откуда-то маленький Дынин.

Видно, здорово досталось ему в снежном бою: на шапке — ворох снега, вздернутый нос отливает жаром, а под носом оттепель.

— Не взводный, а товарищ комвзвода. Пора к дисциплине привыкать, товарищ Дынин,— обрезал его Яковенко.

В другой раз он, может быть, и не сказал бы так, потому что не любил заноситься перед бойцами, но сейчас чувствовал необходимость поддержать свой авторитет.

Дынин промолчал, подергал носом и снова начал разговор, засматривая снизу в лицо Яковенко.

— Видно, великий бой будет, товарищ комвзвода?..

«Вот еще пристал»,— с тоской подумал Яковенко и сказал, чтобы отвязаться. — Нос утри, вояка...

Но Дынин не унимался:

— У Петлюры в Седневе, говорят, орудию бачили...

— Петлюра — дура, ей и орудие без пользы,— сказал, подходя к ним, Добья.— Товарищ Яковенко, какого же черта нас тут держат? — Видя, что Яковенко насупился и молчит, добавил: — Вот оно и вышло по пословице: всем хлопцам по дивчине, а нам старая бабка...

В конце улицы показался всадник. Он гнал коня галопом, низко припадая к луке.

«Верно, Савченко с приказом»,— решил Яковенко, чувствуя, как захватило у него дух от долгожданной радости.

Он подтянулся, поспешно расправил под поясом складки шинели, готовясь по всей форме, как подобает командиру, принять пакет. Но это был не Савченко.

— Товарищ Яковенко,— крикнул Щорс, соскакивая с коня.— Построить взвод! Живо...

Не чуя под собой ног, Яковенко спрыгнул с крыльца.

— Ст-а-а-а-новись,— звонко запел он, подражая комбату Зубову, который был непревзойденным мастером по строевой команде.

Щорс бросил поводья Дынину и проворно вбежал по ступенькам в школу.

Через минуту оттуда посыпались штабные. Первым выскочил молодцеватый писарь, придерживая рукой шашку. Даже сидя за столом, он не расставался с нею, и это,

вместе с длинной полой шинелью, придавало ему вид завзятого кавалериста. Щелкая затворами винтовок, выбежали начальник хозяйственной части и каптер, оба бородатые, в летах. За ними неторопливой походкой вышел комендант штаба Гофман, черный, сухой, с маузером у колена.

Дожевывая на ходу кусок праздничного пирога со свиной печенкой, показался грузный фельдшер Волосевич. Он прилаживал через плечо сумку с медикаментами.

Щорс задержался на крыльце, с сомнением оглядывая Дынина:

— Ездить верхом умеешь?

— А то! — важничая, отозвался Дынин и потрепал по шее возвышавшегося над ним гнедого жеребца.

Щорс усмешливо приподнял крылатые брови, но ничего не сказал и, положив на колено полевую сумку, написал карандашом несколько строк.

— Отвезешь записку Кащееву. Коня подашь мне в Седневе. Понятно? Только, смотри, под пули не угоди...

— Будет исполнено, товарищ Щорс,— просиял Дынин. Он сразу почувствовал себя героем. Шутка сказать — от самого командира полка задание получил...

Таилась в этом стройном, ладно сложенном человеке какая-то неистощимая сила, передававшаяся людям, окружавшим его. Была она и в волевой подобранности его движений, и в обжигающем блеске глаз, и даже в том, как надежно лежал за его плечами, словно утратив свою тяжесть, черный ручной пулемет на широком ремне.

Влюбленными глазами глядел Яковенко на Щорса, и предчувствие чего-то большого и радостного, что должно скоро войти в его жизнь, волновало его.

А Щорс, охватив взглядом выстроенный Яковенко взвод с кучкой штабных на левом фланге, сказал просто, как бы даже пошучивая:

— Немного нас. Однако не беда. Недаром же говорят, что за одного богунца десять необстрелянных бойцов дают. Предстоит нам небольшая операция в тылу противника. Особенного, конечно, ничего нет. Как говорил старик Суворов — глазомер, быстрота и натиск. Ну и, само собой, вера в победу. Впрочем,— он усмехнулся,— об этом вам можно и не напоминать, товарищи.

2

С дороги свернули налево. Обернувшись последний раз, Яковенко видел, как далеко-далеко рассыпанные по

снежному полю цепи богунцев полукругом охватывали окраины Седнева.

Долго шли по колено в снегу, неглубокой, извилистой балкой, минуя Макишин. Щорс хорошо знал местность. Он шагал легко и уверенно, изредка останавливаясь и подтягивая отстающих:

— Кучно держаться. Успеем отдохнуть в Седневе... Овраг круто спустился к реке. Ветер сдул с ее середины снег, и кое-где, отливая мертвенным, стальным блеском, синел лед.

Теперь отряд двигался бегом, прижимаясь почти вплотную к крутому правому берегу.

Яковенко стало жарко. Он расстегнул крючки шинели и с жадностью ловил на бегу губами захваченный в горсть сухой, пушистый снег. Он слышал, как тяжело сопит сзади фельдшер Волосевич, как цокают по льду подковки на каблуках Добьи, но не оглядывался, стараясь держаться вровень с Щорсом...

Они были уже у самого Седнева. Отсюда, снизу, виднелись тонувшие в сугробах плетни, крыши клунь, накрытые тяжелыми снежными шапками, темные ящики скворечен на длинных шестах. Яковенко не в силах был оторвать напряженный взор от этого незнакомого берега, где на каждом шагу их могла подстерегать неизвестность и смерть.

Где-то за горой забил пулемет. В морозном воздухе звук был отчетливый и чистый, будто кто-то торопливо колотил палкой по деревянным доскам забора. На той стороне Седнева закипал бой.

Щорс остановился.

Густые вербы прятали поникшие ветви в высоких сугробах. На утоптанном снегу чернела дыра проруби. Отсюда вверх вилась узкая заледенелая тропинка.

— Передохнуть,— сказал глухим, прерывающимся голосом Щорс и, сняв фуражку, провел рукой по откинутым назад густым, волнистым волосам. Виски его были влажны.

Для Яковенко было непривычно смотреть, как вздрагивают у Щорса от частого дыхания ноздри. Даже обидно стало ему, что может его любимый командир уставать так же, как он, Яковенко.

В Седневе ударило орудие. Снежная пыль посыпалась со вздрогнувших верб.

— Теперь не зевать,— сказал Щорс и, скинув с плеча ручной пулемет, быстрым шагом стал взбираться на гору.

Наверху он остановился и поманил бойцов рукой...

Вряд ли смог бы Яковенко потом восстановить в своей памяти всю последовательность событий. Перелезли через плетень. Проваливаясь в сугробы, бежали через какой-то яблоневый сад, задевая головами ветки. Снежные хлопья, обжигая, сыпались за воротник шинели. Перебегали чей-то двор. Яковенко отчетливо слышал, как хлопнула дверь хаты и стукнул изнутри железный засов.

Несколько секунд отдыхали в кривом переулке, прислушиваясь к недалекой стрельбе.

Снова, теперь уже совсем рядом, ударило орудие.

Щорс обернулся, проверяя, готовы ли бойцы. Глаза его сузились, глядели жестко и пронзительно.

— Не давай опомниться...— хрипло сказал он и, махнув рукой, побежал вдоль плетня.

Они вырвались на открытую улицу, упиравшуюся ближним концом в просторную площадь. Возле трехдюймовки возились артиллеристы в белых папахах. Орудие стояло посреди площади, повернутое дулом туда, где со стороны Дубровного нарастала винтовочная стрельба.

Петлюровец, без шинели, в щегольском зеленом френче, ловко всунул в патронник снаряд, но замка не закрыл, а, обернувшись, что-то удивленно закричал.

Щорс распластался на снегу. В руках его яростно задрожал, выбрасывая бледное пламя, ручной пулемет. Человек в зеленом френче вздрогнул и ничком повалился на землю.

Выпуская пулю за пулей, Яковенко видел, как метались по площади оторопелые петлюровцы, беспорядочно стреляли, падали... Билась подстреленная лошадь. Пытаясь встать, она опиралась на передние ноги и вдруг валилась на бок, высоко взбрасывая копыта. Яковенко не слышал, чтобы она ржала. От грохотавшего рядом пулемета в ушах стоял сплошной гул, в котором тонули все звуки...

Потом, вставляя новую обойму, Яковенко, увидел, как лежавший рядом с ним боец перестал стрелять и уткнулся лицом в землю. Бросил винтовку бородатый каптер и пополз в сторону, загребая окровавленной рукой снег.

Щорс что-то крикнул и, подхватив пулемет, стремительным броском пересек улицу. Яковенко, пригибаясь, побежал за ним. Вслед им раздалось несколько коротких пулеметных очередей. Он понял, что это бьет с того края площади, от большого деревянного дома, станковый пулемет.

Бойцы рассыпались по дворам, частым огнем обстреливая площадь.

Яковенко вместе со Щорсом и Добьей очутился за бревенчатым сараем, где громко кудахтали встревоженные куры.

Щорс передал пулемет Добье.

— Пойдешь со мной,— сказал он Яковенко, расстегивая кобуру.

Миновали какие-то задворки, перебегая от забора к забору. Потом ползли по нетоптанному снегу через безлюдный проулок.

Над головами злобно взвизгивали пули. Они проносились так низко, что Яковенко невольно припал к земле, стараясь поглубже зарыться в рыхлый снег. Неожиданная слабость сковала его руки и ноги...

Щорс, который уже миновал опасное место, обернулся и посмотрел на Яковенко. В его глазах, горевших боевым задором, было ожидание и чуть удивленная усмешка.

Словно кипящим варом, обдал Яковенко жгучий стыд. «Вот это доказал»,— мелькнуло у него в голове при воспоминании о гордых мыслях, что кружили ему голову на крыльце дубровинской школы.

Закусив губу, он оторвал себя от земли и пополз к Щорсу.

И было у него ощущение легкости, почти невесомости своего тела, словно переступил он ту грань, за которой кончается власть страха.

— Ниже, ниже припадай... — полушепотом прикрикнул на него Щорс, но в глазах его Яковенко увидел одобрение.

Они добрались до деревянного дома. Щорс выглянул из-за угла, приподнялся и прыгнул на лежавшего у пулемета сечевика в белой папахе. Яковенко бросился за ним и, упав на колени, рывком повернул пулемет в сторону, откуда на них с криком бежала толпа петлюровцев.

Но стрелять ему не пришлось.

На площадь, сверкая клинками, влетела прорвавшаяся с черниговской стороны конная разведка богунцев. Прыгая через плетень, навстречу конникам бежали Добья, Волосевич и другие бойцы пришедшего со Щорсом отряда. Окруженные петлюровцы бросали оружие...

3

В эту незабываемую минуту испытал Яковенко ту ошеломляющую радость победы, когда сам не знаешь, чего хочется тебе, смеяться или плакать, или, может, крикнуть

во всю силу своего голоса так, чтобы на тысячу ладов ответило тебе все вокруг. «Эх, и хорошо, хлопцы!»

— Золотопогонник? — спросил Щорс поднявшегося с земли пленника.

— Студент Киевского владимирского университета,— ответил тот, исподлобья глядя на Щорса.

— Значит, не по глупости воюете?

— За вильну Украину воюю,— сказал студент-петлюровец с вызовом.

Глаза их встретились, и Яковенко задержал дыхание, видя, как засветился холодной яростью взгляд Щорса.

— Разная у нас с вами Украина,— сказал негромко, пересиливая себя, Щорс. — Товарищ Яковенко, сдадите господина студента в трибунал...

А на окраине города, откуда шло главное наступление богунцев, еще слышалась стрельба. Но вскоре и она смолкла. Красноармейцы, штыковой атакой сметая последнее сопротивление петлюровцев, ворвались в Седнев.

Впереди скакал на белой лошади Кащеев. Еще весь во власти бешеного порыва, сжимая в руке наган, он подлетел к стоявшему возле плетня пленнику.

— А, сука,— крикнул он сдавленным голосом, и красивое, по-цыгански смуглое лицо его исказилось судорогой...

Он выстрелил. Студент упал.

Бежавшие за Кащеевым бойцы, наклонив штыки, ринулись на толпу пленных.

— Стой,— крикнул, бросаясь им наперерез, Щорс, и в голосе его была такая власть, что сразу стихло все на просторной площади.

— Стыдно, товарищи,— трудно и медленно выговаривая каждое слово, сказал Щорс.— Учитесь бить вооруженного врага в бою...

Жались у забора объятые смертельным страхом петлюровцы, глядя, как тушил ярость свою Кащеев, жестокими ударами плети укрощая разгоряченного коня.

Молчали, пряча друг от друга глаза, опомнившиеся бойцы.

Вот как раз тогда и въехал на площадь Федька Дынин верхом на гнедом щорсовском коне. Хотя ноги его и не доставали до стремян, вид у него был боевой и сияло на курносом лице сознание выполненного долга.

— Доставил коня в полной исправности, товарищ Щорс,— доложил он, соскакивая на землю перед командиром полка.— Согласно вашему приказанию...

Щорс хмуро посмотрел на него и отвернулся.

Дынин растерянно огляделся вокруг.

— То вы серчаете, товарищ Щорс, что я припозднился? — торопясь, затоворил он.— Так я же за конягой бегал...

— Куда бегал? — спросил Щорс.

— Пока стрельба шла, я его в балке около походной кухни оставил. Вы же говорили, чтоб от пули сберечь.

— Да ты-то сам где был?

— С товарищем Кащеевым в наступление ходил... А как наша взяла, то я за конем и побег.

Щорс ласково положил руку на плечо Дынина.

— Вот, выходит, и не разобрал ты приказа,— сказал он.— Тебе самому наказывал я поберечься, дурной ты хлопец.

Не отпуская плеча Дынина, он оглядел притихших бойцов. И вдруг заговорил горячо и проникновенно:

— Богунцы! Мы же, как знамя, несем всему миру людскую правду. Пройдут года, и мать над колыбелью сына споет песню о наших подвигах. Слов нет, товарищи, мы заслужили это своей доблестью. Но будьте хозяевами и ненависти своей. Уничтожьте без жалости врага, если он стоит на пути революции. Но не марайте рук ненужной кровью...

Что-то горячее стало поперек горла у Яковенко. Видели все, как спрыгнул с коня Кащеев и подошел к Щорсу.

— Прости меня, Микола,— сказал он тихо.

НОЧНАЯ ВСТРЕЧА

1

— Вот чертова сила....— сказал, останавливаясь, Ларион Петрович.

Он снял грубошерстную солдатскую перчатку и вытер мокрое от снега лицо. Подставил вьюге широкую, сутуловатую спину и, согревая дыханием закоченевшие на ремне винтовки пальцы, подождал Федьку Дынина.

Когда шли они по дамбе, которая тянется от Черниговского моста за Десну, было еще затишье. Только кое-где в поле курилась легкими дымками поземка. А потом сразу нахмурилось и будто из дырявого решета посыпал снег. Ну и поднялась завируха. Версты не прошли, как поперек шоссе стали ложиться сыпучие и вязкие, словно из тяже-

лого речного песка, сугробы. Немудрено бы и заблудиться, если бы не побитые ветром вербы, что, тоскуя, гудели по сторонам дороги.

— Дядька Ларион! Да не бежите так,— попросил запыхавшийся Федька, отряхиваясь от снега.— А то мне сумно становится...

— Жила вдова молода край битого шляха... Набралася та вдова великого страха...— сказал, дуя на пальцы, Плахотнюк.

— Все шуткуете, дядько Ларион,— упавшим голосом выговорил Федька.

Плахотнюк, усмехаясь, натянул перчатки.

— Зачем в разведку вызвался?.. Тоже мне герой,— сказал он и, поправив за плечом перевернутую вниз дулом винтовку, вразвалку зашагал навстречу ледяной белесой мути.

Ветер сердито трепал полы его шинели.

— Товарищ Плахотнюк...— заспешил Федька, догоняя его.—Вы думаете, я гайдамаков боюсь? Да пусть заявится сейчас хоть сам Петлюра або Скоропадский...

Он попытался заглянуть в лицо Плахотнюка, но ничего не рассмотрел за поднятым воротником шинели и заговорил еще быстрее:

— Вы, дядько Ларион, в нечистую силу, видно, не верите?.. У нас тетка Федора тоже не верила, пока не легла одного раза летом под открытым окном спать. Только задремала, а оно идет мимо. Глянуло в окно и говорит: «Есть кика, да нет чики»... И пошло дальше. Тетка проснулась и перелегла под другую стену. А оно снова приходит да как шпурнет колом туда, где она поперек лежала... Так тот коляка в землю и вгородился...

Плахотнюк не отзывался, грудью прокладывая себе дорогу среди мчавшейся навстречу снежной лавины. Кто его знает, слушал он Федьку или нет.

— Чего же вы молчите, дядько Ларион? — снова заговорил Федька, утешаясь хоть тем, что слышит звук своего голоса.— Вы, может, думаете, что я в бога верую?.. Так нам же, комвзвода, товарищ Яковенко, разъяснял, что на небе ничего нет, одно порожнее место. А нечистая сила, так она же на земле, а не на небе...

— А ну, помолчи...— грозно сказал Плахотнюк и остановился, всматриваясь вперед и к чему-то прислушиваясь.

Федька застыл рядом, стараясь не дышать.

Порывы ветра ослабели, но снег ложился по-прежнему густо, приглушая звуки.

— Показалось... — сказал наконец Плахотнюк и двинулся дальше той же медвежатой, но вдруг сразу приобретшей плавность походкой.

— С моим дядьком тоже случай был,— заговорил он, не поворачивая к Федьке лица.— Ловил он на гребле рыбу и споймал вместо леща чертяку. Тот, понятно, просится: «Отпусти, я нечистый»...» А дядько мой был не дурак, говорит: «Ничего, жена почистит...» Тот снова: «Я бес...» А дядька ему: «Так в торбу лезь...» Перепугался чертяка и кричит: «Пусти... Я черт...» А дядько: «У меня детей до черта, съедят и черта...»

— Опять вы шуткуете,— обиделся Федька.

Он хотел сказать еще что-то, но вдруг подался назад и цепко ухватил Плахотнюка за рукав.

В чуть серевших сбоку дороги кустах хрустнула ветка, и мимо них пробежала худая, длинноногая собака. Промелькнула тенью и сгинула в сугробах, словно ее и не было. Федька готов был побожиться, что видел как загорелись и мгновенно потухли в ее глазах зеленые огоньки.

— Тьфу, проклятый, откуда он взялся,— выругался Плахотнюк. — Видать, Колычевка недалеко...

— Это же оно и есть, дядько Ларион,— твердил Дынин, клацая зубами. — Говорил я вам, а вы не верили.

— Федька, сколько тебе лет? — сурово спросил Плахотнюк, высвобождая свой рукав.

— От покрова шестнадцатый пошел... А что?

— Здоровый уже, а дурной какой...

— Да вы ж таки ничего не знаете, дядько Ларион,— говорил Федька, и в голосе его дрожали слезы.— Оно ночью как раз собакой и прикидывается. Мой батько шел о полночи через сад, откуда ни возьмись, белый хорт[1]. Перебежал ему дорогу и подался до ближней хаты. А наутро соседка наша, бабка Горпина, рассказывала, что ее всю ночь нечистая сила мордувала, пока петухи не запели...

— Вот что, хлопче,— сказал, теряя терпение, Плахотнюк.— Брось ты свои побасенки и слушай дело. Сейчас я пойду в Колычевку, разведаю, а ты жди меня тут и смотри в оба. Коли что, давай выстрел и отходи по-за вербами.

— Дядько Ларион... Да как же я один? — взмолился Федька.

Но Плахотнюка уже не было рядом с ним...

---

[1] Хорт — борзая собака.

2

Федька стоял за корявой разлапистой вербой и жадным ухом ловил ночные звуки. Ветер унял совсем, но в ветвях вербы не умолкал тревожный шум, словно жаловалась старая на свою сиротскую долю.

И еще громче колотилось сердце у Федьки. Стыл палец на стальном спуске винтовки, не было сил пошевельнуться, а глаза все искали по сторонам неведомое и страшное.

Но тишина и покой были вокруг. Глухая белая ночь заполнила все, и только ложились на плечи Федьке чистые хлопья снега. Сгинула, пропала без следа проклятая собака с зелеными углями вместо глаз.

«А может, то и не оно было?» — подумал хлопец, остерегаясь все же называть черта по имени.

И снова стоял он, слушая тихий голос старой вербы и мягкий шелест падающего снега. Ровней билось сердце, и не скребла уже по спине холодная лапа страха...

Мысли пришли иные. Заново встал перед глазами утренний бой за Чернигов, кривые улицы пригородного села Бобровиц, занесенное снегом кладбище с похилившимися крестами, где была сбита первая вражеская застава. Насквозь прошел он вслед за Щорсом этот чудесный город, где вековые липы осыпали серебро инея на покрытый рдяною кровью снег. Святая ярость вела вперед богунцев, и без счета положили они в этом бою продажной сволочи из гайдамацкого корпуса, оборонявшего Чернигов.

Потом через Десну по льду бежал Федька. Не помнил он тогда о страхе, стремясь обогнать бегущего впереди товарища, чтобы первому вырваться на крутой берег, откуда еще огрызался пулемет недобитых синежупанников...

Вспомнил все это хлопец, и подумалось ему, что вот и сейчас стоит он на шляху, среди поля, лицом к лицу с притаившимся врагом. Смирены сном в освобожденном Чернигове боевые товарищи. Спит Щорс, спит без тревог, потому что знает — вызвался в разведку не кто иной, как Федька Дынин... А уж на Федьку Дынина, это Щорсу тоже известно, можно положиться...

Гордясь своими мыслями, обошел Федька вокруг старой вербы, зорко оглядываясь по сторонам.

Было кругом по-прежнему бело и пусто.

«Что-то дядько Ларион долго не идет...» — подумал он и вдруг, прислушиваясь, замер.

Невдалеке раздался приглушенный снегом стук копыт.

Не помнил Федька, как отступил за вербу и вскинул к плечу винтовку. В жар и холод бросало его, пока разглядел, что от Колычевки, держась обочины дороги, ехали рысью два всадника. Был передний в черной бурке, и оттого плечи его выглядели непомерно широкими. Большой и неотвратимый, надвигался он на Федьку, казалось готовый раздавить его. Было у Федьки желание опустить винтовку, прижаться к заледенелому стволу корявой вербы, слиться с ним, чтоб мимо проехали страшные всадники и невидимым остался он для них...

Но жила в нем и другая сила, которая не позволила ему сделать так. Когда передний был шагах в десяти, крикнул Дынин срывающимся, но полным решимости голосом:

— Стой! Стрелять буду!

— Спокойно. Свои,— услышал он знакомый голос, и всадник направил к нему коня.— Какой роты?

— Четвертой, товарищ Щорс. Находимся в разведке,— доложил Федька, стараясь говорить спокойно, хотя голос его еще не окреп после пережитого волнения.

Щорс наклонился к нему, и по его улыбке Федька понял, что командир полка узнал его.

— Ступай обратно и доложи своему командиру роты, что на сегодня я за тебя уже задание выполнил.

— Так оно, да не так, товарищ комполка,— сказал, вырастая, словно из сугроба, Плахотнюк.

В руке его чуть отсвечивала граната, которую он держал перед этим наготове.

— Разрешите рапортовать?..

— Давайте,— сказал, выпрямляясь, Щорс.

— Село Колычевка оставлено противником два часа назад. Гайдамаки бегут, не задерживаясь и в Яновке.

— Правильно,— сказал Щорс,— С вами, Ларион Петрович, хорошую школу пройдут молодые разведчики.

Он тронул лошадь, собираясь ехать дальше.

— Ну, счастье ваше, товарищ Щорс, что это вы были,— сказал ему на прощанье, совсем осмелев, Федька.— А будь на месте вас кто чужой, была б ему крышка...

— Выходит, Федька, ты и вправду герой, — заметил, посмеиваясь, Ларион Петрович, когда Щорс и его спутник скрылись из виду.— А я было про тебя плохое подумал...

— Не знаю, о чем вы говорите, товарищ Плахотнюк,— сказал Дынин.

— Да что-то мне чертячья собака вспомнилась...

Федька обернулся и, не сморгнув, посмотрел на Ларио-на Петровича.

— Так то же я нарочно,— сказал он.— А вы сразу и поверили?..

НА КИЕВ!

1

Нельзя сказать, чтобы Гриша Яковенко был доволен, когда вечером ординарец передал ему приказание немедленно явиться к командиру второго батальона товарищу Зубову. Наступление Богунского полка по прямому как стрела шоссе от Чернигова на Киев, сквозь бушевавшую трое суток метель, развивалось таким стремительным темпом, что бойцам и командирам шедшего в авангарде второго батальона некогда было даже помышлять о передышке и зачастую приходилось наспех довольствоваться еще не остывшим кулешом из брошенных в панике петлюровцами полевых кухонь. Поэтому, когда после занятия города Козельца для преследования противника был выдвинут третий батальон, Яковенко имел все основания рассчитывать на заслуженный отдых.

Славно поспав с утра до самых сумерек на отведенной ему квартире у почтового служащего, Яковенко к приходу ординарца сидел за покрытым скатертью столом против приветливой хозяйки, пил третий стакан чаю, отдавая должное клубничному варенью, и с удовольствием слушал веселый шум самовара и болтовню двух бойких хозяйских дочек.

Перебивая друг дружку, девицы сообщали ему, сколько треволнений пережили они за вчерашнюю ночь, когда снаряды рвались — ну над самой-самой их крышей и даже было слышно, как стекла в окнах дзинькают...

Яковенко со своей стороны рассказал им, как в бою под Черниговом вражий снаряд в дым разнес пароконную двуколку в двадцати шагах от него...

Девицы поахали. Младшая, с тревогой глядя на Яковенко широко раскрытыми карими глазами, сказала, что она умерла бы от страха, случись подобное при ней, и потому она очень-очень рада видеть его живым и невредимым.

Выпалив это, девица смутилась и покраснела, а мать покачала головой и укоризненно заметила:

— Ты, Люсенька, всегда скажешь что-нибудь такое...

Должно быть, боевой безусый командир пришелся по

душе барышням, так как старшая взяла с него обещание, что он завтра обязательно пойдет вместе с ними знакомиться с достопримечательностями города.

Особенно хотелось им показать Яковенко собор, построенный каким-то очень знаменитым архитектором,— вот только фамилию они его забыли, такая чудная — ну, одним словом, тем самым, что Зимний дворец строил...

Яковенко ответил, что посмотреть снаружи на собор он не имеет ничего против, но в середину, ясное дело, не пойдет, потому что все это обман и предрассудки, которые ему, как красному командиру, вовсе не к лицу.

Младшая пожалела, что Яковенко не доведется увидеть имевшийся в соборе необыкновенный, изготовленный в Италии иконостас, из-за которого и строилась вся церковь. Кроме того, ему следовало бы посмотреть и нарисованный в притворе на стене портрет «дикого попа», о котором она ему завтра обязательно расскажет; а то сейчас на ночь страшно.

Яковенко ответил, что бояться давно умерших попов и всяких там привидений — тоже предрассудок, и хотел было рассказать по этому поводу одну интересную историю, но как раз в это время пришел ординарец и позвал его к Зубову.

2

— Присядьте, товарищ Яковенко,— сказал комбат Зубов, сдвигая к переносью брови и, в знак официальности разговора, называя Яковенко на «вы».

«Ну, значит, надолго будет дело»,— подумал Яковенко и словно бы даже затосковал об оставленной им уютной квартире и приветливых девичьих глазах.

— Дело вот какое, товарищ Яковенко,— начал Зубов, поглядывая на разложенную перед ним карту-трехверстку.— Примерно в двадцати верстах от города Козельца на нашем левом фланге имеется село Мостище. Возьмите на заметку, что село волостное, полторы тысячи жителей, три лавки и суконовальная фабрика. Был еще винокуренный завод, но разгромлен гайдамаками, а оборудование вывезено оккупантами... Так вот, по сведениям, полученным от местных жителей, в этом самом Мостище еще вчера находились петлюровцы. Возможно, они сейчас уже и ушли оттуда, но со стороны расположенной рядом железной дороги в любое время можно ожидать подхода новых банд.

Ввиду этого приказываю: взять из вверенного вам взвода четвертой роты пятнадцать бойцов, придав им ручной пулемет, и немедленно направиться в указанное село. Если там имеются петлюровцы, разведайте их силы, а сумеете напугать — напугайте. Если же в селе никого сейчас нет, выставьте сторожевое охранение и, когда появится противник, встретьте огнем, как и полагается, чтобы заставить его развернуться к бою и показать свою численность.

Он помолчал, рассматривая карту, и добавил:

— По дороге вам придется хуторок один, так вы и его на всякий случай прощупайте. Понятно, товарищ Яковенко?

Яковенко сказал, что задание ему понятно, встал, козырнул и хотел идти собираться в дорогу.

Зубов догнал его у дверей и крепко пожал на прощание руку.

— Имей в виду, товарищ Яковенко,— сказал он дружески,— что посылаю тебя в разведку по личному указанию самого командира полка. Полчаса назад справлялся Щорс, не ранен ли ты в бою, и сказал, что считает тебя подходящим для этого поручения...

Сообщив это, он снова посуровел, бросил коротко, словно отрезал:

— Можете идти... О выполнении доложите мне лично.

3

Сборы заняли у Яковенко немного времени. Четвертая рота была расквартирована тут же, рядом, в здании городского училища, и он без труда отобрал из вызвавшихся в разведку охотников нужных ему людей.

И вот уже шли они по заснеженной дороге — в ночь, в неизвестность, оставляя позади себя редкие огоньки города.

Снежная туча сползала на край неба. Вызвездило. Вышла на простор полная луна. Загорелись и заплясали по снегу сверкающие искры — голубые, зеленые, рубиновые.

И подумал Яковенко, полной грудью вдыхая чистый, как родниковая вода, морозный воздух, о том, как много красоты раскидано по свету не знающей меры своей щедрости природой, и пожалел, что дается человеку в обрез времени, чтобы понять и оценить это.

Бойцы шли молча, тоже зачарованные красотой ночи. Яковенко было радостно, что с ним сейчас его боевые то-

варищи,— в каждом из них он был уверен, будто в самом себе, так как не раз видел их в деле и сумел оценить по достоинству.

Разве пропадешь с такими хлопцами?..

О многом передумал Яковенко, шагая по сыпучим снегам во главе своего отряда. Было ему тепло от своих мыслей. Успел уже забыть он об уюте оставленной им квартиры. Полон был твердой решимости во что бы то ни стало с честью выполнить опасное поручение и оправдать доверие, оказанное ему любимым командиром Николаем Щорсом.

Дорого ему было внимание этого человека, походить на которого хотел он в своих поступках...

4

Верстах в семи от города засветились на пригорке огоньки хутора. Посланный в разведку Дынин вскоре вернулся, запыхавшись от быстрой ходьбы.

Вид у него был возбужденный и значительный. По его словам выходило, что хотя на хуторе все спокойно — снег не затоптан и собаки не лают,— но это только одна видимость, так как у крайнего подворья отворены ворота и под навесом жуют овес четыре заседланные лошади.

— Должно быть, петлюровский разъезд заскочил, товарищ Яковенко,— веско высказал он свое мнение...

Тихий хутор был по самые окна занесен сугробами. Поручив Добье и Граку захватить неприятельских лошадей, Яковенко, проваливаясь по колено в снег, добрался до мерцавшего красноватым светом окна хаты. Стекла были густо зарисованы морозными узорами, и он не сразу нашел чистый ото льда краешек, сквозь который можно было заглянуть вовнутрь.

Топилась печь. Хозяйка ворочала рогачом горшки, и жаркие отсветы заливали ее полные руки, красили в розовое очипок на голове. На лежанке кто-то спал — видно, из домашних,— с головой накрытый кожухом.

Яковенко разглядел троих, сидевших за столом. Серый пар из большой миски окутывал их. Они с жадностью промерзших людей ели вареную картошку, макая ее в рассыпанную на столе соль, обжигаясь, перебрасывая картофелины из руки в руку.

По их улыбкам и взглядам Яковенко понял, что четвертый сидит сбоку от окна, у самой стены, и, должно быть, рассказывает что-то веселое.

«Порасселись, стервецы, как у себя дома»,— подумал Яковенко, словно даже досадуя на такую беспечность противника.

Момент был подходящий.

— Если будут прыгать в окно — коси...— сказал он пулеметчику Терехову.

Взяв с собой Кононенко и еще двух бойцов, он вошел в сени.

Его охватило веселое возбуждение. Мысль об опасности не взволновала, была уверенность: то, что он делает,— точно и безошибочно; все будет так, как он наметил.

— Стрелять только в крайности,— шепотом распорядился он, нащупывая в темноте щеколду, и сильным рывком распахнул дверь.

— Руки вверх!..

Загремела посуда. Громко вскрикнула женщина.

Двое за столом потянули руки кверху, онемело глядя на дула винтовок, направленных на них. А третий, белобрысый, совсем еще хлопец, так и застыл с открытым ртом, давясь горячей картошкой.

— Тебе говорят,— звонким с мороза голосом крикнул Яковенко, наводя наган на сидевшего у стены горбоносого черноусого человека, который пытался расстегнуть кобуру... Пленников обезоружили. Они стояли понуро, с растерянными лицами, словно еще не верили в происшедшее. Забившись в угол, крестилась хозяйка. Ревела на лежанке испуганная девочка.

А на белобрысого хлопца жалко было смотреть. Дожевывая застрявшую во рту картошку, он, казалось, готов был разреветься от тоски и досады...

— Ладно, вы не бойтесь,— сказал Яковенко.— Мы пленных не мучаем и зря смерти не предаем. Сейчас мы отправим вас до города Козельца, а там вами распорядится по своему усмотрению наш командир товарищ Николай Щорс.

— Так мы же, товарищи, тоже красноармейцы,—вдруг, оживясь, заговорил горбоносый.— Мы же думали, что это вы — гайдамаки...

— Вот это номер,— разочарованно протянул Кононенко, опуская к полу винтовку.

— Ты что брешешь? — рассердился Яковенко.— Наших частей в этой стороне нет.

— Мы из Таращанского полка батька Боженка... Наши

вчера Нежин заняли,— разъяснял горбоносый.— Да, хочешь, документы покажу...

Из документов действительно явствовало, что Яковенко захватил в плен конных разведчиков Таращанского полка.

— Вы что же, сукины сыны, сопли распустили? — горячился зашедший в хату Добья.— Картошку жрать только умеете... А кабы Петлюра в самом деле наскочил?.. Эх, вы, партизанщина...

— А что же он не пытае, кто такие, а сразу «руки вверх» кричит? — огрызался повеселевший хлопец, принимаясь за остывшую картошку.

— Уж вы извиняйте нас, что потревожили ваших гостей,— сказал Яковенко хозяйке, еще не пришедшей в себя от перепуга.— Всяко на свете бывает...

Отчитав как следует таращанцев за беспечность, он велел им немедленно возвращаться в свое расположение и доложить батьку Боженко, что они вошли в соприкосновение с частями Богунского полка.

5

Мобилизовав на хуторе три подводы и разместив на них свой отряд, Яковенко двинулся в дальнейший путь.

Лошади бежали дружно, вздымая вихри искрившейся при лунном свете снежной пыли...

Все же к Мостищу подъехали уже за полночь. Село мирно спало. Не было ни застав, ни сторожевых охранений. В окнах хат не светилось ни одного огонька. Только где-то на другом краю села побрехивали собаки.

Яковенко, велев старику вознице придержать лошадей, спросил:

— Не знаешь ли, дед, кого-либо из селян, пострадавших от оккупантов или Петлюры?

— Кто ж его знает,— ответил дед.— Все страждали...— Он вылез из саней, обошел кругом лошадей, поправил на левой шлею и, влезая обратно в сани, сказал: — Разве Иван Пилипчук? Его гайдамаки на Пинские болота высылали...

— А за что? — поинтересовался Яковенко.

— За зеркало, кажуть люди. Зеркало какое-то из экономии до себя привез.

— Тогда заворачивай к Пилипчуку,— решил Яковенко. На стук долго никто не откликался. Потом как-то сразу брякнула щеколда и в дверях показался в накинутом на

нательную рубаху кожухе уже немолодой селянин с длинными чумацкими усами.

Не было заметно, чтобы он испугался, увидев вооруженных. Стоял и ждал, что ему скажут.

— Принимай гостей, хозяин,— сказал Яковенко.

— Заходите, коли не шутите,— ответил Пилипчук и первый вошел в хату.

Потрескивая, затеплился каганец. В хате было бедно и пусто. Только на стенах висели какие-то картинки да полинялые цветы.

С печи выглянула изможденная женщина, посмотрела безразлично на вошедших и снова спряталась. Было слышно, как она успокаивала проснувшегося ребенка.

— Дошла до нас весть, товарищ Пилипчук, — начал Яковенко, присаживаясь на лавку,— что пострадал ты от ворогов трудового народа. Мы, красные бойцы, выражаем тебе сочувствие и заверяем, что не сложим оружия, пока не выведем всех подлых гадов с родной земли. Думаем, ты не откажешься помочь нам в нашем правом деле...

Пока говорил Яковенко, Пилипчук стоял, глядя в пол и пощипывая свои чумацкие усы, и нельзя было угадать, о чем он думает. А потом спросил, как старых знакомых:

— В чем же вам моя допомога требуется, хлопцы?..

— Прежде всего хотелось бы нам знать, товарищ Пилипчук,— сказал Яковенко,— есть ли на селе войска, какого цвета и в каком количестве?

На это Пилипчук ответил, что вчера никаких войск на селе не было, что уже под вечер ходил он занять сернико[1] у своего кума Игната Балабайки, который служит сторожем при волостном правлении, и никого на улицах не видал. А те гайдамаки, что были раньше в Мостище, уже два дня как подались на Рудню...

— Тогда, товарищ Пилипчук,— промолвил, поднимаясь с лавки, Яковенко,— будь ласков, одень кожух и шапку и проводи нас до своего кума Балабайки, сторожа при волостном правлении, который уже наверное знает все новости.

— Что ж, хлопцы? Раз треба, то треба,— философски ответил Пилипчук и стал одеваться.

---

[1] Серники — спички.

6

Яковенко отпустил домой хуторские подводы, а сам быстрым шагом, следуя за Иваном Пилипчуком, направился со своим отрядом к волостному правлению.

— Слухай, дядько,— окликнул Добья Пилипчука, когда шли они по протоптанной меж пушистых сугробов голубой от лунного света тропинке.— Говорят, ты из-за какого-то зеркала пьявок на Пинских болотах своей кровью кормил? И на что оно тебе сдалось, то зеркало? Лучше бы корову или коняту из экономии до себя во двор пригнал...

— Да как вам сказать, хлопцы,— неохотно отозвался Пилипчук.— Оно, правда, зеркало — вещь в хозяйстве, прямо сказать, никчемная. Однако в ту пору никак мне нельзя было без него обойтись. Делили мы экономию по весне всем селом. Сельчане мои больше насчет коров там и всякого инвентаря ударяли... А я, как зашел в панские покои, так будто ума лишился... Такого великого зеркала я за всю свою жизнь не видел... И не поверите, хлопцы, до чего же захотелось мне пожить, как люди живут... Привез я его к себе домой, и что же? Не пролазит оно ни в окна, ни в двери... И пришлось мне, хлопцы, это зеркало в клуню поставить...

— Что правда, то правда,— сказал Терехов.— Бывает, найдет такое на человека. Была еще в империалистическую у моего товарища зажигалка, сработанная из головки трехдюймового снаряда. Так я спать не мог, пока не выменял ее за новую гимнастерку и четыре пачки махорки. А как день побыла у меня,— и не зажигается, и карманы от нее все начисто рвутся... Тянула, я вам скажу, та зажигалка без малого два фунта...

Яковенко не препятствовал беседе, так как велась она тихо, с должной осторожностью.

За приятным разговором незаметно вышли они в узкий переулок, сбоку от волостного правления.

И тут по тому, как вдруг остановился шедший впереди Иван Пилипчук, понял Яковенко — дело неладно.

— Случилось что-нибудь?— спросил он тихо.

Но Пилипчук молчал, упершись во что-то взглядом, словно не хотел верить своим глазам.

— Да говори, дядько, что там увидел?— нетерпеливо сказал сзади Добья.

— Прямо-таки наваждение, хлопцы,— развел руками Пилипчук.— Та вы ж сами понимаете, что не должно этого быть...

В длинном приземистом здании волостного правления тускло светились окна.

— Да побей меня гром, хлопцы,— волновался Пилипчук, сразу потеряв свою флегматичность.

Даже вислые чумацкие усы его встопорщились от переживаемого им душевного беспокойства.

— Бо кажу вам, хлопцы, что с вечера ни души там не было... От-то какая напасть...

Разузнать, в чем дело, вызвался Павло Добья. Он пошел, пригибаясь, теневой стороной по-над тыном и вскоре скрылся из глаз, завернув за угол.

Прошло минут десять.

Добьи не было. Со стороны волостного правления не доносилось ни звука.

Назначив своим заместителем Терехова, Яковенко решил сходить в разведку сам.

Он уже благополучно добрался до развороченного забора волостного правления, как вдруг из-за угла выступила понурая фигура часового.

Должно быть, часовой здорово продрог, так как шел поеживаясь, упрятав пальцы в рукава шинели и держа винтовку под мышкой.

— Стой! — закричал он испуганным голосом, увидев Яковенко.— Кто идет?

Но в это время его ударил прикладом по голове подоспевший Добья.

Оглушенный часовой ничком повалился в снег, выронив из рук винтовку.

Яковенко и Добья оттащили его в переулок, где их беспокойством ожидали товарищи.

— Ну, хлопцы, видать, будет нам работа,— сказал Яковенко и, не теряя времени, начал распоряжаться, так как из удостоверения, оказавшегося в кармане часового, явствовало, что они имеют перед собой забредший в село петлюровский отряд.

Оставив Терехова с ручным пулеметом в переулке, откуда можно было держать под огнем окна по фасаду и крыльцо волостного правления, Яковенко отрядил четырех бойцов во главе с Кононенко вести наблюдение за другой стороной дома, приказав им, в случае тревоги, забросать противника гранатами. Сам же, взяв с собой Добью, Грака, Дынина и остальных, решил проникнуть в здание, где расположились на ночевку петлюровцы, и действовать там, сообразуясь с обстановкой, согласно приказу комбата Зубова.

7

В коридоре было сильно натоптано. Осторожно ступая в темноте, Яковенко слышал, как предательски шелестит под сапогами рассыпанная по полу солома и хлюпает слякоть от талого снега.

Ведя рукой по стене, он нащупал деревянный наличник, потом холодную металлическую ручку. Весь напрягаясь, словно это могло помешать скрипу петель, потянул дверь на себя...

Тусклым огоньком горел подвернутый фитиль жестяной лампы, отбрасывая на потолок желтый круг света. Напротив двери на канцелярском столе стоял станковый пулемет «максим», направленный в окно — в ту сторону, где расположился со своим ручным пулеметом Терехов. Яковенко откачнулся во тьму коридора, рассмотрев склоненную над столом фигуру человека.

Но настороженный слух не уловил ничего, кроме неровного дыхания спящих людей.

— Что там? — послышался над самым ухом Яковенко тревожный шепот Добьи.

Яковенко снова посмотрел в узкий просвет приоткрытой двери. Дежуривший у пулемета человек был неподвижен. Он спал, навалясь грудью на стол, положив на подвернутый локоть чубатую голову.

— Пошли,— сказал Яковенко.

На столах и скамьях спали люди. Их было человек десять, может, двенадцать. Короткие винтовки — драгунки — были составлены у стены...

Сжимая вдруг ставшую липкой ручку нагана, Яковенко приблизился к спящему пулеметчику.

Яркий лунный поток бил в заснеженное окно, пересиливая усталый свет лампы. Рассыпавшиеся по рукаву шинели волосы пулеметчика казались поседевшими...

Яковенко осторожно выдернул из пулемета ленту. Чуть слышный стук металла разбудил спящего... В его широко раскрывшихся глазах было еще сонное недоумение, но рука сама потянулась к лежавшей на столе винтовке.

— Брось,— хрипло сказал Яковенко и сунул дуло нагана ему в лицо.

Пулеметчик откачнулся назад и, вяло опустив руки, привалился к стене... Он что-то чуть слышно шептал, не решаясь повысить голос.

— Ну? — нагнулся к нему Яковенко.

— Шапку... Шапку отдай... — шептал пулеметчик. Яко-

венко сперва не понял его. Ему показалось, что человек обезумел от страха. Но тот продолжал твердить свое, кривя припухшие от сна губы в заискивающую улыбку.

Яковенко проследил его взгляд и увидел возле себя на столе новую шапку из серой смушки. Он подвинул ее к своему пленнику, и тот сразу успокоился.

Человек был безопасен. Он сдавался целиком и безоговорочно, потеряв всякую волю к сопротивлению. Сейчас его беспокоила лишь одна мысль, что на дворе ночь и мороз, а ему придется идти в неизвестность вдоль посеребренных ледяной луной сугробов...

Иван Грак вынес из комнаты драгунки. Он нес их лениво, как охапку дров, чуть сгибаясь над своей ношей.

В дверях, держа наготове винтовки, встали два бойца.

Добыя будил одного за другим петлюровцев. Он встряхивал спящего за плечо и, поводя перед его испуганно открывшимися глазами наганом, выжидал, пока тот осознает происходящее. Ему помогал Дынин, снимавший с пленных широкие прямые немецкие ножи и патронные подсумки.

Яковенко прибавил в лампе огня. Комната осветилась, обнажив неприглядность обращенной в бивак канцелярии: обшарпанные, с чернильными подтеками стены, кучу наскоро сметенного в угол мусора, черствые корки хлеба на столе под пулеметом...

Схлынула волна нервного напряжения, и Яковенко почувствовал, как здорово устал сегодня...

— Построиться в две шеренги,— скомандовал он сбившимся в кучу пленникам.

Его тронул за руку Федька Дынин.

— Товарищ взводный,— сказал он, делая страшные глаза.— Подите сюда на минутку...

— Ну, какая беда? — весело спросил Яковенко, выйдя в коридор.

— Тише,— схватил его за руку Дынин и отчаянно зашептал: — Там еще люди есть, товарищ взводный, в большом покое, в конце коридора. Столько — как пчел в улье. Удочки сматывать надо, товарищ взводный...

8

Видимо, это был зал волостного присутствия.

На разбросанной по полу соломе вповалку спали люди. В десятилинейной лампе, висевшей под потолком, кончался керосин. Готовясь потухнуть, она то совсем погружала

комнату в темноту, то вспыхивала, на мгновение освещая дымным огоньком беспорядочную массу человеческих тел, кожухов, шинелей, вещевых мешков.

Воздух был спертый, полный тяжелых испарений...

— Назад подаваться надо, товарищ взводный,— шептал оробевший Дынин.— Видите, какая сила...

«Что делать? Как вывести захваченных в плен, чтобы не разбудить остальных?» — подумал Яковенко, чувствуя, как и его охватывает тревога.

Однако тут произошло нечто такое, что помешало ему составить какой бы то ни было план действий.

Заглянувший следом за ним в комнату Грак попытался тихонько взять стоявшую у самой двери винтовку. И вдруг следом за ней с дребезгом потащился по полу привязанный к ремню медный котелок...

Все вокруг пришло в движение.

С полу, гремя оружием, поднимались люди. Они еще не понимали, в чем дело, и с изумлением глядели на стоявшего у двери Яковенко.

«Уходить?» — подумал он, ощущая за спиной спасительную темноту коридора. И тут же обожгла мысль, даже сердце захолонуло: «Нельзя уходить — товарищей загублю».

— Красные...— не то испуганно, не то удивленно сказал кто-то рядом, и в комнате на мгновение наступила тишина.

И тогда как-то сразу пришло решение.

— Дынин, приказываю тебе никого из комнаты не выпускать,— отчетливо сказал Яковенко, пряча наган в кобуру.— А ну, дайте дорогу...

Он шел, и люди послушно расступались перед ним... И было у Яковенко такое же ощущение необычайной легкости, почти невесомости своего тела, как тогда, в памятный седневский день, в занесенном снегом переулке под злыми пулями сечевиков...

Он взобрался на стоявший посреди комнаты стол, и помнилось потом, что кто-то из вражеских солдат даже помог ему в этом.

— Довожу до вашего сведения,— закричал Яковенко и сам удивился силе своего голоса,— что село Мостище занято вторым батальоном первого советского Богунского полка. Сорок пулеметов наведены в эту самую минуту на вашу халупу и ждут только сигнала, чтобы открыть ураганный огонь... Именем революции приказываю вам сдать оружие. Исполнившим беспрекословно мое приказание гарантирую жизнь.

Яковенко замолчал и даже не поверил себе, видя, как послушно положил у его ног винтовку, стоявшую у самого стола, рыжебородый солдат в мешковатой, потертой шинели...

— Та мы, товарищ, мобилизованные,— испуганно говорил он, снимая сумку с патронами.— Да разве ж мы против, товарищ?..

— Сдавай, хлопцы, оружие... На чёрта нам тот Петлюра нужен...— послышались выкрики с разных сторон.

Но были и иные голоса, предлагавшие оружие пока не сдавать, а сперва разобраться, как и что...

— Предупреждаю,— крикнул снова Яковенко,— ни один человек не выйдет из этой комнаты живым, пока не будет сдано все до последнего патрона...

Рассказывая потом друзьям о своем подвиге, признавался Яковенко, что испытал в эту ночь неприятнейшее ощущение, когда дрожат у человека под коленками поджилки. Говорил он, что стоило ему больших трудов твердо стоять на столе, пока сыпалось со всех сторон вокруг него разнообразное оружие и снаряжение...

9

Когда все сто восемьдесят пять пленных были выведены на улицу, вдруг раздался в опустевшем доме запоздалый выстрел, первый за всю эту полную всяких неожиданностей ночь.

Опасаясь чего-либо недоброго, бросился Яковенко вместе с Добьей обратно в волостное правление. Но, когда распахнули они дверь в комнатушку сторожа, откуда слышался неприятный шум, не смогли удержаться от смеха.

По полу на карачках ползал здоровенный петлюровец, безуспешно пытаясь подняться на ноги. Верхом на нем сидел сторож Игнат Балабайка, крепко вцепившись ему в загривок. А наш знакомец Иван Пилипчук, держа в одной руке отнятый у петлюровца револьвер, гнул другою к полу за чуприну его голову, укоризненно приговаривая:

— Та ну ж, добродию, не бунтуйте... Прошу вас, не бунтуйте...

Был это незадачливый петлюровский сотник, крепко хвативший с вечера самогону и безмятежно проспавший на кровати Игната Балабайки пленение своего отряда...

...В конюшне обнаружили белую верховую лошадь, принадлежавшую, как видно, сотнику, и пулеметную тачанку с полной запряжкой. Дежуривший при лошадях

петлюровец был безнадежно пьян. Его так и пришлось везти до самого города, положив поперек тачанки...

Все было уже готово к походу: оружие погружено на подводы, пленные построены в походную колонну по четыре, а на тачанке поместились Добья и Терехов со своим, всегда готовым к боевой работе ручным пулеметом.

И тогда отдал команду Яковенко, усаживаясь на белую сотникову лошадь и с удивлением поглядывая на посветлевшее с востока предутреннее небо:

— Передать пятой и шестой роте, чтобы снялись с оцепления...

И пятнадцать веселых голосов протяжно повторили один за другим:

— Передать пятой и шестой роте... Передать пятой и шестой...

Когда же дошла очередь до Федьки Дынина, которому предстояло замыкать шествие, он немного подумал и от себя уже озорно крикнул в пустоту посеревшей ночи, дудкой сложив у рта ладони:

— Ну, вы там, живые, что ли? Поворачивайся веселей!

10

Пленных накормили. Озябшие, утомленные большим переходом, они ели с жадностью, на время забывая тревогу о своей судьбе.

Потом Яковенко повел их к штабу полка.

Тихие улицы Козельца оживились. У калиток толпились, перешептываясь, люди. Ватаги мальчишек, сбежавшихся со всего города, шныряла здесь и там...

Как узнал потом Яковенко, кто-то пустил слух, что сейчас богунцы будут расстреливать пленных петлюровцев...

Тревожное настроение передалось и пленникам. Это было заметно по той напряженной тишине, которая наступила сейчас же, как только Яковенко начал выстраивать их в две длинные шеренги.

— Грудь четвертого человека... Грудь четвертого человека... — передавалось шепотом по рядам.

Люди подтягивались, равняли носки.

Дверь штаба отворилась.

— Смирно! — крикнул Яковенко.— Равнение на середину...

Щорса сопровождали комиссар полка и командир второго батальона.

Щорс был, как всегда, аккуратен и подтянут. Темно-зеленая суконная фуражка была надвинута на лоб. Черная кожаная куртка крест-накрест перехвачена боевыми ремнями. Он шел легким размашистым шагом, как-то сразу охватывая взглядом выстроенных перед ним людей.

И вдруг щемящее чувство почти физической боли ощутил Яковенко. Лицо Щорса было бледно той нехорошей восковой бледностью, которую Яковенко не раз приходилось видеть у тяжелораненых людей. Багровые пятна лихорадочного румянца пылали на скулах...

Яковенко знал и раньше, что у комполка больные легкие, но как-то невольно забывал об этом, видя его всегда бодрым, подтянутым, заражающим бойцов своей неукротимой энергией. И только теперь он понял, какого волевого напряжения стоило этому человеку превозмогать обострившуюся от боевых трудов, походной жизни и бессонных ночей болезнь...

Щорс круто остановился, прочно уперев в землю стройные ноги в мягких хромовых сапогах. Он смотрел в упор на пленных, и многие из них не выдерживали взгляда его ярких глаз и опускали взор долу. Замерла, затаила дыхание толпа любопытных.

Тогда заговорил Щорс, и голос его звучал так властно и твердо, что Яковенко мгновенно забыл, что это говорит измученный тяжелой болезнью человек.

— Чув я, хлопцы, что новый пан гетман объявился на нашей родной земле... Снова продал Петлюра бедных селян польским панам, продал, проклятый, Украину французским, английским и греческим щукам, как продавал раньше кайзеровским генералам...

Щорс сделал шаг вперед, и горькая насмешка прозвучала в его голосе:

— Но вам-то, вам, своим темным, обманутым защитникам, он, верно, не сказал, Иуда, сколько сребреников получил за свое гнусное дело. Не сказал и не скажет... Но зато мы, красные бойцы, скажем вам всю правду, чтоб знали вы, кто друг трудовому селянству и кто враг... Не пановать больше панам на Украине... Мы, сыны ее, бедные труженики, голову положим, а ее защитим, чтобы невиданным урожаем заколосилась на ее земле пшеница и на свободе была сжата вольным крестьянством, а не жадными кровопийцами-грабителями — кулаками, помещиками... Это говорим мы, братья русских рабочих и крестьян, показывающих нам дорогу к победе, братья всем, кто борется за освобождение трудящихся... А кто

же братья проклятого Петлюры?.. Польские шляхтичи, украинские живоглоты-кулаки, царские генералы, французские банкиры, английские да американские буржуи... Вот кто его родня. Так пусть не говорит «гоп», пока не перескочит. Лужа для него уже готова, для нового панагетмана буржуйского. Не доносить ему штанов до будущего лета...

Щорс замолк на минуту, и вдруг задорная улыбка осветила его лицо.

— Правильно я говорю, хлопцы?

И словно какая-то чудесная сила всколыхнула стоявших неподвижно людей. Они сломали ряды, лезли вперед, размахивая сорванными с голов шапками, кричали:

— Правильно!..

— Нехай сдохнет тот Петлюра...

— Не то мы по своей воле?..

— Мобилизовали нас сечевики...

— Казали — расстреляют, кто не пойдет...

Многие пытались рассказать что-то дорогое, важное о своих мыслях и чувствах, потому что простые, ясные слова этого минуту назад страшного, загадочного человека, державшего в своих руках их судьбу и жизнь, вдруг дали неопровержимый ответ на их тайные думы и сомнения...

Поднятой вверх рукой Щорс снова установил тишину и порядок...

— Так вот, хлопцы, теперь решайте сами,— сказал он.— Кто хочет, пусть остается с нами. Кто не хочет — пусть отправляется домой. Не держу! А оставшихся после проверки волью во вновь сформированную роту и в командиры дам лучшего своего героя — уже известного вам товарища Яковенко...

И снова гул приветственных голосов покрыл слова Щорса.

— А кто не хочет воевать, не держу,— продолжал он.— Пусть идет домой и расскажет своим соседям и односельчанам все, что видел и слышал сегодня...

Кончив свою речь, Щорс повернулся, сделал несколько шагов к стоявшей в стороне под конвоем кучке командиров петлюровского отряда. Лицо его стало твердым и жестким.

— Ну, а вы что головы повесили? — спросил он с недоброй усмешкой.— Верно, знает кошка, чье мясо съела — так, что ли, паны добродии?.. Ладно уж, не печальтесь, хотя до сих пор я вашего брата беспощадно расстрели-

вал, но на этот раз оставлю вас в живых. Дарую жизнь за то, что в сегодняшнюю ночь покорно сложили оружие и не загубили ни одного из моих орлов... Но помните — кто еще раз пойдет против трудового народа, тому не будет ни пощады, ни снисхождения...

С восторгом слушая все это, Яковенко чувствовал, как его мягко охватывает теплая волна усталости. Был он способен сейчас лишь на то, чтобы дойти до койки и заснуть крепко, без всяких сновидений. Но знал он при этом, что прошедшая ночь и сегодняшний день навсегда останутся в его памяти.

Все же он подтянулся и постарался придать себе бодрый вид, когда увидел приближающегося к нему Щорса.

— Благодарю тебя, товарищ Яковенко,— сказал Щорс.— Надеюсь, что в боях за Киев ты со своей ротой покажешь пример революционной доблести и беззаветного геройства.

Щорс задержал в своей горячей ладони руку Яковенко, пристально вглядываясь в его лицо.

— А теперь, товарищ комроты, даю тебе отпуск на сутки. Иди и отсыпайся...

— Товарищ Щорс! Мне один лишь часок вздремнуть,— сказал Яковенко.— Ей-богу, больше не потребуется. А там хоть до самого Киева пеший пойду. Только поскорей давайте приказ о наступлении.

Потом жал руку Зубов. Он был доволен. Поздравляя с назначением, хлопал по плечу, скаля крепкие зубы в ослепительной улыбке.

Отступив на шаг, еще раз окинул Яковенко взглядом недоверчивого восхищения и покачал головой:

— Ну, и змей же ты, Яковенко...

СКВОЗЬ ВРАЖЬИ ЗАСТАВЫ

1

Вторые сутки находился Федька Дынин неотлучно при Щорсе. Да не просто так, а ординарцем. По личному распоряжению комбрига.

Вчера утром прискакал в Пуховку, во второй батальон, рябой Савченко с пакетом из штаба полка. Пока комбат читал приказ, бойцы высыпали на улицу в ожидании новостей, так как шел слух, что еще с ночи под Броварами первый батальон богунцев вступил в бой с противником

— Эй, Дынин! — окликнул Федьку комроты Яковенко.— Ступай, получишь в трофейной команде коня. Щорс тебя в кавалерию произвел.

— Кого? Меня? — не поверил Федька. — Любите вы шутковать... И что вам за охота?

— Тебя, тебя! — подтвердил Савченко, подтягивая подпругу на своем звероватом караковом жеребце.— Прихвати, говорит, Дынина с собою. Подходящий будет из этого хлопца ординарец...

И только теперь сообразил Федька, что Яковенко не шутит. Ведь еще в тот день, когда Яковенко докладывал Щорсу о ночном бое в Мостище, а Федька, усталый, но подтянутый, стоял в строю, командир богунцев обратил на молодого бойца свое особое внимание.

— И Дынин с вами в Мостище ходил? — спросил он тогда командира взвода.

— Так точно, товарищ комполка! — по всей форме отчеканил Яковенко. — Федор Дынин был в самых первых рядах, как подобает красному бойцу. Геройский хлопец — побольше бы нам таких!

Так неожиданна была для Федьки эта похвала из уст придирчивого комвзвода, высказанная в присутствии самого Щорса, что он, растерявшись, только и смог выговорить:

— Да разве я что... Я как все.

Но Щорс, словно бы не заметив его смущения, сказал:

— Хвалю за скромность!

И, обратившись уже ко всем бойцам, ходившим в разведку, распорядился, чтобы всем им был предоставлен суточный отдых.

Перед тем как отправить к Щорсу, дали Федьке гнедую кобылку, отбитую у петлюровцев, на вид неказистую, но резвую.

— А шашку? — напомнил хлопец.

— Хорош и так! — сказал Савченко. — Смотри, какой ферт!

Изогнувшись, он слегка подогрел Федькину лошадь тяжелой ременной плетью.

Кобылка высоко взбрыкнула тонкими ногами, едва не сбросив в сугроб своего седока, и пошла следом за караковым жеребцом месить снег частой, убористой рысью.

Вот так вступил Федька в свою новую должность.

Ординарцев на этот раз собралось при Щорсе без малого десяток. Бой заварился большой, и дела хватало всем. То один, то другой всадник, получив приказ, круто

поворачивал коня и, взяв с места в карьер, исчезал за деревьями перелеска, оставляя за собой курящееся облачко снежной пыли.

На окраине Броваров шла ружейная перестрелка. Временами ухали орудия, нащупывая позиции противника. По ту сторону станции слышались гудки паровозов: там выгружались из эшелонов петлюровские резервы.

Погода разгулялась. Метель улеглась еще под утро, и с востока задувал крепкий морозный ветерок, горяча дыхание и поддавая бодрости тем, у кого еще не проветрилась от сна голова.

Следом за Щорсом трусил Федька на своей гнедой кобылке, и вид у него был, прямо сказать, орлиный. Шапка сбита на затылок. Левая рука калачиком подпирала бок. Шашки вот только не хватает. И хлопец нет-нет да и взглянет с обидой на Савченко, на его суровое лицо, исклеванное частыми оспинами. «Идол рябой», — кабы не он, была бы и шашка...

Впрочем, зла у Федьки на Савченко нет. И без шашки ему сегодня хорошо. Впереди едет Щорс, несколько дней назад назначенный командиром бригады. Как всегда подтянутый, в ладно подогнанной шинели, перекрещенной боевыми ремнями. В седле сидит как влитой. Глаза под надвинутой на брови темно-зеленой фуражкой будто светятся изнутри ясным огнем. За Киев бой идет — последний и решительный. Всем врагам проклятым будет тут могила..

Только вот синева вокруг глаз комбрига стала еще гуще. «Видно, и поспать человеку некогда, — сочувственно думает Федька.— И то сказать — всюду поспеть, со всем управиться надо...»

В руке у Щорса новая нагаечка — подарок батька Боженко. С красным махром, из черных ремешков вчетверо плетенная. Вместо ручки — оленья ножка с маленьким точеным копытцем. От нее Федька не в силах оторвать глаз: «Эх, мне бы такую!..»

По левую руку от комбрига, с небрежной ловкостью развалясь в седле, едет цыгановатый красавец Кащеев, начальник пулеметной команды. Усмехаясь, слушает, что говорит Щорс, зорко охватывая взглядом все вокруг. Знает, не подведут его «пожарники», когда придет их черед.

Справа — комиссар Исакович, назначенный в бригаду из Таращанского полка,— Федька его еще у батька Боженко видел. Высокий, худой, он сутуло сидит на костлявой кобыле, поеживаясь от морозца в своей долгополой, ветром подбитой шинели. Немало повидал на своем веку

человек, хотя воинской выправки и не приобрел. Но бойцы уважают комиссара за справедливость и спокойную храбрость. Всегда одинаков Исакович: и в походе, и на привале, и в бою под пулями. В любом деле разберется неторопливо, толково, на совесть, не заносясь перед людьми...

Щорс тронул коня и рысью въехал на невысокий, поросший терном пригорок.

Отсюда были хорошо видны далекие крыши станционных зданий, накрытая снеговой шапкой водокачка, горбатая спина вражеского бронепоезда, выползавшего из-за пакгаузов.

— А! Сдается мне, старый знакомый! Встречались уже...— промолвил Щорс.— Его Петлюра на сало у немцев выменял.

— Хорошая игрушка, ничего не скажешь, — заметил Исакович, рассматривая в бинокль серую махину, ощерившуюся орудийными и пулеметными стволами.

— Последнее слово немецкой техники: четыре орудия, шестнадцать пулеметов. Повсюду, даже на подсобных помещениях для орудийной прислуги, двойная броня, — пояснил Щорс.

— Все равно наш будет! — уверенно ввернул Кащеев.

— О том еще позаботиться следует. Галушки сами в рот не падают...

У передней башни бронепоезда сверкнул огонь, и слева, над перелеском, заклубилось белое облачко шрапнельного разрыва. Второе... Третье...

— Наугад бьет. Для острастки.

— А не подкинуть ли нам в ответ огоньку? — спросил, загораясь боевым пылом, Кащеев.

— Пускай хвост вытянет за семафор. Мы сперва по выходным стрелкам ударим...

— Правильно! — сказал Исакович. — Отсечь от своих. Лишить взаимодействия с пехотой.

Щорс вырвал из записной книжки листочек, написал несколько слов.

— Эй, Дынин! — крикнул Кащеев. — Сынь на батарею к Горбаченко. Да живо! Одна нога тут, другая там! Аллюр три креста! [1]

— На словах добавишь: огонь не открывать, пока знак не подам, — сказал Щорс.

---

[1] Аллюр три креста — наивысшая быстрота доставки приказа или донесения.

— Будет исполнено! — радостно отозвался хлопец и крепко поддал каблуками под бока своей лошади.

Кобылка взбрыкнула копытами, засыпав Кащеева крупными комьями снега, но с места сдвинуться не захотела.

— Тьфу, черт! Не кобыла, а чистая гаубица! — ругался, отряхиваясь, Кащеев. — Да погоняй ты ее, дьявола!

— Но, ленивая! — отчаянно закричал Федька, сгорев от стыда.

Услышав его жалобный голос, кобыла словно пожалела хлопца и послушно зарысила вниз с пригорка.

Батарея Горбаченко стояла неподалеку, укрытая в ложбине, и Федька справился с поручением за пять минут.

Когда хлопец вернулся, Щорс, достав из полевой сумки карту, сверял ее с местностью. Кащеев и Исакович вплотную, голова к голове, съехались к нему.

Ровной стеной вставал правее Броваров густой сосновый лес, уходя вдаль, к Вигуровщине и Зазимью. Щорс указал в его сторону нагайкой:

— Сюда петлюровцам ходу нет. Все дороги перехвачены Зубовым. Сунутся в лес — обожгутся...

Он заговорил тише, и до Федьки долетали лишь отдельные слова.

— Дымерку прикрыть надежней... Сюда ждать удара... Десятка два пулеметов... До поры скрытно...

Вражеский бронепоезд выползал на насыпь медленно: то останавливался, то, будто раздумав, подавался назад. Все чаще вспыхивали желтым огнем его башни. Гул выстрелов почти сливался с разрывами снарядов.

Федька во все глаза смотрел то на бронепоезд, то на Щорса. «Вот так... Вот так... Кабы еще вперед подался немного...»

— Пожалуй, в самый раз! — сказал Щорс и, оборотясь в сторону батареи, поднял вверх руку с зажатой в ней нагайкой.

Батарея ударила дружно из трех орудий сразу. Снаряды со злобным шелестом пошли в сторону станции. И одновременно Федька услышал другой звук: будто совсем рядом что-то звонко лопнуло, на мгновение оглушив его. Кобылка присела на задние ноги и стала пятиться, прядая ушами.

— Тпру! Стой!.. — зашипел на нее Федька, до смерти перепуганный, что снова станет общим посмешищем.

Но никто не оглянулся на него.

Все смотрели, как позади вражеского бронепоезда, под-

нимая лохматые копны дыма и земли, рвались фугасные снаряды.

— Неплохо! — сказал Щорс. — Горбаченко им покажет, почем пуд лиха!

Батарея била раз за разом. Снаряды рвались на железнодорожных путях, взбрасывая кверху обломки шпал. Бронепоезд подался назад, дернулся, остановился. Горбаченко ударил по нему прямой наводкой.

— А где твоя нагайка, товарищ комбриг? — спросил вдруг Исакович.

Щорс с недоумением посмотрел на зажатую в руке оленью ножку. Ни красного махра, ни ременного плетения на ней не было.

— Смотри-ка!..

Кащеев протянул руку, пощупал. Усмехаясь, помотал головой:

— Начисто! Как бритвой срезало. Ну, счастье твое, Николай! Видно, как раз над головой у тебя осколок прошел. Чуть бы пониже...

Он не договорил, только присвистнул, давая понять, что было бы тогда.

— То-то я думаю, что это в ушах звенит, — сказал беспечно Щорс, точно удивляясь такому забавному случаю, и тронул повод. — Жаль, не уберег подарка. Большое огорчение будет Василию Назаровичу.

2

Весь день бой шел, то нарастая, то спадая, не дав ни той, ни другой стороне решающего успеха. Не раз ходили в атаку петлюровцы, пытаясь расширить слишком тесный для них броварской плоцдарм и развернуть свои фланги, словно клещами сжатые Щорсом. Но крепко — не обойдешь и с места не сдвинешь — стоял второй батальон Зубова, перекрыв все дороги на Пуховку и Зазимье и грозно нависнув над западной окраиной Броваров. Немало полегло здесь, под вековыми соснами, вражеских солдат, пока не пропала у петлюровцев всякая охота соваться в лесную чащобу, где, казалось, сами деревья ощетинились злой сталью штыков.

Геройски сражались бойцы первого батальона, преграждая врагу дорогу на Дымерку и Семиполки, куда вдоль шоссе остервенело рвались сечевые стрельцы, прямо из эшелонов бросаемые в наступление Петлюрой. Схо-

дились врукопашную в ближнем бою, бились штыками и гранатой, контратакой отвечали на каждую атаку противника. Лишь после полудня приказал Щорс несколько оттянуть назад передовые роты, чтобы не нести лишних потерь от артиллерийского огня, в котором у Петлюры было значительное превосходство.

Сам комбриг целый день не сходил с коня, лично руководя боем. Был он осторожен и тверд в своих решениях и иной раз сдерживал боевой порыв бойцов и комбатов, выжидая, пока враг полностью не обнаружит свои силы и не втянет в бой все резервы.

Меж тем по нежинской железной дороге к станции Бобрик спешно подходили один за другим свежие эшелоны Таращанского полка, и уже ушел в направлении на Дударково, в глубокий обход Броваров, передовой батальон таращанцев под командой бесстрашного комбата Кабулы...

На закате солнца над позициями богунцев, отчаянно треща слабосильным мотором, пролетел вражеский самолет и сбросил наспех отпечатанные листовки. Приказывал в них Петлюра красным бойцам немедленно сложить оружие, грозясь пустить в ход будто бы полученные им от союзников страшные фиолетовые лучи, от которых слепнут у людей глаза.

От души потешались хлопцы над дурацкой выдумкой не раз уже битого прохвоста, сворачивая из листовок цигарки. С тех пор и поговорка в народе пошла: «Брешет, как Петлюра».

Ночью противник попытался захватить станцию Бобрик, где как раз шла разгрузка доставленных по железной дороге боеприпасов для Богунского полка. Две роты сечевиков скрытно, стороной, обошли Дымерку, но были замечены красными заставами, попали под перекрестный огонь пулеметов Кащеева и отошли назад, понеся немалый урон.

К штабу пригнали с десяток пленных. Среди них раненного в голову сотника из галичан. Допрашивал его сам комбриг.

Федька, наморясь за день, спал без задних ног в соседней хате на печи, когда его срочно позвали к Щорсу. Хлопец не успел и глаза протереть, как уже стоял перед комбригом.

Щорс сидел за столом, склонясь над картой. Напротив него на табуретке понуро жался пленный галичанин — чернявый, гладко выбритый человек в голубоватом авст-

рийском мундире, с головой, обмотанной ржавым от крови бинтом.

— Итак, вы утверждаете, что основные силы осадного корпуса Коновальца сегодня ночью выведены из Броваров и сосредоточены на участке Красновка — Требухово для внезапного флангового удара по нашим частям?

Щорс вскинул на пленного глаза, усталые от бессонной ночи, горячие и беспощадные. Смотрел в упор, не мигая.

— Так точно, пане командующий! — торопливо сказал сотник, поднимаясь на ноги.— Слово чести офицера...

— Насчет вашей чести разговор оставим! — оборвал его Щорс.— Честь свою вы навсегда замарали кровавыми расправами над трудящимся населением Киева... Но, если мне вы соврали хоть слово, я вас завтра расстреляю.

— Все, как есть, святая истина, пане командующий...— униженно уверял пленный.

Щорс велел его увести.

— Прибыл по вашему указанию,— робея, сказал Федька, у которого от услышанного разговора всякий сон как рукой сняло.

— Вижу,— сказал Щорс и, хмуря в раздумье брови, снова посмотрел на карту.

Пометил на ней что-то карандашом. Помолчал, спросил:

— Помнится, тебя Боженко и Кабула лично знают?

— Обои знают. Я, как пришел в Таращанский полк, так сразу к ним и заявился...

— Думаешь, помнят?

— А как же! Батько Боженко мне еще перед строем благодарность за разведку объявляли. Опять же потом, когда я бычка ненароком застрелил...

Тут Федька смутился и замолчал, сообразив, что напоминание об этом случае будет, пожалуй, не в его пользу.

Щорс понимающе посмотрел на него и сдержал улыбку:

— Я тоже думаю, что такого, как ты, не скоро забудут.

Федька скромно промолчал, хотя слова комбрига ему польстили.

— Так вот, Дынин,— сказал Щорс, выходя из-за стола,— поедешь в Дударково к Кабуле.

— С пакетом? — просиял Федька.

Мысленно он тотчас представил себе, как, осадив на всем скаку коня, вручает восхищенному его доблестным видом комбату пакет, запечатанный пятью сургучными печатями и помеченный тремя крестиками.

— Нет. В том-то и задача, что без пакета. С пакетом

поедет Савченко. Другой дорогой, в объезд. А ты — напрямик и без пакета.

— Как же так? — протянул огорченный Федька. — Разве это дело — без пакета, товарищ Щорс? Видно, не доверяете вы мне...

Щорс взял его за плечи, притянул к себе, заглянул в затуманенные обидой глаза.

— Когда б не доверял, зачем бы ты мне среди ночи нужен был? То-то и оно! Соображать надо.

И когда рассказал комбриг Федьке обо всем, что от него требуется, понял хлопец — и впрямь оказано ему большое доверие. Нужно было под носом у петлюровцев проскочить мимо Броваров, затемно добраться до Дударкова и передать комбату Кабуле слово в слово приказ Щорса, который нельзя доверить ни перу, ни бумаге.

— Разговор с галичанином слышал? — спросил Щорс.

— Слышал! — сказал Федька.

— Что же, по-твоему, нам делать надо?

— Упредить, товарищ Щорс. Первыми по ним ударить.

— Неплохо соображаешь...

Щорс, разминаясь, прошелся по хате.

— Расскажешь все Кабуле и передашь ему мой приказ: как только завяжут богунцы в Требуховке с противником бой, не медля ни минуты, форсированным маршем идти на Бровары, с ходу атаковать оставшихся там петлюровцев и занять поселок и станцию. Скажешь, что одновременно со стороны Зазимья на Бровары поведет наступление второй батальон богунцев под командой товарища Зубова... С сечевиками в Требуховке пускай не связывается, с ними мы управимся без него.

— Товарищ Щорс! — сказал, волнуясь, Федька, — а вдруг вам помощь потребуется? Их же, сечевиков, видно, много там, в Требуховке...

— О том не беспокойся, товарищ Дынин,— усмехаясь одними глазами, ответил Щорс. — Повтори-ка лучше приказ!

Федька повторил все без запинки.

— Молодец! — похвалил Щорс. — Поедешь на санях. Оружия никакого не брать. Вместо шинели наденешь кожух. Запомни на случай, если повстречается вражеский разъезд: служишь ты в работниках у пуховского попа отца Евстигнея. Едешь в Александровку за матушкой, которая гостит у тамошней попадьи. Везешь в подарок порося, корзинку яиц и горшочек меду... Сейчас тебя снарядят в дорогу...

И, подведя Федьку к карте, Щорс стал показывать и толковать ему, какой держаться дороги, объезжая Броварры...

— Запомни, Дынин,— сказал он на прощание, дружески положив руку на плечо хлопца,— чем раньше будешь ты в Дударкове у Кабулы, тем вернее будет наша победа и меньше поляжет под Броварами твоих товарищей — беззаветных красных героев. Об этом не забывай, Дынин. Не забывай ни на минуту... Даже...— Тут Щорс помедлил, словно ему трудно было высказать все до конца. — Даже — когда бы пришлось — то и перед лицом смерти...

Федька с достоинством выслушал комбрига, хотя сердце колотилось громко и слезы, сам не знает отчего, подступили к горлу. Радостно и тревожно было хлопцу. Хотелось сказать, что не ошибся Щорс в своем выборе, что оправдает Федька его доверие, смерти не побоится, под пулями пройдет, все стерпит...

Но, опасаясь нарушить неумелым словом торжественность неповторимой минуты, только спросил, чтобы придать ей еще больше строгости и воинской красоты:

— Какой аллюр мне положите, товарищ комбриг?

И Щорс, угадывая его мысли, ответил по-командирски четко, без насмешки:

— Аллюр три креста, товарищ Дынин!

3

Резво бежала запряженная в розвальни гнедая кобылка, поскрипывали на раскатах полозья да сонно похрюкивал пригревшийся в соломе поросенок, которому Федька нет-нет да и почешет пальцем за ухом — все веселее, когда рядом с тобой что-то живое шевелится.

С кобылкой своей Федька уже, можно сказать, свел дружбу: не шел наперекор ее строптивому нраву, а действовал уговором да лаской. Даже скормил ей тот заветный кусочек сахару, что третий день неприкосновенно таскал в кармане. Да надо сказать, что в упряжке и шла она охотнее, чем под седлом. К голосу Федьки привыкла, слушалась его...

Хотя до рассвета оставалось добрых часа четыре, все вдруг помутнело, будто подернулось туманом: видно, собирался осесть под утро густой иней.

Кругом было тихо. Лишь изредка прогремит вдали случайный выстрел, дробясь раскатится среди сугробов, и

снова тишина и покой воцарятся на земле. Примолкло, притаилось все и на нашей и на вражеской стороне.

Жутко хлопцу одному посреди поля. Бежит кобылка, мелькают копыта, нескончаемо плывет под полозья дорога.

— Но, милая... Но!.. Аллюр три креста...

Залаяли где-то в стороне собаки. Потянуло в морозном воздухе дымком. Хотя и не светится нигде огонька, знает Федька — по правую руку от него Бровары, по левую — Красиловка. Сейчас и перекресток со старой часовней будет. «Эх, пронесло бы...»

— Стой! Кто едет?

Двое маячат впереди — вражеская застава.

— Свои! — поспешно отзывается Федька.

Подходят с опаской, держа винтовки наготове.

— Кто такой? Куда едешь?

Федька отвечает как по-писаному:

— Попов работник. Отца Евстигнея из Пуховки. Может, слышали? В Александровку за матушкой еду...

— Покажь документы!

— Да какие у меня документы? — хнычет Федька. — Кто мне те документы даст?

Заслышав его голос, начинает повизгивать поросенок.

— И впрямь пацан! — говорит, приглядевшись к нему, высокий петлюровец в шинели и черной лохматой папахе. — Порося там у тебя, что ли?

— А то ж! Порося... Гостинец везу...

Второй петлюровец, постарше, одетый в добротный кожух, подвязанный домотканым поясом, молчит, недоверчиво шарит в санях.

— Чтоб на тебя погибель! — ругается он и вытирает руки о солому. — Яйца, должно быть, подавил.

— Что же вы, люди добрые, делаете? — жалобно подхватывает Федька. — Мне же теперь матушка все волосья повыдерет...

— А ты молчи! Дело военное, — говорит первый.

— До пана хорунжего его бы отвести, — замечает второй.

— На кой черт он пану хорунжему сдался?

— Может, про красных что расскажет...

— А я знаю — какие красные, какие нет? — выкручивается Федька. — По мне все одинаковы. Отпустите, дядько, будьте ласковы...

Второй петлюровец нащупал тем временем в санях горшочек.

— Тут что у тебя?

— Мед... Да не троньте, дядько!..

— Ишь ты какой! За поповское добро заступник.

— Да мне же матушка все волосья...

— А ну отъезжай! — грозно кричит петлюровец, завладевая горшочком. — Чтоб духу твоего не было!

Федька проворно хватается за вожжи. Кобыла легко берет с места рысью.

— Но, милая!.. Но!..

Пронесло на первый раз.

И опять поскрипывают полозья. Ныряют на ухабах сани. На совесть бежит кобылка по укатанной дороге. Эх, скорей бы... Еще скорей...

Промелькнул справа лесок, за ним дорога развилкой пошла: на Княжичи и на Требухово. Ехать Федьке надо на Княжичи, до одинокого хутора, а там завернуть влево, на Александровку. Пока не минует последнюю заставу, нельзя подаваться на Дударково.

Вот удивится Кабула, увидев Федьку. Может, сразу и не признает? Должен признать... И Федька, уже будто въявь, переживает скорую встречу с комбатом. Мысленно повторяет приказ Щорса. Верится, все будет хорошо...

Густеет белесая мгла, съедая и впереди и позади дорогу, замыкает сани в непроницаемый молочный круг. Будто на одном месте покачиваются сани и пляшет, высоко вскидывая копыта, гнедая кобылка. Стынут в рукавичках пальцы... Как бы в тумане мимо хутора не проскочить. Вот будет беда...

Кобылка вдруг шарахается в сторону. И сразу останавливается, схваченная под уздцы сильной рукой.

— А ну, слазь! — говорит хриплый, остуженный голос.

Человек шесть либо семь вырастают вокруг саней. Впереди старшой — в бекеше и смушковой шапке, в руке вороненый офицерский наган.

— Слазь! Оглох, что ли?

— Да я, дядечка, попов работник...— начинает Федька.

Никто не слушает его.

Человек в бекеше хватает Федьку за ворот, и хлопец летит носом в сугроб.

— Давай! Поворачивайся живо! — слышит он команду.

Выбравшись из снега, видит, как петлюровцы поспешно грузят пулемет, железные коробки с лентами, ящик с гранатами.

— Садись!..— хрипло кричит старшой и первый вскакивает в сани.

За ним размещаются остальные, теснясь и переруги-

ваясь между собой. На дорогу вываливается корзина, катятся, подпрыгивая, яйца. С визгом выскакивает поросенок, волоча связанные задние ноги.

Не помня себя, Федька кидается к саням.

Кто-то отталкивает его сапогом, и он, оскользнувшись, снова падает в снег.

Один из петлюровцев берет вожжи. Привстав, с размаху бьет по лошади кнутом. Кобыла, не трогаясь с места, привычно вскидывает задними ногами.

— Ах ты злыдня!

Удары сыплются один за другим. Кобыла лягается все злее, с треском задевает копытами по передку саней.

— Погоди! — говорит хрипатый.— Оглобли поломает. Он оглядывается на Федьку: — Эй, хлопец, поди сюда!

Федька с опаской приближается к нему, видит его сухое, горбоносое лицо с глубоко посаженными волчьими глазами.

— Что это с ней сталось?

— Она у нас всегда такая... С норовом...

— А ну, возьми ты вожжи.

Петлюровцы раздвигаются, очищая Федьке место. Хлопец стоит в нерешительности, косит по сторонам глазами. Как быть? А вдруг до утра не отпустят? Тогда все пропало.

— Садись! Не то кнута спробуешь...

Еще не соображая, что будет делать дальше, Федька садится в сани. Кто-то вкладывает ему в руки вожжи.

— Погоняй налево, мимо хутора! — слышит он голос хрипатого.

«Налево? Это ж, значит, на Александровку, ближе к Кабуле...» Смутная надежда согревает Федьку.

— Но! Но, милая! — понукает он кобылку.

Позади переговариваются петлюровцы:

— А много тех красных в Дударкове видели?..

— Кто их знает! Может, только разъезд заскочил.

— Вроде не должно их в той стороне быть.

— Про то пан полковник лучше знает, если велел заставу с пулеметом выдвинуть.

Проехали версты полторы. На перекрестке столб — две дощечки прибиты наискось, будто две руки раскинуты в стороны.

— Ступай посмотри, что написано, — говорит хрипатый сидящему рядом казаку.

Тот, переваливаясь на затекших ногах, бежит к столбу.

— Направо — в Александровку, прямо — в Дударково! — кричит он оттуда.

— Слезай! Приехали... Тут заставу приказано ставить.

Петлюровцы нехотя слезают с саней.

— Неподходящее место,— замечает один.— Со всех сторон открыто...

— Без тебя вижу! — обрывает его хрипатый и, оглядевшись, направляется к кустам, что смутно темнеют сквозь туман шагах в тридцати от дороги.

Двое петлюровцев идут следом за ним. Остальные топчутся возле саней, хлопают рука об руку, наскакивают друг на друга, сталкиваясь плечами. Стараются согреться.

Федька как завороженный смотрит вперед. Вот она — дорога на Дударково. А что, если...

Он тихонько перебирает вожжи. Кобыла поводит ушами, словно спрашивает: чего ты от меня хочешь?

«Даже — когда бы пришлось — то и перед лицом смерти...» — будто снова слышит он голос Щорса. Эх, была не была!

Сани легонько трогаются с места.

— Стой? Куда? — слышится сзади.

— Но, милая! Но, родненькая!.. — отчаянно кричит Федька.

Кобыла, закинув набок голову, кидается вскачь.

Петлюровцы бегут сзади. Один с разгона прыгает в сани, но срывается и, ухватясь за грядушку, волочится по дороге. Федька изо всей силы бьет его кнутовищем по голове и рукам. Он исчезает, будто его и не было вовсе.

Хлопают сзади выстрелы. Вж-жик!.. Вж-жик!.. — взвизгивают пули.

Федька втягивает в плечи голову, подается вперед. Еще немного, и спасительная ночная мгла поглотит его...

Ох, как сильно ударило в плечо, повыше лопатки... Не то с дороги ледышка отлетела? Нет сил оглянуться... Клонится голова... Что-то теплое ползет вниз по спине...

— Но, милая!.. Но, родненькая!..— холодеющими губами стонет хлопец, чувствуя, как сковывает все его тело внезапно возникшая нестерпимая боль. — Аллюр три креста... Аллюр... три креста...

4

Нет, не видел Федька, как ликовал трудовой Киев. Как, перейдя поутру Цепной мост, двигались через Печерск к Бибиковскому бульвару Богунский и Таращан-

ский полки, развернув по ветру боевые, пулями простреленные знамена. Как впереди своих бойцов на горячих конях, рядом, стремя в стремя, ехали Щорс и Боженко — прославленные народом герои.

Огнем полыхали вывешенные из окон красные полотнища. Гремели оркестры, шли отбитые в Чернигове у гайдамаков броневики, громыхала по мостовой захваченная в Броварах у Петлюры артиллерия. Из тысяч уст вырывались приветственные крики: «Да здравствует власть Советов!.. Слава народному революционному войску!.. Красной Армии слава!..» И шапки птицами взлетали в воздух.

А на стенах повсюду уже виднелось воззвание вышедшего из подполья Киевского Совета: «Директория изгнана из Киева. Красные советские батальоны вступают в город. Именем Временного рабоче-крестьянского правительства Украины объявляем власть Киевского Совета рабочих депутатов восстановленной».

И хотя пасмурным было небо и порошил легкий снежок, всем казалось, что по-весеннему ярким солнцем был озарен тот незабываемый прекрасный февральский день...

Но ничего этого не видел боец второго батальона Богунского полка Федор Дынин. Под вечер, в хвосте медленно ползущего обоза, на крытой брезентом лазаретной фуре, его, недвижимого, привезли в Киев и сдали на попечение в Печерский госпиталь.

Густая непроглядная тьма окутывала Федьку со всех сторон, непомерной тяжестью давила на грудь, душила в своих черных объятиях. И вдруг среди той тьмы вставали чудовищно яркие картины, ужасом наполняя Федькину душу и заставляя его с криком метаться в горячечном бреду.

Сверкая горящими, как угли, глазами, надвигалась на него волчья харя хрипатого петлюровца, и нельзя было от нее укрыться. Со свистом взлетал ременный кнут, и безжалостные удары обжигали спину хлопца. Нестерпимой становилась боль. И чувствовал Федька, что уже не кнут, а волчьи зубы впрызаются в его тело, рвут, терзают его... Но знал он: нельзя уступить, нельзя поддаться. Щорс ждет его. Страшная беда нависла над Богунским полком, и только от Федьки зависит его спасение. Вырваться надо, бежать, оповестить Щорса... Но все глубже входят в тело волчьи зубы, палят огнем, прожигают всего насквозь. Нет больше сил...

Вдруг на караковом жеребце появляется Кащеев. Пламя пышет из конских ноздрей прямо Федьке в лицо.

«Аллюр три креста!» — громовым голосом командует Кащеев, и под Федькой сразу оказывается гнедая кобыла. «Но, родненькая!..» — кричит хлопец, припадая к ее шее. И кобылка мчится, летит вперед, едва касаясь копытами земли. Дух захватывает у Федьки, бешено колотится сердце. А сзади, настигая, гремит голос Кащеева: «Аллюр три креста!.. Аллюр три креста!..»

Кобыла все убыстряет бег. Глядь, уже не скачут они, а летят над безлюдными, снегом укрытыми полями, на страшной погибельной высоте. Замирает готовое оборваться сердце: сверзишься отсюда — костей не соберешь... Откуда-то из мглы опять выплывает волчья харя хрипатого, скалится, щелкает зубами. «Стой!» — кричит Федькин враг и цепкой рукой хватает под уздцы кобылу. Страшный толчок выбрасывает Федьку из седла, и он турманом летит вниз. Падает, падает, падает в черную, бездонную пропасть, где нет и не будет уже больше ничего... «А как же Щорс?» — вдруг молнией озаряя готовую сомкнуться тьму, вспыхивает беспокойная мысль, снова возвращая Федьку к жизни...

И вот уже не падает он, не летит вниз головой навстречу неминуемой смерти, а неподвижно лежит на лавке в незнакомой хате, тускло освещенной дымным каганцом. Низко склоняется над ним встревоженное лицо комбата Кабулы. Прохладная рука гладит пылающую голову. «Успел, значит... Успел»,— догадывается Федька. Собрав последние силы, он приподнимается на локте и слово в слово повторяет приказ Щорса...

Все же пришел наконец день, когда открылись у Федьки глаза и он ясным, не затуманенным болью и горячечными видениями взглядом посмотрел перед собой. Увидел высокую больничную палату, морозными узорами разукрашенное окно, рядом со своей койкой другую койку покрытую серым солдатским одеялом. На ней сидел чернявый паренек с веселой озорной рожей и аппетитно жевал поджаристую краюху черного хлеба. Заметив, что Федька пришел в себя, паренек слез с кровати и, поджимая забинтованную ногу, точно молодой петушок, запрыгал к нему.

— Ну и здоров же ты спать! — сказал он, усаживаясь рядом.— Которые сутки все спишь да под нос себе бормочешь. Я, брат, думал уже, что ты вовсе не проснешься... Есть небось охота? А?

Он щедро переломил надвое краюху и сунул кусок Федьке.

Разговаривал паренек так, словно знал Дынина давным-давно. А тот с изумлением глядел на своего соседа и пытался вспомнить, как же попал сюда. Спросил, с трудом двигая непослушными губами:

— Где я?..

— В Киеве. В госпитале. Продырявил, брат, тебя Петлюра.

— А Щорс?

— Что Щорс?

— Где Щорс, спрашиваю?

— Щорс теперь комендантом Киева. Революционные порядки наводит.

Федька передохнул и снова спросил:

— А ты кто?

— Я? — дружески осклабился паренек.— Я — Коська...

— Почему Коська? — не понял Федька.

— Ну, зовут меня так. Коська... Константин Баринов. Вот ты какой бестолковый!

— Да у нас в Щербиничах... коськами жеребят кличут. А ты же все-таки... вроде как... хлопец...— с передышкой выговорил Федька.

Было ему очень смешно, но засмеяться не хватило силы, и он, чтобы справиться с подступившей слабостью, на минуту закрыл глаза. Тотчас койка под ним закачалась и куда-то поплыла.

— Тебе что, парень, опять худо? Погоди, я сейчас Катю позову...— услышал он будто совсем издалека встревоженный голос Коськи.

Когда Федька снова пришел в себя, над ним стояла, склонясь, круглолицая и румяная девушка с улыбчатыми карими глазами, одетая в белый халат и повязанная белым платочком с красным крестиком.

Она умелой рукой приподняла Федькину голову и влила ему в рот ложку какого-то горького снадобья, от которого у хлопца свело язык. Но он послушно проглотил все и, чувствуя несказанное облегчение в изболевшемся теле, улыбнулся радостно и бездумно. Хорошо было смотреть на дневной свет, лившийся из разрисованного морозцем окошка, на румяную заботливую девушку у своего изголовья, на Коськину отчаянную рожу, выглядывавшую из-за ее плеча.

— Смотрите, весело ему стало,— сказала девушка и легонько прижала пальцем задранный кверху веснушчатый Федькин нос.— А давно ли пузыри со дна пускал? Ну, милый мой, видно будешь ты теперь до ста лет жить.

Коська Баринов оказался хлопцем что надо. Подходящим хлопцем.

Был он на год старше Дынина. Родом из Мелитополя. Сын сцепщика с железнодорожной станции. И сам уже подручным слесаря годок в депо проработал.

Прошлой зимой, когда шел из Севастополя на выручку к пролетариату Киева, восставшему против Центральной Рады, матросский отряд Андрея Полупанова, прибился к нему и Коська. Ездил пулеметчиком на бронепоезде, служил в конной разведке, дважды был ранен, сидел в тюрьме у Петлюры, и, видно, не уйти бы ему от расстрела, когда бы не освободил Киева Щорс.

— Неужто и в тюрьме был? — не поверил Федька.

— В самой цитадели сидел,— не без гордости ответил Коська.— Во втором секретном отделении...— Он нахмурил реденькие колючие брови, вспоминая недавнее.— Ох, и били меня там. Один живорез штыком ногу проткнул...

Лицо его потемнело, рот поджался, как от боли, а в глазах засветилась такая злость, что Федька остерегся расспрашивать дальше. Но Коська, помолчав, заговорил сам:

— За прокламации они меня. Ну, за воззвания... За то, что воззвания ревкома по городу клеил. Все допытывались, откуда листовки взял. Где подпольная типография помещается...

— Ты же не сказал?

— Дождались бы они от меня, гады, хоть слова... Комсомольцы, брат, умирают, но врагу не продаются.

— А ты, Коська, комсомол? — выждав немного, нерешительно спросил Федька.

— Ну да, комсомолец,— подтвердил Коська.— Ты чему удивляешься?

— Да я так... Ничего...

— Тебе, брат, тоже записаться в комсомол надо,— сказал Коська, строго взглянув на него.— Красный боец. На деле проверенный, можно сказать.

Федька замялся, ответил не сразу:

— Я подожду...

— Чего ждать?

— Так...

О комсомольцах Федька слыхать слыхал, но встречаться с ними ему не доводилось. Да и само слово было еще новое, с непривычки не выговоришь. Говорили про комсо-

мольцев разное, но больше — хорошее. Будто это самые боевые хлопцы, везде первые — и в бою под пулями, и во всяком другом деле, — словом сказать, большевики, только еще молодые. А там, кто их знает, так ли это?

Держался Федька первое время с Коськой Бариновым настороже, приглядывался к нему.

Вскоре повелось у них так. Как только закончит свой обход усатый доктор Петр Иванович, накричит на курильщиков и наведет порядки в палате, выждет Коська, пока закроется за ним дверь, и, не теряя времени, переберется на койку к Федьке. Усядется в ногах, и сама собой пойдет у них беседа. Собственно, Федька больше молчит да слушает. Не пришло еще его время — побаливает рана, да и сил маловато. К тому же и Петр Иванович строго-настрого запретил ему всякие разговоры.

Случается, зайдет в палату сестра Катя, постоит возле Федькиной койки, послушает, что рассказывает Коська, покачает головой и, вздохнув, певуче скажет, будто песню споет:

— Эх, хлопчики вы мои любые, и кто вас таких повыдумал?.. Вам же еще по вашим годам из рогаток воробьев бить... Ох, и жалко мне вас, хлопчики, прямо не знаю как... Все же ступай-ка ты, Коська, на свою койку, не тревожь, не раззадоривай Дынина. Не видишь разве, покой нужен хлопцу? А не то надеру я тебе когда-нибудь уши, не посмотрю, что ты такой герой!

Эти разговоры смерть как не нравились Коське.

— Ладно уж, ладно... — ворчал он.— Пошла-поехала...

Однако вставал и послушно ковылял восвояси.

Сестру милосердия Катю Коська уважал: была для этого немаловажная причина. Своей заботой и терпеливым уходом сохранила она Коське загноившуюся в тюрьме раненую ногу, которую совсем было уже решил отрезать по колено доктор Петр Иванович.

А может, кроме того, в душе и побаивался Коська, что вдруг возьмет да и перейдет она от слов к делу и доберется-таки до его ушей...

Но, кроме Кати, Коська никого на свете не боялся. Так по крайней мере думал Федька. Чувствовал он, что этот чернявый, наголо остриженный хлопец с насмешливым упрямым ртом и озорными, раскосыми глазами крепче и боевее его. Порой позавидовать был готов. Но в чем главная Коськина сила, разгадал не сразу.

Спросил как-то Федька своего приятеля, откуда взял-

ся у него на голове шрам, что розовой морщинистой бороздой шел через висок до самого уха.

— То, брат, длинная история! — сказал Коська и по обыкновению перебрался на Федькину койку. Пристроил поудобнее больную ногу и начал рассказывать, как был ранен первый раз.

Случилось это в Киеве год с лишним назад, в январе восемнадцатого. Отряд Андрея Полупанова, переправясь по льду через Днепр и заняв товарную станцию и рабочую слободку Демеевку, вел уличный бой с сечевой гвардией Петлюры, пробиваясь по Большой Васильевской к Крещатику. Только Коськи в тот раз с братвой не было вместе. Оставил его Полупанов охранять штаб отряда на Демеевке.

— А что там охранять было — одни голые стены! — даже сейчас вспоминал с обидой Коська.— То Андрей Васильевич нарочно примудрил. Сердит был на меня: будто бы я всегда вперед других лезу...

Крепился Коська до тех пор, пока не увидел, что все больше прибывает раненых бойцов, которых тут же разводили по своим домам жители рабочей Демеевки. Тогда собрал он до сотни слободских ребят, таких же, как и сам, почти подростков, что с утра кучками толкались возле матросского штаба, и поспешил на помощь Полупанову.

— У иных оружие дома нашлось, а другим раненые матросы свои винтовки отдали,— пояснил Коська.

— И пошли они за тобой? — усомнился Федька.

— Само собой. Ребята же свои — рабочий класс. Ну, понятно, пришлось мне агитнуть.

— А я бы, видно, не сумел,— признался, подумав, Федька.

— Ты — другая статья, —сказал Коська.

— Почему другая? — спросил задетый Федька.

Но Коське не хотелось обижать товарища.

— Да так... К слову пришлось...— промолвил он и хотел продолжать рассказ.

— Нет, ты погоди! Скажи — почему другая? — наседал Федька.

— Ну, когда хочешь знать, гайка у тебя еще слаба.

— Это почему же?

— Потому. Революционной закалки не хватает. Сознания маловато. Вот скажи, к примеру, за что ты воюешь?

— Я? Чтоб Петлюру разбить.

— А еще за что?

— Ну, чтобы панов не было. И той самой... мировой буржуазии.

— И все?

— А чего ж еще? — искренне удивился Федька.

— Вот то-то и оно,— снисходительно ухмыльнулся Коська.

— Не то ты больше меня знаешь?

— Может, и знаю...

— Подумаешь!

Федька сердито фыркнул и отвернулся к стене. Было ему очень обидно, хотя он и сам толком не знал, по какой причине.

— Да ты чего осерчал? — миролюбиво окликнул его Баринов.

Федька промолчал. Заныла вдруг рана. К разговору пропала всякая охота.

Баринов подождал, посвистел «Варшавянку». Легонько подергал Федьку за ногу.

— Эй, чудило-мученик!

Федька не отозвался.

Тогда Коська, тоже рассердясь, слез с койки и запрыгал к себе.

6

А на утро пришли дорогие гости. Ох и обрадовался Федька, завидев в дверях Мишку Кононенко и Лариона Петровича! Готов был с койки сорваться им навстречу. Но сестра Катя его быстро утихомирила.

— А ну, лежать смирно, не то свиданья не допущу! — сказала она, силком укладывая его обратно.— Ишь какой прыткий!

— Да мы Федьку знаем: хлопец послушный... Как порося в мешке,— посмеиваясь отозвался Ларион Петрович и крепко, по-родственному, расцеловался с Федькой.— Вижу, вижу, совсем хворый — через силу лежит и без памяти есть просит. Ну-ка давай, Михаил, посмотрим, что там у нас припасено...

Кононенко скинул с плеча увесистую сумку и стал выкладывать перед Федькой принесенные дары. Чего тут только не было! И добрый кусок розового сала, и запеченная на горячем духу домашняя колбаса, и янтарем отсвечивающая гусиная гузка. Были тут и ватрушки, и ржаные пряники с медом, и целый мешочек каленых грецких орехов.

— Кой-кто из наших хлопцев на побывку домой ездил, вот и понадавали тебе в гостинец,— сказал, будто оправдываясь, Мишка.

Счастливыми глазами глядел Федька на своих гостей. Смотри, не забыли о нем...

— О твоем подвиге молва среди хлопцев идет,— говорил Мишка Кононенко, то и дело встряхивая спадавшим на лоб волнистым чубом и дружески улыбаясь из-под него Федьке.— Будто одолел ты целую петлюровскую заставу на дороге в Александровку. Двоих, не то троих на месте положил, а к Кабуле все же пробился.

Хотя и приятно было услышать о себе такие слова, но почему-то на этот раз не мог Федька воспользоваться незаслуженной славой. Сказал тихо:

— Так со мной же и винтовки вовсе не было...

И, скупясь на слова, ничего не прибавляя, рассказал, как все тогда случилось.

К удивлению его, Ларион Петрович и Мишка не были разочарованы.

— Так, говоришь, сперва легонько тронул с места, а потом — была не была — выручай, милая? — с интересом спросил Ларион Петрович.

— Ага,— сказал Федька.

— И не страшно было?

— Сперва вроде не очень, только пули над головой — вж-жик! вж-жик!.. А когда задела одна, тогда страшно стало. Думаю, пропало все, не доехать мне...

— А знаешь, что бы они с тобой сделали, когда бы поймали?

— Так то — когда бы еще поймали...— сказал Федька.

Ларион Петрович от удовольствия по колену себя хлопнул.

— Нет, ты видал, Михаил? Ну, спасибо, Федько, разуважил ты меня. Вижу, не ошибся в тебе.

Мишка Кононенко рассказал, как съездил на два дня в отпуск в Щербиничи. Сообщил все сельские новости.

— У нас, брат, теперь все по-иному повернулось. Панскую землю советская власть обратно крестьянам отдала. Только вот тягла у людей маловато, не то управятся весной с посевом, не то нет... Матрос Петро Кучеренко живой объявился, хотя и без руки. На колчаковском фронте потерял... В председателях комнезама[1] ходит. Кулачье так поприжал, что и не пикнут... Батько твой то-

[1] Комнезам (укр.) — комитет бедноты.

же теперь в комнезаме. И днюет и ночует там. Первым помощником у Кучеренка сделался. Хату свою совсем забросил. Спасибо, старая Горпина иной раз приглядит... О тебе батько очень тревожился. Велел, чтобы ты ему из госпиталя отписал.

И грустно и радостно было Федьке от Мишкиного рассказа.

Вспоминались далекие и такие милые сейчас сердцу Щербиничи, родная хата, где каждый уголок хранил в себе память о невозвратном детстве, худенькая хворая мать, с ее ласковыми руками, молчаливый батько, придавленный к земле тяжкой трудовой жизнью, но всегда таивший в душе мечту о человеческой справедливости... Старая Горпина, маленькая Христя, Фома Клюй... Все недавнее вдруг стало перед глазами. Даже сердце защемило. Вот за это и он свою кровь пролил, чтобы пришлю наконец счастье к людям на землю и не миновало на своем пути затерянного среди лесов и болот, богом забытого села Малые Щербиничи...

— А мы, Федько, завтра выступаем,— сказал, поднимаясь, Ларион Петрович.— Первый батальон еще с вечера в эшелоны погрузился. На Казатин и Бердичев будем продвигаться. Опять зашевелился чертов Петлюра, чтоб ему, дьяволу, собственной печенкой подавиться...

— Как же я буду? — встрепенулся Федька.

— А ты поправляйся да силы набирайся, чтобы нас легче догонять. Слыхал, нашу бригаду в дивизию развертывают? Щорс теперь комдивом будет. Ну, будь здоров, друже!

— Да вы бы еще посидели!..

— Нельзя, брат,— время...

Распрощались гости и ушли.

Посмотрел Федька на оставленные ему богатые припасы, взглянул искоса на худую Коськину спину на соседней койке и тихонько позвал:

— Коська... Слышь, Коська!.. Иди колбасу есть. Вкусная — с чесночком и перцем...

7

Вот и настал тот долгожданный час, о котором так мечтал хлопец. Заехал в госпиталь Щорс проведать боевых товарищей, раненных под Киевом. Обходя палату за палатой, дошел и до Федьки.

Коськи в это время на месте не было: он на костылях уже пошел на прогулку.

— Тут у нас двое парeньков лежат,— сказал сопровождавший Щорса доктор Петр Иванович.— Один ваш, богунский. Дынин Федор Никитович. Пятнадцати лет.

Дальше все поначалу было в точности так, как не раз видел в своих мечтах Федька.

Щорс легкой, стремительной походкой, словно на параде перед войском, прошел между больничными койками и, скрипнув боевыми ремнями, остановился против него.

— Здравия желаю, товарищ комдив! — первым поздоровался Федька, не в силах сдержать радостной улыбки.

— Здравствуй, товарищ Дынин! — ответил Щорс громко, чтобы слышали все, кто находился в палате.— От лица командования благодарю тебя. Большую помощь ты оказал красным полкам в ту ночь.

Он взял еще слабую Федькину руку в свою и бережно пожал ее.

— Вовремя я, значит, поспел тогда? — спросил Федька, не скрывая своего счастья.

— На два часа раньше, чем Савченко. А два часа, выигранных в бою, сам знаешь, что значат.

Щорс присел на табуретку, пощупал у Федьки пульс.

— Дело молодое, на поправку идет,— сказал Петр Иванович.— Не по дням, а по часам...

— Пусть хорошенько подлечится. Выписывать не спешите! — распорядился Щорс и добавил: — Можете быть свободны, товарищ врач. Я тут немного задержусь.

Поправил подушку у Федьки и сказал, вглядываясь в его исхудалое, повзрослевшее лицо:

— Давно хотел навестить тебя, но времени не выпадало.

— Да куда же вам,— ответил сочувственно Федька.— Вы теперь на весь Киев комендантом. А буржуазия тут, слыхать, ох и злая! Не то сразу с нею управишься...

— Управляемся, и, кажется, неплохо. И не только с буржуазией. Вчера по городу беспризорных ребят собрали, у кого не осталось ни отцов, ни матерей. Лучший дом для них на Подоле отвели. За счет государства будем содержать... Как считаешь, доброе дело сделали?

— Оно так... — промолвил Федька, озадаченно глядя на Щорса.

Ждал он совсем иного разговора. Думал, что, спросив о здоровье, велит комдив поскорее возвращаться в полк,

где предстоят бойцу Дынину новые небывалые подвиги. А он смотри-ка, о чем речь завел...

Но Щорс, веселыми глазами поглядывая на хлопца, продолжал:

— Учить ребят будем. Дадим образование. А тех, кто поспособнее окажется, и в университет определим.— Оч прищурил глаз и заговорщически подмигнул Федьке: — Может, и тебе охота подучиться?

«Испытывает»,— подумал Федька и ответил твердо:

— Нет, товарищ Щорс, нам это не с руки. Пускай за книгами те сидят, для кого винтовка тяжела.

— Опять воевать хочешь?

— А как же!

Федька поднял глаза и вдруг обомлел. Меж крылатыми бровями Щорса резко легла глубокая прямая морщина.

«Неужто не так сказал?» — с испугом подумал он.

— Уж вы дозвольте, товарищ комдив! Разве не заслужил я?

Щорс с любовью и грустью смотрел на хлопца:

— Успокойся, Федько. Препятствовать я тебе не собираюсь. Поступай, как твое сердце подсказывает... Просто думал я: не лучше ли красноармейцу Дынину годик-другой еще поучиться. Боец он неплохой, только молод очень.

И Щорс улыбнулся хорошо и просто. Заговорил дружески, задушевно, будто Федька был ему ро́вней:

— Ты вот послушай, что я про себя расскажу. Но, чур, по секрету. Смотри не выдавай!.. Летом, когда я был в Москве, то все свои бумаги в университет представил. Чтобы в студенты меня зачислили. Только, видно, с моей наукой повременить придется, пока не разобьем наголову всю контрреволюцию.

— Вы учиться собираетесь, товарищ Щорс?.. — не поверил своим ушам Федька.— Да зачем это вам? Вы же и так все на свете знаете.

Щорс сидел, задумчиво устремив взор в окно.

— Ты, Федько, «Интернационал» хорошо знаешь? — спросил он вдруг.

— А как же! Я люблю, когда «Интернационал» поют. Аж за душу берет!

— А помнишь слова:

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем.

Так вот, скажи ты мне, как, по-твоему, мы этот новый мир будем строить?

Конечно, и раньше были для хлопца это не пустые слова. Казалось, вставало перед ним впереди что-то светлое, могучее, радостное, где простор и воля для каждого человека, где не будет никому ни обиды, ни притеснения... Новый мир, одним словом. Но как он выглядеть будет, о том Федька еще не задумывался.

— Тебе, Федько, и таким, как ты, тот новый мир, мир коммунизма, предстоит строить,— продолжал Щорс.— А чтобы строить, надо знать, что строить и как строить...

Нежданно завязался этот разговор. Вначале даже обидное что-то почудилось Федьке в словах Щорса. Будто бы недоверие к его воинской доблести. А потом вдруг понял хлопец, притих и теперь завороженно ловил каждое слово.

О многом говорил Щорс, открывая перед Федькой чудесные, неведомые дали, о которых тот раньше и помыслить не мог. Великое будущее трудового народа увидел хлопец. Свою большую судьбу увидел.

Когда умолк комдив, торопясь заговорил Федька:

— Товарищ Щорс! А я в комсомол надумал записаться. Как вы скажете?

Сейчас ему казалось, что уже давно решил он это.

— Правильно надумал,— сказал Щорс.— И следует тебе помнить, что для комсомольца книга такое же оружие, как и винтовка... Так учит нас товарищ Ленин...

Есть у каждого человека в жизни незабываемые дни Никогда не стираются они в памяти и с годами словно даже становятся ярче и заметней. Вот такой была для Федора Дынина эта встреча со Щорсом. Не командир и начальник сидел в тот день у его лазаретной койки, а лучший друг, старший товарищ-коммунист, осветивший простым и мудрым словом то, что крылось еще в потемках от Федькиного взора.

Не так уж много новых встреч со Щорсом предстояло Дынину впереди. Не мог он тогда знать, что всего через полгода безвременно оборвется жизнь этого замечательного человека — рожденного революцией народного полководца. В неравном бою под селом Белощица сложит голову Щорс, выполняя приказ Ленина и до последней капли крови защищая со своей дивизией Коростеньский плацдарм, через который поддерживалась связь с Москвой осажденного врагом Киева...

Но навсегда запечатлелся в памяти Федьки Щорс та-

ким, каким он видел его в этот день: совсем еще молодое смуглое лицо, обрамленное аккуратной темно-русой бородкой, высокий чистый лоб, прямой, открытый взгляд серых, солнечной голубизной согретых глаз.

Ушел Щорс, а хлопец, дожидаясь возвращения с прогулки Коськи Баринова, долго лежал взволнованный и счастливый, думая над услышанным сегодня...

СОДЕРЖАНИЕ

Книга о героическом подвиге 5
Година гнева 21
Гроза над Щербиничами 21
Судьба сотника Шестопала 78
Квитанция 106
Фуражка 112
Павло Добья 120
По зову партии 152
Унечское стояние 152
Миссия Лариона Петровича 184
Смерть Василия Кочеткова 209
Марусины заручины 225
Возвращение Терехова 237
Федька у таращанцев 278
Во взводе Яковенко 302
В Дубровном 309
Седнев 317
Ночная встреча 325
На Киев! 330
Сквозь вражьи заставы 346

Михаил Михайлович Сергеенко

ДОРОГОЙ ЩОРСА

Рассказы

Редактор И. А. Сафонова. Художественный редактор Г. Д. Попов. Технический редактор Т. И. Алтухова. Корректор Т. Д. Бунина. Сдано в набор 30/VII 1973 г. Подписано в печать 11/IX 1973 г. ЛЕ07096. Формат 84×108 1/32. Усл. печ. л. 19,74. Уч.-изд. л. 21,61. Бумага № 3. Цена 76 коп. Тираж 100 000 экз. Заказ № 10569. Центрально-Черноземное книжное издательство, г. Воронеж, ул. Цюрупы, 34. Типография изд-ва «Коммуна», г. Воронеж, пр. Революции, 39.

76 коп.

